

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

---

"НАУКА"

МОСКВА - 2000

## СОДЕРЖАНИЕ

В.Л. Янин, А.А. Зализняк (Москва). Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1999 г.....	3
А.Альквист (Хельсинки). Меряне, не меряне (I).....	15
Т.В. Топорова (Москва). О типах познания в древнегерманской мифопоэтической модели мира.....	35
М.Ю. Михеев (Москва). <i>Жизни мышья беготня или тоска тщетности?</i> (о метафорической конструкции с родительным падежом).....	47
В.В. Гуревич (Москва). Модальность и семантика глагольного вида.....	71
В.Г. Гак (Москва). Язык Пушкина и французский язык.....	79
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров (Москва). Рече-поведенческое исследование Притчи Пушкина о блудной дочери.....	90
А.В. Циммерлинг (Москва). Американская лингвистика сегодняшнего дня глазами отечественных языковедов.....	118

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

В.Б. Крысько (Москва). <i>H. Birnbaum, J. Schaeken. Das altkirchenslavische Wort: Bildung – Bedeutung – Herleitung. Altkirchenslavische Studien I</i> .....	134
С.Г. Татевосов (Москва). Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность.....	142
Анна А. Зализняк (Москва). <i>Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)</i> .....	148
А.А. Виноградов (Мукачево). <i>Йожеф Крекич. Педагогическая грамматика русского глагола: Семантика и прагматика</i> .....	151

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	156
---------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь), А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора), Ю.В. Откупщиков, В.М. Солнцев, О.Н. Трубочев (главный редактор), А.М. Щербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*  
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2  
Институт русского языка имени В.В. Виноградова, редакция  
журнала "Вопросы языкознания"  
Тел. 201-25-16

© 2000 г. В. Л. ЯНИН, А. А. ЗАЛИЗНЯК

**БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 1999 г.**

Новгородские берестяные грамоты № 901–915, найденные в этом сезоне, обнаружены на XII Троицком раскопе (руководитель А. Н. Сорокин). Все грамоты залежали в напластованиях 3-й четв. XI — 1-й четв. XII в. Из них по крайней мере 10 извлечены из слоев, безусловно датируемых XI в., что придает особую ценность этому комплексу.

По своему содержанию троицкие грамоты 1999 г. образуют две группы. К одной относятся церковно-канонические тексты (№ 906, 913, 914). Из них две (№ 906, 914) представляют собой отпусты (молитвы, завершающие службу). Историческое значение грамоты № 906 состоит в том, что упомянутые в ней святые Борис и Глеб были канонизированы только в 1071 г., тогда как сам этот берестяной документ происходит из напластований 3-й четверти XI в., отразив стремительность утверждения нового культа. Грамота № 913 представляет собой календарь наиболее значительных праздников осенне-зимней трети года.

Вторую группу составляют грамоты делового характера, а вся их совокупность связана со сбором государственных доходов в новгородскую казну. Следует напомнить, что усадьба Е, с территории которой происходят эти берестяные документы, во 2-й и 3-й четвертях XII в., как показали раскопки 1998 г., имела общественный характер и служила местопребыванием новгородского сместного суда князя и посадника, организованного в 1126 г. Теперь выясняется, что и в более раннее время, на протяжении всего XI в. и 1-й четв. XII в., усадьба Е также имела общественное назначение, будучи использована для распределения на ней мешков с ценностями, собираемыми с податной территории Новгородской земли. В слоях указанного времени на усадьбе Е найдено сорок деревянных цилиндров-бирок от таких мешков. Имена и должности получателей части этих ценностей, причитающейся сборщикам дани — емцам, мечникам, — обозначены на этих цилиндрах и в ряде случаев совпадают с именами адресатов здесь же обнаруженных берестяных грамот. Наиболее ярким примером может служить грамота № 902, адресованная Хотену и содержащая информацию о сборе податей на территории Бежецкого Верха, тогда как здесь же найдены два цилиндра, помеченные именем Хотен. Историческое значение этого комплекса находок невероятно велико. Если на Юге, завоеванном князьями, сбор государственных доходов совершался в процессе княжеского полюдья и, следовательно, контроль над бюджетом осуществлялся самим князем, то в Новгороде, где княжеская власть возникла в результате договора, этот контроль оставался привилегией самой новгородской элиты, что, собственно, и стало фундаментом “вечевого строя”.

Существует еще один важнейший информационный аспект комплекса находок 1999 г. До сих пор наука не располагала сведениями об объеме территории, подвластной Новгороду в XI в. Между тем, в грамотах и на цилиндрах-бирках в каче-

не податных территорий фигурируют: Езьск в Бежецком Верхе, Волчина (приток Мологи), Усть Вага и просто Вага, Тихмега (р. Тихменга, впадающая в оз. Лаче около Каргополя); на цилиндре с усадьбы Е из раскопок 1980 г.), Пинега (на цилиндре из раскопок 1991 г.).

Принципы записи текста и комментирования — такие же, как в предшествующих публикациях данной серии. Указанные при грамотах стратиграфические датировки носят предварительный характер.

№ 901 (предварит. стратигр. I четв. XII в.)

... | же ти из[б]оудоу сего · ис[к]...  
(мь)[зд]а ти штъ бѣ боу[д]ѣт[ь] ... (| ...)

Перевод: '... если избавлюсь от этого ..., мзда тебе будет от Бога ...'

№ 902 (предварит. стратигр. рубеж XI/XII вв.)

Ѡ домагости къ хотѣноу ѣзьскѣ  
роздробили полъ пата десате гривень  
да азъ ти тоу сѣжоу а вълъчиноу си по  
сѣли моужь инъ :

Перевод: 'От Домагостя к Хотену. В Езьске разверстали сорок пять гривен. Да я-то тут сижу, а в Волчино пошли другого человека'.

Хотен — одна из важнейших фигур усадьбы Е 2 пол. XI — начала XII в. Ему адресованы письма № 902, 909, 912; возможно, от него исходит письмо № 742; его именем помечены деревянные цилиндры № 2 и 8.

*Езьскѣ* — ныне с. Еськи — на р. Мологе севернее оз. Верестово, в 25 км ниже Городецка (ныне г. Бежецка). Упоминается в известной приписке к Уставу князя Святослава Ольговича о церковной десятине 1137 г. "А се Бежицкий ряд" среди других пунктов сбора дани. *Волчина* — река, берущая начало близ г. Вышнего Волочка, текущая на восток в широтном направлении и впадающая в Мологу. Ее название было встречено также в берестяной грамоте № 789 последней четв. XI в. В настоящей грамоте выступает топоним среднего рода *Волчино* — очевидно, название населенного пункта или всей местности при реке Волчина.

С точки зрения языка отметим *здр* в *роздробили*, Р. ед. *i*-склонения *Домагости*, беспредложные М. ед. *ѣзьскѣ* и Д. ед. *Вълъчиноу*.

№ 903 (предварит. стратигр. рубеж XI/XII вв.)

(... |) -----[оу-(-)ѣ къ] :  
иванъ · вѣда тѣ[д]ѣ|...

Возможно, первая строка представляла собой начало письма; имя автора могло кончаться, например, на *-оуша* (ср. имена типа *Добруша*, *Хлопуша*). В этом случае текст можно понимать так: '[От такого-то] к Ивану. Дай Тудо[ру] ...' (считая, что *вѣда* — это просто недописанное *вѣдай*). Менее вероятны толкования 'Дал Тудор ...' (где *вѣда* — аорист) и 'Даст Тудор ...' (где *вѣда* — презенс).

Судя по месту находки и по дате, Иван — тот же, что в грамотах № 586, 633 и 736, т. е., по-видимому, будущий посадник Иванко Павлович. Очевидно, он же упоминается под именем *Иванько* в грамоте № 907 (см. ниже).

Представляет значительный интерес буква *ж* (полый юс большой), встретившаяся в этом тексте дважды. Ранее эта буква была отмечена только в существенно более поздних берестяных грамотах — в азбуке № 778 (нач. XIII в.) и в фрагменте № 151 (2 четв. XIII в.).

#### № 904 (предварит. стратигр. 1 четв. XII в.)

Ъ тюткы къ нѣжатѣ д[а]-----(-)  
типоу :а: гривьнъ : а ты д----(-)  
роценови

На стыке первой и второй строки, вероятно, стояло имя *Къснатиноу*; речь шла скорее всего о том же человеке, которому адресована грамота № 915. Перед этим именем должно было стоять *даю* или *дамь*; но не исключено также *дахъ* или *далъ*. Во второй строке явно стояло *даи*, за которым должна была следовать цифра. Но последующее имя, от которого сохранилось *...роценови*, надежно не восстанавливается. Наиболее вероятно имя *Дрочень*, но и оно связано с той трудностью, что переносы через согласную в эту эпоху еще очень редки.

Перевод (с конъектурами): 'От Тютки к Нежате. Даю (*или*: дал) Коснятину шесть гривен, а ты дай [столько-то] Дрочену (?)'.

Нежата — лицо, хорошо известное по целому ряду берестяных документов конца XI — первой трети XII в., найденных на той же и соседних усадьбах Троицкого раскопа: № 586, 635, 644, 742, 892. В грамоте № 855 середины XII в. фигурируют Нежатиничевы отроки, т. е. косвенно упомянут сын (или сыновья) Нежаты. Имя Нежаты стоит также на деревянном цилиндре № 1.

Имя *Тют(ъ)ка* — либо иноязычного, либо звукоподражательного происхождения. У Даля отмечены, в частности: *тjóтя* 'дворовая птица', 'тихий, смиренный человек, «мокрая курица»' (вятск.), 'увалень, неряха, замарашка' (пск.); *тjóтька* 'шенок, котенок', 'собачонка, собачка' (зап.); *тjóтень* 'глиняный плавильный горшок кубышкой, под горлом широкий'. По Фасмеру, *тjóтя* 'курица и т. п.' — звукоподражательное (от *тю-тю-тю* — подзывание кур); этимология слова *тjóтень* неясна. В древнем Новгороде имена с корнем *тют-* были достаточно известны: в НПК находим деревни *Тютково* [V: 633; VI: 440], *Тютковичево* [I: 115], *Тютницы* [III: 12, 568, 569], также *Тютковское* поле [V: 631] (ср. еще *Тюшино*, *Тюхино*), из антропонимов — *Тютевь*, *Тютчевь*, *Тютихинь*, *Тютюхинь*, также *Тюша*, *Тюшинь*, *Тюхинь*. Из Тупикова особо отметим: *Данило Тюткинъ*, вологодский земский целовальник XVII в. (но *Яцко Тютка* [западн., XVI в.], возможно, относится не сюда: в данном случае это прозвище может восходить к *тетька*) [Тупиков, 851].

Словоформа *Тюткы*, засвидетельствованная в столь ранней грамоте, представляет значительный лингвистический интерес: во-первых, она показывает, что в эту эпоху уже допустимо сочетание [т'у], во-вторых, в ней уже не обозначен редуцированный. Это самый ранний в нынешнем фонде берестяных грамот пример пропуска редуцированного между двумя шумными согласными.

№ 905 (предварит. стратигр. посл. четв. XI в.)

оу рѣтъкъ : гри : оу хва  
 лиса : гри : оу тѣшадѣ

• е •

Этим почерком написано целых три грамоты: № 905, 908 и 910.

Перевод: 'У Ретки гривна; у Хвалиса гривна; у Тешаты 5 [гривен]'.  
 Хорошо известное имя *Тѣшата* в данном случае записано с *д* вместо *т* (в суффиксе); см. об этом ниже, при грамоте № 908.

Первое из имен могло иметь вид *Рѣтъка* или *Рѣтъка*. В первом случае его допустимо связывать с глаголом \**rbt-*, отразившемся, как предполагают, в слове *ртуть* < \**rbtŕbь*, ср. лит. *ritù, rìsti* 'катиться' (см. [Фасмер, III: 509]). Во втором случае это производное от *реть* 'распря', 'ссора', 'свара'; неясно, есть ли здесь связь со старопольским *Retka* [SSPNO, IV: 463] и именем писца Супрасльской рукописи *Рѣтъко* (поскольку для этих имен обычно предполагают *re-* из *ra-*).

Имя *Хвались*, возможно, представляет собой этноним, используемый как прозвище (ср. *Чюдинь, Гръчинь* и т. п.); *хвалиси* 'хорезмийцы' упоминаются в Повести временных лет, *Хвалисьское море* — Каспийское. Другая возможность — связь с собственно славянским \**xvališь/\*xvališa* 'хвастун' (см. [ЭССЯ, 8: 119]); ср. также в НПК [V: 250] деревню *Хвалитово*.

№ 906 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

х̄а : бѣцѣ : петра<sup>и</sup> гла  
 козмадьмьана : оѿа  
 васильа : и бориса и глаѣ  
 ба : и свѣхъ стѣхъ

Грамота написана безупречно каллиграфическим книжным почерком. Поп записал себе для памяти ключевые слова отпуста, т. е. литургической формулы, завершающей службу. Выбор святых в составе этой формулы (кроме заключительного "всех святых") непостоянен — он зависит от дня года, от храма и др. Родительные падежи определяются подразумеваемым *молитвами* (или *молитвъ ради*).

Исключительный интерес представляет упоминание Бориса и Глеба. Это самый ранний ныне известный подлинный документ с их именами, и они уже выступают в перечне святых. Борис и Глеб были канонизированы в 1071 г. Грамота № 906, очевидно, относится ко времени, очень близкому к этой дате. Это свидетельствует об исключительной скорости распространения их культа.

Не вполне ясна фигура упоминаемого в этом перечне отца Василия. Возможно, это св. Василий Великий (Кесарийский). Другая возможность состоит в том, что здесь имеется в виду отец Бориса и Глеба Владимир, в крещении Василий.

Отметим отсутствие ъ в имени Глеба — такое же, как в Тьмутараканской надписи 1068 г., в отличие от *Гѣлѣбъ* в Изборнике 1073 г., л. 1 об. (см. об этом также [ДНД: 253]). Написание *Козма* (без вставного ъ) для памятников XI в. обычно (в частности, так в Остромировом и Архангельском евангелиях). Запись *свѣхъ* (вместо *вьсѣхъ* или *всѣхъ*) с точки зрения истории редуцированных малопоказательна: автор написал *св-* явно под влиянием последующего слова *святыхъ*. Вдобавок, ошибке здесь способствовало то, что для него форма с *-с-* (а не *-х-*) вообще была чуждой: ни *свѣхъ*, ни *вьсѣхъ* (или *всѣхъ*) не совпадало с его диалектным *вѣхѣхъ*.

Внешняя сторона

грамота Ѡ тука : къ гюратѣ : крали ти братъни холопи а оу брата  
а нѣнѣ ти са съмъльвивѣ съ близокъ : вѣтъкале въ [т]оу татъбоу въ  
тоѣ мѣсто татъбѣ

а оу него ти крадено атъ ти възалъ оу иванъ  
кова съмъръда : ꙗ гривнѣ : а татъбоу кънажоу  
потамъ

Внутренняя сторона

а оу него ти к

В строке 2 в словах *въ [т]оу* буква *т* написана поверх *н* (или наоборот). Соответственно, в принципе можно читать также и *въ[н]оу* 'в иную' (= *в (ь)ноу* или *въ ноу*, с утратой начального *и*).

Грамота тщательно обрезана; обоим краям придана овальная форма.

Текст отчетливо делится на основную часть и добавление (приписку). Закончив (словом *татъбѣ*) основную часть, автор вначале перешел на оборот листа; но, написав *а оу него ти к*, передумал и вернулся на лицевую сторону. Здесь он поместил приписку правее и ниже основной части письма. Возможно, ему не понравилось, что оборот листа слишком черный и на нем плохо видны буквы.

Перевод: 'Грамота от Тука к Гюрате. Крали-то братнины холопы, [крали] у брата. А теперь он (хозяин дома), сговорившись с родственниками, свалил [всё] на эту кражу, вместо [того, чтобы объявить] о той краже. А у него (в его ведомстве) действительно украдено, ан ведь он взял (за свое молчание) у Иванкова смерда три гривны, а кражу княжеского имущества скрыл'. В строке 2 автор, возможно, вначале хотел сказать, что хозяин свалил всё на иную (чем на самом деле) кражу вместо той (которая была на самом деле), но потом решил выразиться прямее: 'свалил на эту кражу'.

Это крайне сжатое и поэтому трудное для интерпретации послание можно понимать только как не первое звено в некотором обмене информацией. Перед нами отчет административного лица, посланного на расследование преступления, перед главой администрации — очевидно, посадником. Пример такого отчета среди берестяных грамот уже есть: это грамота № 247 (XI в.), к сожалению, фрагментированная, автор которой сообщает, что заявление о взломе и грабеже оказалось ложным, и требует наказать обвинителя.

Можно предложить следующую версию событий. Не названное по имени лицо ("X"), о котором в грамоте говорится просто "он", — чиновник, в ведении которого находится какое-то княжеское (т. е. государственное) имущество. Иванков смерд украл нечто из этого имущества (скажем, пушнину из подати, поступающей на имя князя). X это знал, но не объявил, взяв за свое молчание с Иванкова смерда три гривны. О недостатке через какое-то время всё же стало известно, и посадник поручил расследование этого дела Туку. А в доме X-а незадолго до этого случилась кража: у X-ова брата что-то украли его собственные холопы. Тогда X решил списать недостачу за счет именно этой кражи. Поскольку были необходимы свидетели того, что именно пропало, X сговорился с родственниками об их лжесвидетельстве в его пользу. Умелый следователь Тук смог всё это распутать и посылает посаднику свой лаконичный отчет — грамоту № 907.

Чрезвычайно ценно то, что адресат грамоты практически надежно отождествляется с посадником Гюрятой (отцом посадника Мирослава Гюрятинича и дедом посадника Якуна Мирославича). При этом, судя по содержанию грамоты, в момент ее написания Гюрята находился именно в данной должности. Точных дат посадничества Гюряты летопись, к сожалению, не дает: Гюрята относится к той ранней части новгородской истории, от которой до нас дошел лишь простой перечень посадников. По примерному расчету лет Гюрята должен был посадничать в какой-то момент между концом XI в. и началом 1110-х годов. Посадник Гюрята с высокой вероятностью отождествляется также с новгородцем Гюрятой Роговичем, со слов которого летописец Нестор передает в Повести временных лет (под 1096 г.) красочный рассказ о народах северного Урала. Беседа Нестора с Гюрятой состоялась, как можно заключить из сообщения Нестора, в 1114 г.

Иванко, косвенно упомянутый в грамоте, — вероятно, будущий посадник Иванко Павлович (ср. выше, № 903).

Грамота написана по одноеровой системе: ср. *братъни, татъбоу, татъбѣ, съмьръда* вместо *братъни, татъбоу, татъбѣ, съмьръда*. Кроме того, в ней представлен редкий эффект последовательной замены *ы* на *ь*: ср. *нънѣ, съ близокъ, 3 гривнъ* вместо *нынѣ, съ близокы, 3 гривны*.

Словоформы *вътъкале* и Р. ед. *татъбѣ* выдают новгородское происхождение автора; но сам он старался писать по общерусской норме, ср. *-ль* в *възаль, поташль, (-ы) в 3 гривнъ (= гривны)*.

Исконное состояние редуцированных сохранено уже не полностью: в *3 гривнъ (= гривны)* уже нет буквы для редуцированного; в *съмьръда* первый *ь* — неисконный. Написания *съмьръда* в № 907 и *Дроздьѣ* в № 526 (сер. XI в.) — самые ранние примеры вставных редуцированных. При этом написание *съмьръда* информативнее, чем *Дроздьѣ*: если *ь* в *Дроздьѣ* в принципе может истолковываться либо как знак для гласной, либо как чистый показатель смягчения предшествующей согласной, то *ь* после *с* в *съмьръда* может быть только знаком для гласной.

*Вътъкале* означает буквально 'воткал' (или 'тычками вогнал'); здесь в переносном смысле — 'вплел', 'приплел (к чему-л.)', 'списал за счет (чего-л.)'. Ср. с другой приставкой псковское диалектное *заткѣтъ* 'заткнуть', 'запрятать' [СРНГ, 11: 95].

Союз *атъ* означает примерно то же, что *анъ* — 'ан', 'но', 'однако'; он вводит предложение, выражающее несоответствие тому, что ожидается на основе предшествующего предложения. Ср. в современных говорах: *ат* — междометие, выражающее возражение, отрицание, пренебрежение, укоризну, досаду, недовольство и т. п. [СРНГ, 1: 288], например: *Принеси воды!* — *Ат, не пойду* [Там же]; также *átó* (союз и частица) 'да нет же', 'ан', 'ан вот же', 'в противном случае' и др. (см. [СРНГ, 1: 290]). Сюда же польск. *at* 'да ну', 'вот еще', 'эх'. Заметим, что за написанием *атъ* в одноеровой грамоте в принципе могло бы стоять и *атъ*; но союз *атъ* 'пусть' в данном контексте по смыслу неуместен.

Фраза *оу него ти крадено* в древненовгородском диалекте в принципе двусмысленна: это может быть как 'у него ведь крали', так и 'он ведь крал'. В данном случае контекст заставляет предпочесть первое понимание.

Имя *Тукъ* может быть просто прозвищем ('сало', 'жир'); но не исключено и иноязычное происхождение. Ср. в НПК деревню *Туково* [IV: 273], также *Туковской* десяток [II: 710].

№ 908 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

о дньнъ :д: посади

Вероятно, это целый документ. Почерк — тот же, что в № 905 и 910.

*О днь* — ‘днѣм’, ‘на протяжении дня’; ср. часто встречающееся в древних памятниках выражение *об ноць* ‘ночью’, ‘всю ночь’, ‘на протяжении ночи’.

Написание *посдави* — явно вместо *постави*; ср. *д* вместо *т* в *оу Тѣшадѣ* (№ 905). Неустойчивость в отражении звонкости–глухости в принципе может быть связана с финно-угорским влиянием. С другой стороны, для *посдави* можно предположить также эффект гиперкоррекции, связанный с тем, что *сѣдоровъ* в живом произношении уже превратилось в *сторовъ*, создав тем самым пример соотношения “звучание [ст] — традиционная запись *сѣд* или *сд*”.

*Поставъ* здесь может означать либо ‘кусочек ткани определенного размера’, либо ‘блюдо’, ‘кушанье’ (каждое отдельное блюдо за столом). В первом случае записка гласит: ‘За день четыре постава (сукна и т. п.)’; это могло быть сообщение о ходе поступления товара или податей. Во втором случае — ‘В течение дня четыре блюда’; это уже указание по поводу чьего-то рациона. Отсутствие контекста делает выбор затруднительным.

№ 909 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

...[т]ѣнови оже ми еси при:  
...вж ·Д· гривны то выме:  
...[гри]внѣноу да даи т[в]--лтѣ  
...и не [Д]ъ... (| ...)

В строке 3 для последнего слова наиболее вероятно, судя по остаткам букв, реконструкция *Т[вѣд]лтѣ*; чтение *Т[вор]лтѣ* практически исключено. Возможно, автор пропустил *рь* в *Твѣрьдлтѣ* (или *р* в *Твѣрдлтѣ*).

Перед *[гри]внѣноу* (строка 3) стоял *ъ*, *ь* или *ѣ*. Перед *еси* (строка 1) и перед *[д]ъ...*, возможно, стоят точки.

Сохранившееся ...[т]ѣнови — почти наверно конец словоформы *Хотѣнови*, завершавшей адресную формулу, т. е. перед нами еще одно письмо к Хотену (ср. № 902).

Надежное восстановление утрат невозможно. Можно лишь строить предположения, например, о том, что *выме...* — это начало от *вымечи* ‘вычти’, *при...* — начало от *причьль* (или *придаль*), ...*вж* — конец от *лихвж*.

№ 910 (предварит. стратигр. посл. четв. XI в.)

мѣдвѣнаго ꙗ: соръчуць  
и ꙗ: арци ꙗ: съ кно

Это целый документ. Почерк — тот же, что в № 905 и 908.

*Медвѣнок* — явно то же, что известный из более поздних документов термин *медовок* (род подати).

*Ярьъ* — ‘годовалый бобер’; ср. [Даль, IV: 860] (с примером из старых актов: *А бобры к бобрамъ, а ярцы къ ярцомъ, ѡбнѣити прямоу ѡбноу*).

Конечное *съ кно*, по-видимому, следует понимать как *съ коунъ* ‘с денег’; сокращение *кн-*, вместо *коун-* (большой частью без титла), встречается в берестяных грамотах многократно (№ 219, 609, Ст. Р. 13, Ст. Р. 16 и др.).

Записка гласит: 'Медового — 5 сорочков и 3 годовалых бобра; 5 (не указано, каких единиц) [сбора] с денег'.

Блок № 905+908+910 — один из самых ранних документов со смешением *ъ* — *о*, *ь* — *е*.

Написание *арци* — самый ранний в нынешнем фонде берестяных грамот пример пропуска исконного редуцированного между сонантом и шумной согласной.

№ 911 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

по[к](аапапие ѿ) ...  
... да иди сам- --[со]...  
... (съ же)нап[и] и съ дѣтьми и д[ъ]...  
...ѣта-оним-...  
ни-... ...-ир[о]т[о]... (| ...)

№ 912 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

грамота ѿ [л]юдъславъ хотѣноу  
присъли ми вѣверичѣ : оже  
ти свѣна не поуѣта : а присъли

В первой строке (перед *Хотѣноу*) автор по ошибке вместо двух слогов *ва-къ* написал один: *въ* (с гласной из *къ*).

Перевод: 'Грамота от Людъслава к Хотену. Пришли мне деньги. Даже если не пошлешь Свеня, всё равно пришли'.

Возможно, предполагалась поездка Свеня в город, где находится Людъслав, и было естественно передать деньги для Людъслава именно с ним. Другой вариант: Хотен мог отказать Людъславу в деньгах под тем предлогом, что ему для этого необходимо вначале послать куда-то (может быть, для сбора денег) Свеня.

Имя *Свѣнь* восходит к древнескандинавскому *Svæinn* (часто встречающемуся в рунических надписях); ср. соврем. шведск. *Sven*. Имя *Свѣнь* носил отец новгородца Ивача Свеневица, казненного в Новгороде в 1186 г. Написание *Свеневица* в старшем изводе НПЛ при *Свиневица* в младшем указывает на исходное *Свѣнь* (с *ѣ*), т. е. на точно такую же форму, как в грамоте № 912.

№ 913 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

на ржьство бѣѣ : на въ  
звижень<sup>е</sup> крѣста : лоу  
кы : дьмитрю : коу  
змы дьма : миѣ  
иа и гаври : фили  
па : врѣварѣ : на  
рожьство хѣво : на о  
брѣзань<sup>е</sup> :  
на крѣнье

Берестяной лист обрезан необычно: он приближается по форме к четверти круга. Почерк каллиграфический, довольно похожий на почерк грамоты № 906 (но всё же не совпадающий с ним). Автор писал на бересте с той же тщательностью и эстетизмом, что при переписке церковной книги. Внешний вид текста сходен, например, с календарными записями в составе Остромирова евангелия.

Текст записан с обычными сокращениями. Как род сокращения можно рассматривать также *Дьмѡ* и *Гаври* (без конечного слога). Но *Врр-* вместо *Вар-* в *Вррѡварѣ* — просто описка.

Запись представляет собой перечень важнейших церковных праздников и дней памяти святых, приходящихся на осень и начало зимы: Рождество Богородицы — 8 сентября; Воздвижение Креста — 14 сентября; память св. апостола и евангелиста Луки — 18 октября; св. Димитрия Солунского — 26 октября; св. Космы и Дамияна — 1 ноября; собор архангела Михаила (ср. в Архангельском евангелии, л. 137 об.: *съньмъ архангѣлома Михаилоу и Гаврилоу*) — 8 ноября; память св. апостола Филиппа — 14 ноября; св. Варвары — 4 декабря; Рождество Христово — 25 декабря; Обрезание Господне — 1 января; Крещение — 6 января. Поп составил для себя или для кого-то другого памятную записку о днях, требующих определенных видов службы.

Как и в грамоте № 906, в имени *Коузмы* нет вставного *ь*. Нет вставного редуцированного и в *Гаври(ла)*; ср. такое же написание, в частности, в Архангельском евангелии. Напротив, в *Вррѡварѣ* вставной *ь* есть; ср. *Варѡвары*, например, в Пуятиной минее (л. 4 об.). Написание *Дьмитрью* (с начальным *Дь-*) находит аналогию в *Дьмитра* (Остромирово ев., л. 272а).

Отметим упрощение *здѡ > зѡ* в *Възвѡженъе*, хорошо известное по северновеликорусским говорам; см. статью *Звѡженъе* в СРНГ [11: 219].

Выбор падежа при обозначении дня памяти святых неустойчив: ср., например, родительный *Лоукы*, *Михаила* и дательный *Дьмитрью*. В этом отношении грамота № 913 совершенно сходна, в частности, со многими календарными записями в Остромировом ев., например: *стра̑ стѣих' мѣъ · Куриѡкоу патриар'хоу · и Зиновію еѣ̑ поу · и Зиновіа сестры̑ кѡго* (л. 238б); *па̑ стѣмоу · Маѡминоу · и Генадію · и стѣаго Григора новааго чоудотворьца* (л. 242в). В связи с этим падеж словоформы *Вррѡварѣ* устанавливается не совсем надежно: судя по *-ы* в *Лоукы* и *Коузмы*, это должен быть дательный; но не исключено и влияние диалектного родительного.

#### № 914 (предварит. стратигр. 3 четв. XI в.)

х̑а̑ : б̑ци : николы : м[р]... : климта : възнесеніа : дьмитр...  
волоса : петр... : павла : вс̑х̑ стѣих̑ : марѡф[ъ]

Запись совершенно аналогична грамоте № 906. Но в данном случае, помимо имен святых, в перечень входит также слово *Възнесеніа*, т. е. название одного из двенадцатых праздников. Ныне включение названия праздника в формулу отпуста составляет одну из особенностей старообрядческого богослужения<sup>1</sup>, тогда как в официальном православном богослужении оно не допускается. Грамота № 914 демонстрирует, таким образом, глубокую древность этой литургической особенности.

Имя Марфы писавший, очевидно, пропустил, и ему пришлось добавить его в самом конце, уже после слов *вс̑х̑ стѣих̑*.

<sup>1</sup> Приносим благодарность диакону А. Мусину, определившему жанр этой записи как отпуст, и не назвавшему себя слушателю публичного отчета о новгородских находках 1999 г. (27 сентября 1999 г., МГУ), указавшему на эту особенность старообрядческого богослужения.

*Климта* — сокращение (вместо *Климентта*). *Павла* записано без вставного *ь*; ср. *Павѣла* в Архангельском ев., л. 137 об., 155 об. (наряду с этим в памятниках XI в. находим *Паула* и *Павѣла*). В *Марѣѳ[ь]* вставной *ь* есть; ср. *Марѣѳа* в Архангельском ев., л. 127 (2х) (при более обычном *Марѳа*, *-ы*, *-оу*); в Остромировом ев. регулярно *Мар'ѳа* (л. 217в, г).

Словоформа *Бѣци* — скорее дательный падеж (в силу такого же колебания в выборе падежа, как в № 913), чем родительный с новым окончанием.

Особый интерес представляет включенное в этот перечень святых имя Волоса. Грамота № 914 показывает, что уже в XI в. это языческое имя стало признанным эквивалентом имени святого Власия.

№ 915 (стратигр. оценка затруднена, поскольку грамота найдена в дренажной траншее; наиболее вероятно 3 четв. XI в.)

Ѡ : ро:жнѣ:та : къ : къ:сна:ти:ноу : въ:за:  
 ль : є:си : оу : от:ро:жкка : мо:є:го : къ:є:въѣ  
 гри:въ:ноу : се:ре:бра : при:съ:ли : коу:ны  
 о:же : ли : не : при:съ:лє:ши то : ти : въ : пол:ы

Во второй строке в слове *отрока* у буквы *к* верхний косой штрих попал на трещину. Автор вначале пытался его подрисовать, а потом просто выписал всю букву *к* заново рядом.

Перевод: 'От Рожнета к Коснятину. Ты взял в Киеве у моего отрока гривну серебра. Пришли деньги. Если же не пришлешь, то [это станет займом] "в половину" (т. е. под 50% роста)'. Иначе говоря, если Коснятин не отдаст долг немедленно, в дальнейшем ему придется отдать в полтора раза больше.

Имя *Рожнѣтъ* известно из летописи (НПЛ под 1135 г.) и из берестяной грамоты № 336 (сер. 10-х — сер. 30-х гг. XII в.).

При письме автор отмечал каждый слог двоеточием. Тем самым мы получили уникальный образец слогоделения XI века, из которого непосредственно видно, например, что *сна* — это один слог, а *съли* — два.

Весьма важен тот факт, что *Рожнѣта* написано без *ь*; ср. *Рожнѣтови* в № 336 (где *ь* переправлен из *е*). Отметим, кроме того, ассимилятивный переход *ъ* в *ь* в словоформе *възалъ*; ср. *въза* в Архангельском ев. (л. 114), в Изборнике 1073 г. (л. 166), а также частые *възати*, *въза*, *възаша*, *възалъ* в Мстиславовом ев. Представляет интерес также написание *серебра* (с *ере*).

Помимо берестяных грамот, из находок текущего сезона необходимо отметить многочисленные деревянные цилиндры, исполнявшие функцию замков на мешках с ценностями (пушниной и др.). На семи из них сохранились надписи. Они приводятся ниже (в принятой ныне единой нумерации цилиндров).

Цилиндр № 14 (предварит. стратигр. нач. XII в.)

нѣжа  
 тинъ  
 м-х-  
 ----  
 г[р]----

Надпись гласит: 'Нежатин мешок'; было указано также число гривен. О Нежате см. выше при № 904.

**Цилиндр № 15** (предварит. стратигр. нач. XII в.)

ХОТЪ  
НЪ

О Хотене см. выше при № 902.

**Цилиндр № 19** (предварит. стратигр. рубеж XI/XII вв.)

оустъ  
е ва  
гы м  
ецьн[и]  
ць : мѣ  
хъ  
: г  
грн

Здесь представлен полный формуляр подобных надписей. Указаны: место сбора подати (Усть-Вага); принадлежность ('мешок мечника'); стоимость (три гривны).

**Цилиндр № 21** (предварит. стратигр. нач. XII в.)

с-  
м-х[ъ]  
[мє]ц[ъ]  
[н]--[ъ] хо  
т[ъ]...

От этой надписи остались лишь следы: уже в древности ее стесали. По стесанному вырезано (с поворотом на 180°):

ХОТЪ  
--

**Цилиндр № 30** (предварит. стратигр. посл. четв. XI в.)

НАКЛАДИ  
СЪ · В · ГРИВ[ъ]  
Н[ъ]  
МЕУ- [НИЦ]Е

Кроме того, с поворотом на 90° написано:

ва[г]а

В третьей строке знак после *н* неясен: *ъ* или *ь*.

Перевод: 'Проценты с двух гривен. Мечниково'. Указано также место сбора: Вага.

Цилиндр № 35 (предварит. стратигр. кон. XI в.)

ЖЕРЕБИНО<sup>ε</sup>

ε

Перевод: 'Собранное по жеребьям (участкам)'. Ср. с термином *роздробили* в берестяной грамоте № 902.

Цилиндр № 50 (предварит. стратигр. 1 четв. XI в.)

МЕУЬНИ<sup>ε</sup>

[у]ь лозорε<sup>ε</sup>

во мѣхо

Кроме того, с поворотом на 90° была вырезана еще одна надпись, от которой можно прочесть:

[гρ]--[ь]

Перевод: 'Мешок мечника Лазоря' (вторая запись — сокращение от *гривнь*).

Эта надпись представляет собой один из самых древних письменных памятников русского языка вообще и самый древний из тех, которые записаны со смешением букв *ь* и *о* (*Лазорεво* вместо *Лазоревъ* и *мѣхо* вместо *мѣхъ*)\*.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Даль — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.  
ДНД — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.  
НПК — Новгородские писцовые книги. Т. I–VI и указатель. СПб.; Пг., 1859–1915.  
НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.  
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. I–. М.; Л., 1965–.  
Тупиков — Н. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903.  
Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I–4. М., 1964–1973.  
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. I–. М., 1974–.  
SSPNO — Słownik staropolskich nazw osobowych. Т. I–VIII. Wrocław etc., 1965–1987.

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 99-01-00431). Экспедиционные работы в Новгороде поддержаны проектом РГНФ № 99-01-18057е.

© 2000 г. А. АЛЬКВИСТ

**МЕРЯНЕ, НЕ МЕРЯНЕ... (I)**

Обсуждение мерянской проблемы продолжается. Нашей целью отнюдь не является опровергнуть предположенное А.К. Матвеевым переселение населения из бывшей Мерянской земли на юг современной Архангельской области [Матвеев 1996; 1998]. Самой возможности такой миграции мы и не отвергали, но приведенные свидетельства [Матвеев 1996] нас в этом не убедили [Альквист 1997].

Мы рады, что А.К. Матвеев углубляется в мерянскую проблематику, находит новые точки зрения и свежие свидетельства [Матвеев 1998]. С учетом новых материалов (как оппонента, так и своих) мы попытаемся привести 1) дополнительные свидетельства для опровержения представлений о мерянской миграции из исконно мерянских земель (ИМЗ) в Среднее Устье (СУ) или в Важско-Устьянский микрорегион (ВП) Русского Севера (РС), а также 2) этимологизацию топонимов бывшей мерянской территории.

Мы вынуждены разбивать целый комплекс вопросов на отдельные части. В рамках данной статьи нам не обойтись без дальнейшего обсуждения как некоторых принципиальных вопросов, так и мерянских и немерянских топонимических формантов. Будут обсуждены также новые возможности для решения вопроса о предполагаемой миграции. В следующей статье мы сосредоточимся на этимологизации топонимических компонентов, прежде всего основ, распространенных на Мерянской земле<sup>1</sup>.

**ЕЩЕ РАЗ О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ И МЕТОДАХ**

Вольное толкование некоторых наших замечаний заставляет нас еще остановиться на некоторых принципах и методах топонимического исследования. Во-первых, мы не считаем, что для проведения исследования "первоначально нужно собрать весь топонимический материал вплоть до территорий Северо-Западной и Восточной России" [Матвеев 1998: 90], что, мягко говоря, звучит не только нереально, но и наивно. Как мы уже писали: "Определение даже условных критериев (выделения топонимии мерянского типа) предусматривает высокую степень собранности топонимии не только в Средней России, но и на огромных прилегающих бывших или теперешних финно-угорских территориях" [Альквист 1997: 24], что мы считаем вполне справедливой и необходимой предпосылкой для исследования. Мы бы не рисковали требовать "полного сбора топонимии" [Матвеев 1998: 90], а считаем желательным лишь "максимально полный" сбор топонимического материала на относительно ограниченной территории (см. подробнее [Альквист 1997: 23]).

Во-вторых, мы не требуем "провести полное археологическое обследование" соответствующей территории [Матвеев 1998: 90], что совершенно нереально. Не можем же мы даже теоретически обкопать всю Евразию! В нашей статье говорится

<sup>1</sup> Приведенные ниже без источника сведения собраны в процессе полевых исследований автора в Ярославской и сопредельных областях в 1989–99 гг., а также при осуществлении проекта Академии Наук Финляндии (см. [Альквист 1997: 23]) в 1995–98 гг. Данная статья написана при финансовой поддержке Культурного Фонда Финляндии, а экспедиции осуществлены в основном с помощью Академии Наук Финляндии.

об использовании данных археологии при выявлении разных слоев субстратной топонимии, что делается только относительно конкретных мест с определенными компонентами топонимии, интересующими нас с точки зрения исследования [Альквист 1997: 26].

Следовательно, опубликованные рассуждения [Матвеев 1998: 90] отходят далеко от идеи предложенного нами археолого-географического критерия, при помощи которого ряд названий субстратного происхождения можно отнести к определенному (в том числе к мерянскому) языку [Альквист 1997: 26–27]. Автор статьи [Матвеев 1998: 90] считает трудным реализовать наше требование о бесшовной и систематической совместимости языковедческих, а именно топонимических, данных с археологическими [Альквист 1997: 26]. В своих рассуждениях мы исходим прежде всего из требований языковедческого и топонимического исследования, а не из археологического начала. Поэтому утверждения о том, что "топонимический материал может не сохраниться в такой степени, как археологический" [Матвеев 1998: 90], лишены смысла. Мы интересуемся именно определенным топонимическим компонентом, который выводит нас к дальнейшим – в том числе к археологическим – исследованиям по его конкретным местам распространения.

Разумеется, подобные исследования осуществляются для выяснения каких-либо определенных комплексов проблем, например, для изучения северных и северо-западных селений с названиями на *-бол(V)*, *-бал(V)* [Альквист 1997: 34]. В пределах Волго-Клязьминского междуречья принадлежность данной ойконимии именно мере сомнений среди археологов не вызывает (см. [Леонтьев 1996: 27]). Для подтверждения же мерянского характера соответствующих северных селений было бы достаточно иметь положительный результат о наличии мерянского археологического компонента в нескольких селениях этого ряда. Необходимо воспользоваться не только археологическими, но и антропологическими и генетическими данными, чтобы исключить ошибочные домыслы и относительно бывшей этнической принадлежности носителей коллективного протозвища *черемисы* в ВП [Матвеев 1998: 100].

А.К. Матвеев ставит вопрос о роли и соотношениях формантного и этимологического методов изучения субстратной топонимии. Он считает формантный метод "важнейшим начальным" (курсив Матвеева. – А.А.) этапом топонимического исследования [Матвеев 1998: 90–91]. По нашему мнению, при "формантном методе" речь, собственно говоря, идет не о методе исследования, а просто о способе классификации материала для исследования, что, естественно, можно делать не только на материале формантов, но и на материале основ или каких-нибудь других топонимических компонентов. Важность интерпретации топонимов [Матвеев 1998: 90] не отрицается. Несмотря на современные тенденции ономастики, этимологизация бесспорно является главной целью исследования субстратной топонимии, хотя немалых результатов можно достичь также при сравнительном изучении, например, структуры и фонетики географических названий.

В своем изложении [Альквист 1997] мы вслед за А.К. Матвеевым [Матвеев 1996] подходили к мерянской проблематике с формантной стороны. Матвеев оправдывает используемый им способ выделения топоформантов мерянского типа тем, что это был только начальный этап работы, а "все остальные выводы основаны уже на этимологических приемах исследования" [Матвеев 1998: 91]. Надо, однако, помнить, что даже при мерянском характере формантов топоосновы при них не обязательно имеют одно и то же происхождение. Основа может оказаться более древней.

Для дальнейших, более масштабных выводов, в частности относительно истории заселения, необходимо иметь достаточно большой комплекс достоверных интерпретаций отдельных топонимических компонентов. Перечисление топооснов и их сопоставление с апеллятивами одного языка достаточно в части случаев, но это еще не этимологический анализ (ср. [Матвеев 1998: 91]). При этом хотелось бы избегать таких сопоставлений, как в случае речных названий *Шакша* – марийск. *шакше* 'противный, отвратительный', *Шокша* – марийск. *шокш* 'рукав (реки)', *Шукиша* –

марийск. *шукиш* 'червяк' [Матвеев 1996: 18; 1998: 100]. Чередование гласных (например *a ~ o ~ y*) даже в первом слоге не является редким исключением в субстратной топонимии исследуемой территории (ср. [Альквист 1997: 29]). Ср., например, варианты речного названия *Шакша ~ Шокиша* под Ярославлем [Кучкин 1984: 291, 347].

Вместо списков сопоставлений, лучше действительно стремиться к этимологическому анализу, причем следует, по возможности, пытаться ознакомиться и с самими географическими объектами или хотя бы тестировать гипотезы у местного населения. В том, что "способы осуществления топонимического поиска многообразны и зависят от различных обстоятельств" [Матвеев 1998: 90], мы с А.К. Матвеевым полностью согласны. Более того, методы топонимического анализа должны гибко приспосабливаться к каждому конкретному случаю.

А.К. Матвеев обращает внимание на "характерное" для нас "стремление учитывать при решении мерянской проблемы прежде всего топонимию центральной (ярославской) мерии" [Матвеев 1998: 94]. В своем изложении [Альквист 1997] мы исходили из топонимии данной территории не только потому, что именно там летописи упоминают мерю, или потому, что именно эта топонимия нам лучше знакома, а прежде всего потому, что стремились проверить тезис Матвеева, который считает предполагаемых переселенцев выходцами именно из этого края [Матвеев 1996: 14].

В статье А.К. Матвеева [Матвеев 1998: 91–92] используются малозначимые, как нам кажется, для современного уровня исследования понятия макро- и микроареалов. Матвеев считает, что мы предлагаем "именно макрорегиональный подход для выявления ареалов топоформантов" [Матвеев 1998: 92]. Во-первых, речь тут идет об ареале не только формантов, а любых топонимических компонентов. Во-вторых, мы не против изучения конкретных микроареалов; наоборот, с этого все и должно начинаться. Однако сопоставление некоторых далеких друг от друга микроареалов без должного внимания к огромному микроареалу между ними и вокруг них (ср. [Матвеев 1996]), не может обеспечить достоверность анализа. Метод, основанный на принципе выделения микрорегионов и использовании уже апробированных критериев (мерянской индикаторов) [Матвеев 1998: 98], и дает то, к чему исследователь стремится, если индикаторы выбираются не достаточно объективно. Подобный микрорегион должен постулироваться только в результате исследования, а не до топонимического изучения региона.

Мы не считаем выделения того или иного макроареала достаточно условным [Матвеев 1998: 91], если даже археологически может быть доказано былое наличие в этом ареале финно-угоров. Будет ошибкой, если мы до исследования сознательно отложим большую часть материала, на основе которого мы только и вправе рисовать контуры макроареала или ареалов каких-либо отдельных топонимических компонентов. Следовательно, утверждение о том, что "ареальные сопоставления формантов без каких-либо региональных ограничений, когда макроареал выходит за рамки ИМЗ и РС, рискованны" ([Матвеев 1998: 92], ср. [Альквист 1997: 30]), может привести только к тому, что мы не будем видеть леса из-за деревьев, ибо станет невозможным выделить комплекс топонимии северной части Евразии и сделать обоснованные выводы о переселении народов. Региональные ограничения тут совершенно ясны.

Широкий учет окружения при выделении зоны распространения топонимических компонентов является необходимым не только в начале исследования, как считает А.К. Матвеев [Матвеев 1998: 91] – ведь само собой разумеется, что при любом этимологическом исследовании принимается во внимание ареал. Разве можно представить себе этимологизацию, скажем, какого-то слова финского и марийского языков без выяснения имеется ли оно в соседних языках, в какой именно форме и с каким значением. Только удостоверившись, что слово имеется лишь в финском и марийском, мы можем приступить к полноценному этимологическому изучению этих двух "микроареалов". При лингвистическом исследовании топонимии следует учесть ее многослойность и склонность к фонетическим изменениям, вызванным часто народной этимологией, на основе которой нередко можно выявить переход топонимических

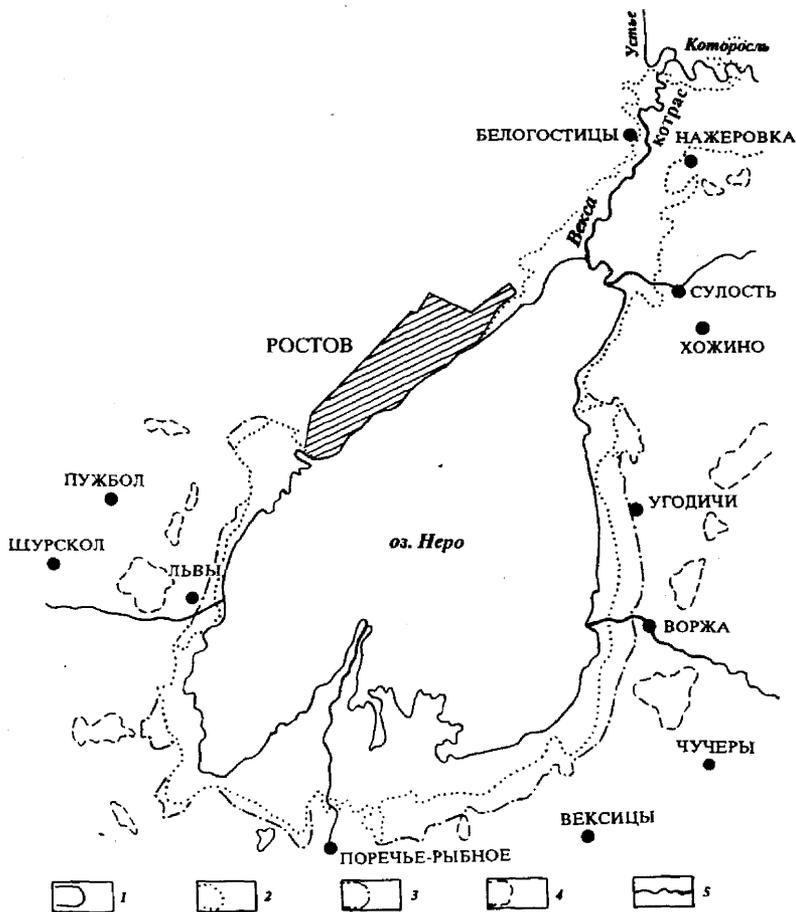
компонентов от одного этноса к другому, прежде всего неродственному по языку. Определенная устойчивая схожесть топонимических компонентов наблюдается на очень широких территориях обитания (в древности) финно-угров (см. также [Попов 1974: 15–16]). Значительную часть (суб)субстратных топонимических компонентов не только Северной, но и Средней России можно найти в древней топонимии, например, на территории Финляндии. Естественно, распространение топонимических компонентов как главный критерий является далеко не достаточным и может завести нас в тупик. (См. [Альквист 1997: 27].)

А.К. Матвеев подчеркивает воздействие русской морфологической адаптации, отраженное уже в ранних документах. Однако это не мешает ему при утверждении о преобладании у "мерянских названий" консонантных окончаний ссылаться на те же самые источники [Матвеев 1998: 93]. При этом один из двух приведенных примеров, а именно название л у г а *Шаинал* вполне мог испытать такое воздействие. Недостоверность такого подхода можно подтвердить историческими источниками. Матвеев подчеркивает, что названия селений *Шачебол* и *Яхробол* зафиксированы исключительно в этой форме [Матвеев 1998: 93]. Однако с конца XVIII в. представлены формы *Шачеболо*, *Яхроболо* [ЯОСК б.г.]. Непроизводную, видимо, ойконимную основу названия владимирской реки *Вежболовка* (*Вежболка*) можно обнаружить в варианте *Вежбола* (также *Вежбол?*) [Смолицкая 1976: 209]. Ср. белозерский ойконим *Вадбала* – *Ватбала* (ниже). Деревня *Нушпола* на севере Московской области именуется пожилым населением *Нушпола*. Однако возможность воздействия русской морфологической адаптации уменьшается, если вспомнить названия с е л типа *Дёбола*, *Брембола* [Альквист 1997: 28].

#### О МЕРЯНСКИХ И НЕМЕРЯНСКИХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ФОРМАНТАХ

Как предположительно мерянские А.К. Матвеев приводит названия населенных пунктов на *-бал*, *-бол*, наименования рек на *-бож*, *-ингирь*, *-кура*, *-курга* и озер на *-кур* и *V + хрa* [Матвеев 1996: 6]. Он пишет: "А. Альквист подчеркивает, что даже если собственно мерянские топонимические типы удастся выделить (ойконимы на *-бал*, *-бол* и наименования озер на *-Vхрa* признаются мерянскими (см. [Альквист 1997: 30]), то невозможно доказать, что мерянскими будут и аналогичные названия на РС" [Матвеев 1998: 91]. Во-первых, мы и не ставили под сомнение возможность выделения собственно мерянских топонимических типов (какой тогда был бы смысл в этих исследованиях?), но среди них мы выделяем в основном не те, что Матвеев. Во-вторых, мы не признали ойконимию на *-бол(V)*, *-бал(V)* в о о б щ е мерянской, а говорили только об ее "меряничности" и типичности на т е р р и т о р и и М е р я н с к о й з е м л и, подчеркивая, что с ее возникновением связан ряд сложных вопросов [Альквист 1997: 27, 30, 32]. Мы писали: "За исключением суффиксального (ойконимического) компонента *-бол(V)*, *-бал(V)* и озерного суффикса *яxp(V)*, *-ягp(V)* и *-ep(o)*, *-op(o)* (при условии датирования вариантов), выделяемых А.К. Матвеевым, как характерные мерянские [Матвеев 1996: 6 и сл.], другие топонимические типы не являются убедительными" [Альквист 1997: 30]. Эти компоненты действительно характерны для мерянской территории, но не только для нее, а "распространенность (ойконимической модели на *-бол(V)*, *-бал(V)*) говорит в пользу более общего в древности типа наименования поселений" [Альквист 1997: 28]. (О распространенности компонентов см. [Альквист 1997: 27, 29–30], ср. [Попов 1974: 15].)

При обсуждении озерной проблематики возникают неточности. Оппонент считает трудным признать удачной нашу попытку показать, что "на территории центральной мери функционировали в б о л ь ш о м (выделение Матвеева. – А.А.) количестве названия озер на *-ep(o)*, *-op(o)*" [Матвеев 1998: 94]. Мы же писали не о большом количестве, а о том, что: "на территории центральной мери не меньшую распространенность, чем названия с *Яxp(V)*-, *Ягp(V)*-, имеют названия с суффиксом *-ep(o)*, *-op(o)*..." [Альквист 1997: 29], что и соответствует действительности.



**КАРТА  
РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ОЗ. НЕРО**  
(В.А. Низовцев)

Условные обозначения:

1. Современная береговая линия озера
2. Предполагаемая береговая линия озера (VI век н.э.)
3. Предполагаемая береговая линия озера в период максимальной трансгрессии
4. Предполагаемые береговые линии мелких озер в период максимальной трансгрессии
5. Современные реки

Редкая встречаемость "мерянского *ячр* 'озеро'" обосновывается тем, что "здесь вообще мало озер, а наиболее значительные из них назывались другим словом" [Матвеев 1998: 94]. Малоозерность Ярославского края – в чем-то только видимая, так как вплоть до древнерусского периода на территории Средней России могло существовать немалое число староречных, пойменных озер крупных рек. Озер ледникового происхождения на этой территории действительно немного (сообщение В.А. Низовцева)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Палеогеографические сведения или предположения о некоторых объектах получены от научного сотрудника кафедры физической географии и ландшафтоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Низовцева.

Основа *Нер(V)*- относится именно к озерным названиям на *-ep(o)*, *-op(o)* – никакого "другого слова", вопреки А.К. Матвееву [Матвеев 1978; 1996: 10; 1998: 94], тут нет. Предположение о наличии на территории Мерянской земли апеллятива \**Нер*, которым обозначали озера больших размеров [Матвеев 1978; 1998: 94], разъясняется нашей новой этимологией основы *Нер(V)*-. В этом широко распространенном компоненте мы видим первоначальную двусложную основу финно-угорского происхождения, в которой атрибутом является соответствие уральской основы \**enä* 'большой; много' и детерминантом – соответствие финно-волжского апеллятива \**järwä* 'озеро'. Ср., например, мордовск. (эрзя) *iñe* 'великий, большой', (мокша) *iñä* – то же, фин. *enä* – то же, вепс. *ena-* – то же и мордовск. (эрзя) *eñke*, (мокша) (*j*)*äñkä* 'озеро' (где *-ke* и *-kä* являются уменьшительными суффиксами), марийск. (зап. диалекты) *jär*, (вост. диалекты) *jer* – то же, а также озерный суффикс *-ep(o)*, *-op(o)*. (См. подробнее [Ahlqvist 1998a]).

В связи с озером *Неро* встает вопрос о предполагаемом лимнониме \**Которо*, имеющем озерный суффикс [Альквист 1997: 33–34]. После опубликования предыдущей статьи мы узнали о наличии в нескольких подростовских селениях луга *Котрас* (именно по самой реке Векса, вытекающей из озера *Неро*). Данный луг растягивается от села Белогостицы по Вексе до деревни Стрелы, по реке *Которосль* (см. карту). Луг, расположенный по Вексе не стал бы именоваться по названию другой реки, а именно *Которосли*, если бы раньше она не имела отношения к данному концу озера или же к руслу, вытекающему из него. Совершенно логично было называть не только луг, а первоначально именно водосток, по которому он расположен, по наименованию озера \**Которо*, т.е. *Которос* (со вторичной суффиксацией). Часто именно в названии луга, сенокоса, урочища выявляется бывшее, утерянное название речки, ручейка или озера. А большие озера, например, в Финляндии нередко имеют вариант названия или даже несколько вариантов, притом один из них, как правило, имеет значение 'большое, великое озеро' (см. [NA б.г.]), подобно наименованию *Неро* [Ahlqvist 1998a].

Кроме приведенных примеров [Альквист 1997: 34] имеются и другие случаи наличия данной топоосновы: приблизительно в 50-ти километрах на юго-восток от Вологды имеется болото *Котрас* [Вол. обл. 1998: 118]; в той же форме (*Кóтрас*) часто в народе произносится и название ярославской реки *Которосль* (см. также [Альквист 1997: 33]). В XVIII в. записана форма \**Котрость* (по реке *Котрости*) [ТИРИ 1772: 213]. Соответственно в Мантуровском районе Костромской области есть река *Котрасть*, рядом с которой имеются болота. Недалеко от деревни *Котюрово*, называемой народом *Котурёво*, в центре Ивановской области находится болото, ставшее после торфоразработок водоемом под названием *Озеро*. У деревни *Котрохово* той же области имеется низина, называемая *Дол*. Вблизи нижегородской реки *Которзя* находится группа озер [Смолицкая 1976: 269]. Имеются архангельские лимнонимы *Котозеро* [WRG 1962–1963, II: 485]. Не исключено, что финский лимноним *Koitere*, в котором также выделяется озерный суффикс *-ere*, является параллельным русским субстратным названиям (при выпадении дифтонга). Из данного озера вытекает *Koitaajoki* (фин. *joki* 'река'). В бывшей архангельской губернии находим лимноним *Коутеярви* [WRG 1961–1973 II: 487] (фин., карельск. *järvi* 'озеро').

По карте [Кизема 1995] выяснилось, что обсуждаемая А.К. Матвеевым река *Котрость* имеет связь с болотом *Которское*, что является немаловажным доказательством в пользу "озерности" данной реки. Привязанность топоосновы \**Ком(о)р(о)*- первоначально именно к озерам является веским доказательством наличия при ней озерного суффикса *-ор(о)*. Сущность географических объектов говорит в пользу большого возраста и субсубстратного характера основы. (См. [Альквист 1997: 34].) Нередкая встречаемость основы даже на малообитаемых местностях однозначно не поддерживают мнение о ее переносе с мерянских земель в СУ (ср. [Матвеев 1996], а также ниже).

Мы привели предположение В.А. Низовцева о том, что на рубеже тысячелетий озеро Неро могло распространяться до рек Устье и Которосль [Альквист 1997: 26]. Еще перед появлением мерян на Ростовской земле, т.е. в VII в. н.э. (см. [Леонтьев 1996: 22]), Низовцев реконструирует озерную линию Неро у самой деревни *Нажеровка* (см. карту), в названии которой мы выделяем озерный суффикс *-ep(o)*<sup>3</sup>. От белогостицкого рыбака нам удалось узнать, что озеро когда-то доходило до самой *Нажеровки*, расположенной в паре километров к северо-востоку от настоящего берега и в нескольких стах метров от теперешней Вексы. Местность здесь низменная. И в настоящее время приозерная котловина весной разливается почти до самой *Нажеровки*. Топонимов с данной сложной основой имеется несколько: например, на западе Ивановской области есть село *Нажерово*, а по его перевернутым мелиораторами полям протекает река *Ярцевка*, в основе названия которой можно выделять озерный показатель. Данному водотоку и определяется озерность (0,12%) [Рохмистров 1969: 93].

А.К. Матвеев сравнивает подростовский ойконим *Шугорь* с марийским апеллятивом *шўгар* 'могила' (ср. [Матвеев 1998: 94; Альквист 1997: 29; ММ 1926: 277]). У Шугори было селище не мерянское, а древнерусское (вероятно, вторая половина X–XI вв.), и одни из наиболее ранних подростовских курганов древнерусского периода от первой половины XI в. [Леонтьев 1996: 274, рис. 129]. При высказанной этимологии нужно предполагать знакомство жителей древнерусского поселка с финноязычной лексикой, или наличие там самого финноязычного (мерянского?) населения. Но история и археология не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти предположения<sup>4</sup>.

При этом надо учитывать шаткость этимологии марийского слова *šūyer, šūyar, šūyār*, которое с большими оговорками связывается лишь с одним из финно-угорских языков, а именно с венгерским [UEW 1986–1991: 59]. Вполне возможно, что слово является совершенно изолированным и даже заимствованным. Отметим, что к Устьесольскому уезду Вологодской губернии относится деревня *Шугорская (Шугур-Дин)* [ВГ 1866: 362], а Е.И. Горюнова усматривает в названии *Шугор, Шугор* повтор топонимии Приуралья [Горюнова 1961: 22–28]. В Мордовии находится село *Шугур веле (Шугурово)*, которое И.К. Инжеватов считает названием-антропонимом тюркского происхождения от имени *Мурзы Шугер* [Инжеватов 1987: 249]. Имеет ли оно отношение к древнерусскому антропониму *Шугарь (Шогурь, Шугор, Шугур)* с производным *Шугарев*, о котором с конца XV – середины XVI в. есть сведения, кроме Москвы и Оболенской пятины, видимо, в Переславском крае (см. [Веселовский 1974: 117, 373])? Географическое обоснование антропонима в этих краях не исключается. (Ср. ниже фамилию *Хариллов*.)

Окружность сел *Большая и Малая Шугорь* с руслом речки и оврага *Шугорка* вполне подойдет для существовавшего некогда здесь небольшого озера. Сама речка берет начало из болота южнее. В.А. Низовцев реконструирует и севернее сел болотный массив, относя его, предположительно, к периоду до VI века н.э. Параллельным можно считать, кроме потамонима *Шугарка* в Мари Эл [Куклин 1998: 27], название озера *Шугорка (Шугур)* на территории Пензенской губернии [Смолицкая 1976: 239], которое никак не могло иметь предложенного А.К. Матвеевым марийского начала. Если помнить о нередком варьировании *a* и *y*, не исключено, что сюда относится и название озера *Шазара* на северной границе Рязанской области [Ряз. обл. 1995: 3]. Ср. ниже *Шухорма (< Шухрома)*.

Географическим критериям соответствуют и другие перечисленные в нашей статье топонимы с предполагаемым первоначальным озерным суффиксом ([Альквист 1997:

<sup>3</sup> Отантропонимность основы (ср. *Назар, Назарий*) кажется нам невозможным, хотя и последующая народная этимологизация не исключается.

<sup>4</sup> Указанные сведения по археологии и ряд полезных общих замечаний получены от старшего научного сотрудника Института археологии РАН, специалиста по мерянской археологии А.Е. Леонтьева.

29]; ср. [Матвеев 1998: 94]). Подростовская деревня *Кустерь* и в километре от нее деревня *Козарка* (в названии которой тот же суффикс можно выделить в виде *-ар*), безусловно, имели в прошлом отношение к озеру. В ряду мерянских селищ А.Е. Леонтьев описывает расположение *Козарки* следующим образом: "На восточном склоне коренного озерного берега при выходе в озерную котловину" [Леонтьев 1996: 38]. *Кустерь* же расположена "на противоположной стороне оврага в сходной топографической ситуации" [Леонтьев 1996: 39]. Речь здесь идет, однако, о древней береговой линии озера Неро – подболоченные же низины местности указывают на наличие водоема совсем небольших размеров, какой В.А. Низовцев под Козаркой и указывает. При этом следует иметь в виду, что вообще современные населенные пункты расположены, как правило, в сотнях метрах от древнего селища с одним, предположительно, именем. Как параллельные можно рассматривать топонимы следующего типа: *Кусторка* – озеро, Нижегород. обл. [Нижег. обл. 1998: 34], река *Кустерка* ~ озеро *Кустрока* – Влад. губ., возможно, *Кастер* – озеро, Влад. губ.; *Козерка* – река, вблизи озера, Влад. губ.; *Казарское (Козарское)* – озеро с относящимся к нему ойконимом *Казарь*, Ряз. губ. [Смолицкая 1976: 126, 195, 219], *Касарка* – болото, Пересл. р-н [ЯОСК б.г.] и *Казарки* – сенокос при болоте, Рост. р-н.

Юго-восточнее озера Неро была расположена исчезнувшая деревня *Чучеры*. В период максимальной трансгрессии В.А. Низовцевым реконструируется мелкое озеро недалеко от Чучер (см. карту). В данном направлении течет речка *Чучерка (Чучера)*. Наличие тут озерного суффикса *-ер* подтверждается наличием реки *Чуча* как на марийской территории [Куклин 1985: 199], так и на Владимирской земле (также *Чуца*) [Смолицкая 1976: 196]. Ср. названные северные ойконимы *!?! Чучебала, Чучепола* [Матвеев 1996: 7].

В народе распространено мнение о наличии озера у деревни *Киучер* Переславского района, так как при мелиорации на глубине 2,5–3-х метров были найдены "вековые сосны", сучки и шишки хвойных деревьев, которые могли сохраниться только в сырой почве. По рассказам жителей, около полусотни лет тому назад в деревню приезжали специалисты, определившие наличие древнего озера. К сожалению, нам нигде не удалось выяснить результат проделанной работы, и поэтому как относительно размеров озера (примерно 150 га), так и датирования (ок. 1000 лет тому назад) мы должны довольствоваться устными воспоминаниями. Археологические памятники деревни частично расположены ближе к речке *Киучерка*, и уже поэтому – вместо озерного суффикса *-ер* – нелегко исключить возможность наличия здесь речного суффикса: ср. коми диал. *чер* 'приток' [Кривошекова-Гантман 1968: 44], *-шор, -шур* [Альквист 1997: 28]<sup>5</sup>. Задача осложняется наличием на юго-западе Ярославской области потапонима *Янцырь*, параллельным названием которому справедливо рассматривать *Янчер* на территории республики Коми (см. [Кривошекова-Гантман 1968: 44]).

Название *Сеяр*, упоминаемое в сотной 1562 г. Махрищского монастыря сопровождается М.И. Смирновым сведениями: "деревня Запрудное на Сеяре Слободского стана" [Смирнов 1929: 69] (Переславль-Залесского уезда. – А.А.). В данной сотной имеются упоминания о реке *Сеяре* и о реке *Сере* [РГАДА б.г.: ф. 281, д. № 8930, л. 1–3]. Об озере не говорится, но ойконим *Запрудное* дает право предполагать наличие здесь еще в XVI в. какого-то небольшого водоема ([Альквист 1997: 29], ср. [Матвеев 1998: 94]). Кроме того, вологодское озерное название *Соровское* упоминается в грамоте 1556 г. в форме *Сеярское* [Кузнецов 1995: 70].

Тот же озерный суффикс *-ер(о), -ор(о)* и т.п. можно выделить в названии места и поля *Пихирево* Переславского района, имеющего рядом почти непроходимое болото. Местность около села *Бибирево* того же района – болотистая [ЯОСК б.г.], а основа

<sup>5</sup> М. Фасмер сомневается в собственном объяснении данного ойконима, окончание которого связывает с марийск. *бийдор* 'разлив, поток' [Vasmer 1935: 401].

выделяется при сравнении с названием деревни *Бибяки*, например (см. [ЯО 1986: 87]). К бывшим лимнонимам относится название болота в Ростовском районе *Сахотское*, если приведенный для него вариант *Сахорское* [ЯОСК б.г.] правильный. Сюда же можно отнести ойконим *Хомерово* Угличского района Ярославской области, расположенное по соседству с *Инархово* (см. [Ahlqvist 1998a: 39]). Местность вокруг состоит из болот, часть из которых могли быть раньше озерами. У деревни *Шаборново ~ Шабурново* на севере Московской области вполне могло быть озеро. Покосы *Мандрово* на юге Ярославской области и *Шошуриха* Александровского района Владимирской области были низменностью.

А.К. Матвеев высказывает мысль, что "пока у нас нет серьезных оснований для вывода о том, что в диалекте центральной мери был топоформант *ep* 'озеро', что объяснимо, если помнить об озерных названиях со словом *яxp*" [Матвеев 1998: 94]. При этом мы говорили не о мерянском языке, тем более "о диалекте центральной мери", а о территории центральной мери [Альквист 1997: 29], в которой фигурирует и озерный суффикс *-ep(o)*, *-op(o)*, о чем свидетельствуют приведенные примеры. Окончательно это может быть подтверждено палеогеографическими исследованиями данных местностей. При этом отметим, что, например, в прибалтийско-финской топонимии имеется множество случаев, когда лимноним выступает в качестве ойконима. Видимо, там, где имеется водоем, озеро или река, естественно называть главное селение именно по нему. Имеются и чисто русскоязычные ойконимы типа *Белозеро* Костромской области [Костр. обл. 1997: 38] или *Озерки* Ярославской области [ЯО 1986: 61; Яр. обл. 1997: 20], рассказывающих о наличии в бывшем на местности озера, хотя на современной карте даже болото не отмечено. У деревни *Белозеро* Ярославской области болото, все же, указывается [ЯО 1986: 78; Яр. обл. 1997: 24].

Поскольку немалая часть из названий на *-ep(o)*, *-op(o)* относится к уже не существующим или существующим в виде болот озерам, можно думать, что здесь идет речь о домерянском субстрате. Всё же слишком преждевременно искать ответ на вопрос, к какому именно этносу могли принадлежать эти названия (см. [Матвеев 1998: 94]). Палеогеографические и палеоботанические исследования ряда (бывших) озер могли бы указать нам некоторые временные рамки для связи данной лимнонимии с определенной археологической культурой. Определенная временная граница данного компонента может быть установлена в связи с его возможным балтийским происхождением (см. [SSA 1992, 1: 259]; ср. [Ahlqvist 1998a: 47]). А.К. Матвеев сравнивает с этим суффиксом фин. *järvi* и марийск. *jer* 'озеро' [Матвеев 1998: 94], хотя названные мордовские соответствия ничуть не более далекие. Топоосновы, в любом случае, подтверждают финно-угорское происхождение данной лимнонимии.

С древним происхождением озерного суффикса *-ep(o)*, *-op(o)* соотносится его широкий ареал распространения. Суффикс фигурирует и в других частях Мерянской земли. В бывшем Мерском стане, за Костромой, у Некрасовского озера, была расположена деревня *Шатерино* (< \**Шатеро*) (ср. ниже однокоренные названия при *Шаткурга*). За городом Мантурово Костромской области расположена деревня *Вочерово*, рядом с которой есть старичные озера, самое близкое из которых называется просто *Озеро*, а иносельчанами – *Вочеровское озеро*. Возле деревни *Суборь* Мантуровского района вода весной поднимается даже до самой деревни. В названии реки *Вожерка* севернее города Тутаев Ярославской области можно выделить озерный суффикс *-er* уже на основании наличия реки *Вожа* (*Малая* и *Большая*) в близлежащей местности (см. [Яр. обл. 1997: 18–19]). Параллельным является основа названия деревни *Ожарово* Мышкинского района Ярославской области (см. [ЯО 1986: 79; Яр. обл. 1997: 24]). Ойконимы *Вокшер(ы)* и *Вокшерино* с потамонимом *Вокшерка* Даниловского района Ярославской области [ЯО 1986: 59; Яр. обл. 1997: 19; ЯОСК б.г.] связываются М. Фасмером [Vasmer 1935: 360, 386, 387] с марийским словом *bakšär* 'пруд', в окончании которого выделяется *-jär* 'озеро'. Утверждается, что в прошлом здесь были пруды, а в

настоящее время в этих местах два озера [ЯОСК б.г.]. В том же сельсовете расположена деревня *Сендереве* [ЯО 1986: 60; Яр. обл. 1997: 19], топооснова которой сравнима, например, с костромскими речными названиями *Сендега*. На рубеже Ивановской и Костромской областей имеется *Сандырёвское болото*, в котором всегда стоит вода.

Лимнонимы на *-ер, -ор, -ар* распространяются в немалом количестве далеко на юго-восток даже на мордовские земли: ср. озера *Пумерки, Папорки* в Рязанской губернии и *Укор, Саверское, Вечерки, Катерки, Кужарки, Мушерки, Сучерки* в Тамбовской губернии [Смолицкая 1976: 232, 254, 261–262]. Распространенные больше в Мещере лимнонимы типа *Настур* Рязанской губернии [Смолицкая 1976: 187], должны иметь первоначальную связь с обсуждаемым топоформантом – ведь и среди предполагаемых лимнонимов Мерянской земли были указаны случаи с фонетическим вариантом на *-ур*.

С другой стороны, соответствующие лимнонимы имеются и на прибалтийско-финско-саамских землях. А.К. Матвеев утверждает, что карельские и вепские названия озер в русском языке часто имеют детерминант *-ер(о), -ор(о)* [Матвеев 1998: 94]. Трудно исключить русское влияние в соответствующей топонимии России, но, например, в Финляндии, где подобного влияния не было, имеются немалочисленные формы типа вышеназванного *Koitere* или лимнонимы *Kalmari, Ähtäri (Ätsäri), Inari* и *Unari*, в которых предполагается наличие рудимента того же языкового элемента [Nissilä 1962: 74, 94]. По сведениям А.И. Попова, основная масса небольших белозерских озер носит названия с окончаниями *-ер(о), -яр* [Попов 1974: 19].

Несомненно, что при подробном исследовании и ч а с т ь других топонимов с суффиксацией на *-ер(о), -ор(о)*, которых на территории Средней России можно найти сотнями, окажется бывшими лимнонимами. Однако важно иметь в виду, что каждый случай требует тщательного, отдельного просмотра в соответствии с хотя бы минимальными (палео)географическими сведениями, так как и на апеллятивной основе подобное сочетание звуков – нередкость. В любом случае топоформант *-ер* фигурирует далеко не только в среднеустьянском микрорегионе РС (ср. [Матвеев 1996: 10]).

Названия с *Яхр(V)-, Ягр(V)-* (см. [Альквист 1997: 29]), ареал которых простирается из Средней России в северном направлении (см. [Матвеев 1965: 19]), можно действительно с большей вероятностью связывать с имеющимся теперь или в мерянское время озером. Достаточно указать на озеро *Яхробольское* в Некрасовском районе Ярославской области, получившее свое вторичное название от ойконима *Яхробол*, или на реки *Яхрома* в Ярославской, Московской, Тверской и Владимирской областях, три из которых имеют и теперь связь с озером, одна в прошлом (см. [Попов 1974: 18; Влад. обл. 1998: 7; Моск. обл. 1996: 12; Тв. обл. 1998: 30–31]). Болото рядом с деревней *Яхромино* Калязинского района Тверской области во время весеннего паводка превращается в озеро.

В настоящее время, правда, далеко не все названия с основой *Яхр(V)-, Ягр(V)-* указывают на озеро. Так, например, у пяти вологодских речек под названием *Ягрыши* никаких озер, по крайней мере, на карте не указано (см. [Вол. обл. 1998: 35, 37, 59]). К Переславскому району относится название болота *Ядрениха*, с которым сравнимое название леса *Ядреве* Александровского района, расположенного недалеко от болота. Северная река *Яхреньга* выходит из болота [Малодоры 1995], как и ручей *Озерский* [Ровдино 1995], но около урочища *Озерки* нет никакого озера или даже болота [Костр. обл. 1997: 9].

Говоря об упрощенной основе *Хр(V)-* (см. [Альквист 1997: 29]), можно привести в качестве примера маленькое *Хреновское озеро* (озеро *Хреново*) за Костромой, у которого раньше располагалась деревня *Хренова*. В Переславском районе имеется лес с болотами – *Хрениха*. Подобные названия должны были подвергаться народной этимологии и трудно доказать, что их основа не восходит к слову *хрен*. Подобных топонимов в Средней России – десятки, но в каждом случае основа наименования должна изучаться отдельно.

Далее, упрощенную основу можно встретить в виде *Kp(V)*-, *Гре(V)*- и т.д., о чем свидетельствует вариант переславского ойконима *Ягренево*, а именно *Греново* (см. [Смирнов 1911: 222]). В пределах Некрасовского района расположена деревня *Кренево*, возле которой раньше, по всей видимости, было озерко, а недалеко расположена деревня *Харино*. До 1956–57 гг. в этой местности существовало *Исаковское озеро*; здесь же протекает речка *Озёрская* [ЯОСК б.г.]. К Ростовскому району относятся, например, *Грашнево болото* и луг *Подкревна*, в котором были две озерины. Подобные топоосновы нередки на исследуемой территории.

А.К. Матвеев пишет, что "озерные названия с формантами *-V + хра*, *-V + хро* (нами неточно) отнесены к среднему и нижнему течению Оки и нижнему течению Клязьмы" [Матвеев 1998: 94], что не соответствует действительности. Следуя за Г.П. Смолицкой [Смолицкая 1973: 247], мы писали: "...скопление озерных названий на *-хра*, *-хро* сосредоточено, в основном, по среднему и нижнему течению Оки и нижнему течению Клязьмы" [Альквист 1997: 29]. Уточнение "в основном" не исключает наличие лимнонимов на *-хра*, *-хро* и в других местах, а на самом деле предполагает это. Смолицкая отмечает, что этот тип фиксируется и в бассейне рек Пры и Гуся и восточнее [Смолицкая 1974: 65, 68]. Лимнонимы этого ряда встречаются даже на территории мордовской земли: ср. *Лепчегра* в Пензенской губернии и озерные названия с суффиксом *-кра* типа *Сукра* – в Тамбовской [Смолицкая 1976: 240, 258].

Относительно приведенных А.К. Матвеевым [Матвеев 1998: 94] примеров *Исихра* (ср. \* *Искра* > *Искробольское* [Альквист 1997: 29]) и *Суехра* (ср. названный *Сукра*) отметим, что озеро *Искра* есть и на западе Нижегородской области [Нижег. обл. 1998: 33], а в Череповецком районе Вологодской области имеется болотное озеро *Искорское*, от которого вытекает река *Искра* [Вол. обл. 1998: 112]. С фонетической точки зрения ср. варианты лимнонима *Инскра* ~ *Инсхра*, Влад. губ. [Смолицкая 1976: 196].

Хотя в топонимии Ярославского края окончание *-хра*, *-хро* встречается крайне редко [Альквист 1997: 29], нами выявлены некоторые новые лимнонимы этого ряда на центральной Мерянской земле. Так, в названии речки и села *Махра* Александровского района, выделяется озерный суффикс *-хра*. К селу относится водоем, называемый *Махринский озером* или просто *Озером*. Оно возникло, как говорят жители, когда монахи запрудили речку. Можно ожидать, что на месте водоема располагалось в древности озеро природного происхождения. Речка называется также в форме *Махрица*, в которой возможно видеть основу для непривычной суффиксации архивного потамонима \**Махрица* [РГАДА: ф. 281, д. № 8930, л. 1–3], связанного, в свою очередь, с названием местного *Троицкого Стефано-Махрицкого монастыря*. Под вопросом Г.П. Смолицкая упоминает в этой связи название реки и в форме *Маехра* [Смолицкая 1976: 202]. Ко Владимирской губернии относится параллельное название озера *Махра* [Смолицкая 1976: 196]. В Сергиев-Посадском районе Московской области есть еще одно село *Махра* на одноименной речке *Махра*, называемая чаще всего *Махарка*. Прямо под селом имеется сырое болото с ключами, которое некогда было озером.

Мы готовы включать в этот ряд название расположенного в северо-западном углу Переславского района *Семиградовского болота* с суффиксальной разновидностью *-гра*. К Угличскому району относится деревня *Епихарка*, расположенная рядом с болотистой местностью [ЯО 1986: 246; Яр. обл. 1997: 29]. К северной части Московской области относится потамоним *Шухорма* [Моск. обл. 1996: 5–6], являющийся метатезой от *Шухрома*, как называется данная река народом. На местности имеются водоемы, в один из которых река и впадает. Сенокос *Бекрево* юга Ярославской области был низменностью. На границе Ярославской и Владимирской областей нами записано название низменного луга *Пахрино*, а к Некоузкому району Ярославской области относится бывшее населенное место *Похрино* [ЯОСК б.г.]. Принадлежность к этому ряду ярославского потамонима *Ухра* следует изучать: река берет начало из достаточно

большого болотного массива, и ее верхнее течение проходит и в наше время через продолговатый водоем (см. [Яр. обл. 1997: 18]).

Есть еще видоизмененная суффиксальная разновидность *-фро*, который уже на основе фонетического варианта костромской реки *Нерехта*, а именно *Нерефта*, можно отнести сюда же. Ср. *Софроново болото* в Ростовском районе [ЯОСК б.г.], параллельным которому является название озера *Сафроново* как на Владимирской, так и на Нижегородской земле [Смолицкая 1976: 224, 228]<sup>6</sup>. Соответственно ко Владимирской губернии относится название озера *Нефро* [*Нефр?*], рядом с рекой *Невра* и с истоком *Нефровской* [Смолицкая 1976: 223] (< \**Нехро*: (ср. топооснову *Нер(V)-*).

А.К. Матвеев [Матвеев 1998: 94] не принимает наше предположение о наличии в наименовании покоса *Харило* [Альквист 1997: 29] метатезной формы топонимического компонента *-хра*, *-хро* 'озеро', связывая его с древнерусским антропонимом *Харилов* [Матвеев 1998: 94; ср. Веселовский 1974: 337]. Возникает вопрос: как же развивались фамилии типа *Харилов*? Немалое число (древне)русских фамилий, а именно тех, которые не восходят к христианскому ономастикону или к профессиям, имеют свои корни в языке Русской земли.

Среди древних "географических" фамилий упоминаются, например, *Ростовцев*, *Ростовский* (< *Ростов*); *Белозерцев*, *Белозерский* (< *Белоозеро*); *Ухтомский* (< река *Ухтома*) или же *Вадьбольский* [СФ 1997: 98, 356–357], \**Вадбальский*, происходящая, по С.Б. Веселовскому [Веселовский 1974: 60], от названия удела Белозерского княжества (позже – волости Белозерского уезда) *Вадбала* ~ *Ватбала*. Соответствующим образом, видимо, образованы фамилия барина *Магаюров*, купившего деревню *Магаюры* (*Ильинка*) [ЯОСК б.г.], фамилия *Дебольский* (< село *Дебольи*) или княжеская фамилия *Пужбольский* (< село *Пужбол(о)*) Ростовского района. Подобные фамилии давались не только по названию села или города, но и просто по местности, откуда человек родом [СФ 1997: 194]. "Малую родину" человека легко определяли по фамилии, восходящей, например, к названию реки: ср. *Варгузин*, *Ветлугин* или *Хатунцев* (< *Хатунь*) [СФ 1997: 329–330]. Человек мог часто получать такую фамилию, например, выехав из деревни, а иногда и по той причине, что она уже перестала существовать. Сугубо национальные фамилии мордвы обычно связаны с географическими названиями [СФ 1997: 461]. В большой мере это есть, например, и у финнов и эстонцев.

*Харилов* вполне подходит к этой категории, но важно, по возможности, выяснить, из какой местности был родом носитель фамилии. Если учесть наличие в наименовании *Харило* ойконимического суффикса *-ла* (< \**Харила*) (см. ниже), будет понятно, что именно фамилия образовалась от первоначального ойконима, а не наоборот.

Названия рек на *-курга* не засвидетельствованы, по А.К. Матвееву, в других местах, кроме Костромщины и СУ [Матвеев 1998: 95]. Помимо ярославской реки *Курга* [Матвеев 1996: 9], на севере Московской области имеется одноименная река, упоминаемая также в формах *Кургедя* и *Куржа* [Смолицкая 1976: 202], последняя из которых особо подчеркивает формантность компонента *-(V)га*, так как окончание представляет вероятное суффиксальное преобразование именно этого форманта (см. [Альквист 1992: 18]). Возможной является принадлежность к этой группе владимирского потамонима и ойконима *Курга* [Смолицкая 1976: 216], а также названия луга *Курга* с проходящей через него речкой *Курочка* в Переславском районе. Соответственно ко Владимирской губернии относится река *Курка*, а к Рязанской – река *Ликурка* [Смолицкая 1976: 191, 216]. К Буйскому району Костромской области относится село и бывший волостной центр *Ликурга* [КО 1983: 35; СВСКС 1997: 31].

<sup>6</sup> Имя греческого происхождения *Софрон* и произведенные от него фамилии (см. [СФ 1997: 367]) могли тут иметь только народноэтимологическое влияние. (Ср. [Веселовский 1974: 297].)

В предложенной нами конструкции *-кур + -га* ('озерная река') [Альквист 1997: 29] А.К. Матвеева волнует проблематичность наличия суффикса *-га* после твердого согласного, поскольку финно-угорское обозначение реки имеет в анлауте *j* [Матвеев 1998: 95]. Надо сказать, что имеется не только множество фонетических вариантов типа *Вольга ~ Волга, Нюньга ~ Нюнга, Сеньга ~ Сенга* [Смолицкая 1976: 201, 207, 225], но и масса фонетически аналогичных гидронимов (например, в бассейне Оки) типа *Урга, Базырга, Летурга*, а также *Кучерга (Кучерба), Патерга, Канерга, Пичерга, Куверга, Качерга* [Смолицкая 1976: 106, 189, 204, 214, 244, 252, 259, 261, 263]. Некоторые подобные названия могут быть образованы аналогично тому, что мы предполагаем относительно гидронимов на *-курга*, т.е. от структур типа *\*Пич-ер-га*, содержащих за озерным суффиксом и речной. Ср. также названия деревень *Пестерюгино* в Костромском районе [ЯОСК б.г.] (< *\*Пест-ер-юга?*) и *Супорганово* (< *\*Суп-ор-(V)га?*) в Борисоглебском районе Ярославской области [ЯО 1986: 38; Яр. обл. 1997: 25]. Семантические соответствия можно найти, например, в русских потамонимах типа *Озерка, Озеренка* [Смолицкая 1976: 357–358] или с определением, как в потамониме *Белозерка*, Влад. губ. [Смолицкая 1976: 221].

С приведенным гидронимом *Шаткурга* [Матвеев 1996 : 9] можно сравнить названия озера *Шатурское* в Рязанской губернии, реки *Шатурка* во Владимирской [Смолицкая 1976: 130, 189], а также города *Шатура* Московской области, возле которого имеется огромный озерный массив [Моск. обл. 1996: 25]. В этих мещерских топонимах мы выделяем озерный суффикс *-ур*, выступающий в гидрониме *Шаткурга* в виде *-кур*. Важно отметить, что названная река *Шаткурга* берет начало из болота *Шаткуржское* (см. [Строевское 1995]).

Другой пример, *Кочкурга*, сравнивается, кроме упоминаемого лимнонима *Качкур* Московской области [Матвеев 1996: 8–9] и параллельного ему наименования покоса в Переславском районе [ЯОСК б.г.], с тремя владимирскими лимнонимами *Кочихра [Малая и Большое (sic!)]* и с названиями озер *Катурки [Качурки?] и Качхра* [Смолицкая 1976: 196, 218, 222, 228]. Кажется, что данная топооснова тяготеет именно к названиям озер. Так, и река *Кочкурга* выходит из озера, на котором расположен населенный пункт *Кочкурга* [Кизема 1995]. Деревня *Кочкурская* Вельского уезда Вологодской губернии стоит при озере *Кокчурском (sic!)* [ВГ 1866: 85]. Река же *Мяткурга* Устинского бассейна выходит из болота солидного размера [Вол. обл. 1998: 12]. Следовательно эти северные потамонимы на *-курга* являются реками, вытекающими из (бывших) озер, по которым и получили свои названия.

В Средней России, по крайней мере, значение детерминанта *-кур* – это именно 'озеро', которое может быть и старичное (ср. [Матвеев 1996: 9]). Фонетических разновидностей множество. Сюда должны относиться названия *Куреевских озер (Новое и Старое)* Некрасовского района [ОЯО 1970: 120–121] или же небольшого озера *Кара (Каринское)* с вытекающим из него ручейком *Каринка* Александровского района. В Тульской губернии упоминаются рядом два оврага: *Озерковской* и *Кор* [Смолицкая 1976: 85]. Ср. кроме упоминаемых озер *Качкур* и *Печкур* [Матвеев 1996: 8], например, *Сучкур* и *Мючкаро* во Владимирской губернии и *Прунгур* в Тамбовской [Смолицкая 1976: 195, 196, 240]. Река *Пичкура* около Александра, носящая параллельное лимнониму *Печкур* название, берет начало из болота с озером [Влад. обл. 1998: 5]. С ярославскими топонимами на *-гор* (см. [Альквист 1997: 29]) ср. также название озера *Тюкогор* в Рязанской губернии [Смолицкая 1976: 130]. В Заволжском районе Ивановской области имеется селение *Шелагурино* [Костр. обл. 1997: 49] и за Вологдой речка *Пачегора (Пачегура)*, текущая в Молотовское озеро. На востоке Московской области вытекает из озер река *Вишкура* [Моск. обл. 1996: 25], которая, видимо, имеется в виду под названием *Вишкур* [Матвеев 1996: 8]. Параллельным является название погоста *Вешкурский*, стоящего при безымянном озере в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии [ВГ 1886: 268].

Компонент *-кур(а)* может вполне выступать в качестве речного суффикса, особенно если формы на *-а*, как в упомянутых потамонимах *Каскура*, *Печкура* [Матвеев 1996: 9] представляют русскую адаптацию к *река*, о чем говорится в другой связи [Матвеев 1998: 94]. О переходе лимнонима на речное название пишет также А.И. Попов [Попов 1974: 18].

Основные моменты комплексной озерной проблематики северной Евразии выяснимы, но это требует огромного труда, притом тесного сотрудничества с палеогеографами и ботаниками. С различными вариантами озерных суффиксов не следует, однако, путать топонимический компонент *-мар(ь)*, *-мара* 'гора, горка', выделяемый нами в таких названиях возвышенностей, как *Ихмарь*, *Кухмарь* (см. подробнее [Ahlqvist 1993]). Тот же детерминант имеется, например, в ярославском топониме *Ошмара*, хотя М. Фасмер видит в окончании этноним *мари* [Vasmer 1935: 390]. В данную модель входят и *Унимерь* (*Унемерь*), *Маймеры* (ср. [Матвеев 1996: 17]).

А.К. Матвеев соглашается, что в топонимии центральных мерянских земель формант *-ингирь* пока не засвидетельствован [Матвеев 1998: 95]. Максимально полное полевое исследование этой территории также не выявило этого компонента. Ср., однако, относящийся к югу от озера Неро бывший ойконим *Инеры* ~ *Инера* и марийский *Э н е р ы м б а л* с русским вариантом *Инерымбал* [Альквист 1997: 29; Ahlqvist 1998a: 39; 1999: 630].

Найденные нами до сих пор гидронимы с компонентом *-ингирь* достаточно уверенно указывают на восточные части Мерянской земли в пределах Владимирской, Ивановской и Костромской областей. В основном они выходят за определенную археологами восточную границу мерян по реке Уводь (см. [Леонтьев 1996: 26, 269]) или Тезе. Сюда же относятся, например, река *Ингирь* (*Ингерь*) на юго-востоке Ивановской области ([Смолицкая 1976: 222], ср. [Ив. обл. 1997: 23]) и река *Ингрих* (вершина *Ингриха*) [Смолицкая 1976: 228], которая, видимо, на карте [Влад. обл. 1998: 22] указана как *Ингирь* в восточной части Владимирской области. Названная граница пересекается, грубо говоря, в Костромском Поволжье. Так, около Приволжска Ивановской области течет река *Ингар*, с относящимся к ней населенным пунктом *Ингарь* [Ив. обл. 1997: 4]. В километрах тридцати, в сторону Нерехты Костромской области, течет *Ингорь* [Костр. обл. 1997: 46]. К данным названиям географически близок костромской *Ухтынгирь* (см. ниже). Костромские потамонимы *Ингирь* относятся восточнее этих градусов долготы, к бассейнам Немды и уженской Неи [Костр. обл. 1997: 24, 25–26, 38]. Здесь же можно встретить названия типа речки *Левангир* [Галкин 1967: 209], урочища *Пынгирь* [Костр. обл. 1997: 24]. Исключительным является название речки *Лынгерь* южнее города Буй [Костр. обл. 1997: 21], а также потамоним *Шингирь* севернее Галичского озера [Костр. обл. 1997: 22], включение которого сюда, наряду с вологодским потамонимом *Шингарь* [Вол. обл. 1998: 97], предполагает нерегулярное развитие основы (см. [Матвеев 1998: 101–102]).

В любом случае, в том же направлении, на северо-востоке Ярославской области встречается потамоним *Элнать* (*Малая* и *Большая*) [Яр. обл. 1997: 13; WRG 1962–1963, II: 689], повторяющийся в названиях трех волжских притоков: кроме Ивановского (*Елнать*) и Костромского (*Елнать*, *Желватая Елнать*, *Желвата* и т.д.) Поволжья [Ив. обл. 1997: 7; Костр. обл. 1997: 50; WRG 1962–1963, II: 689], в Мари Эл в форме *Элнет* (русское *Илеть*) [ГМР 1985: 192]. Названный поселок *Ухтынгирь* расположен как раз на реке *Елнать-Желвата* [Костр. обл. 1997: 50]. Ивановская *Елнать* тянется по направлению приволжского *Ингара*, и за ним нерехтского *Ингоря* (ср. [Ив. обл. 1997: 4, 7, 14–15; Костр. обл. 1997: 46]). В северо-западном углу Костромской области, недалеко от вологодской речки *Шингарь*, расположена (бывшая?) деревня *Вятка* [КО 1983: 31; Костр. обл. 1997: 8–9], имя которой сравнимо с названием реки *Вятка*; берега этой последней были заселены марийцами. Интересно, что восточнее севернокостромского речного названия *Бол. Ингерь* и урочища (деревни)

*Ингерь*, в соседнем сельсовете, расположен населенный пункт *Черемисы* [Костр. обл. 1997: 16–17; КО 1983: 127, 140]. Отэтнонимические ойконимы встречаются даже по Волге, например, деревня *Черемискино* на юге Костромской области [КО 1983: 82; Костр. обл. 1997: 48]. Это только отдельные предварительные наблюдения о знаках топонимии, сходных с марийскими. (Ср. [Попов 1974: 24–26].)

Хотя возможное наличие географического термина *ингерь*, например, в северных и восточных диалектах мерянского языка не исключается ([Альквист 1997: 31; ср. Попов 1974: 24]), распространение компонента можно, как нам кажется, рассматривать и как марийское наслоение на северной и восточной зоне территории. Тем более что в бассейне костромской Унжи есть достаточно веские свидетельства именно о марийском населении, о черемисах, вопреки А.К. Матвееву [Матвеев 1998: 95], от легенд, связанных с возникновением ойконима типа *Черемиская* [будто бы в реке Межа утонул(и) черемис(ы)], вплоть до пословиц, поговорок ("*Чермис черемисом*"; "*грязный как черемис*") или песен ("*Черемисы, вотяки ловили рыбу у реки*"; "*Черемиса грязного водили босиком...*")<sup>7</sup> (см. также [Попов 1974: 25]).

А.К. Матвеев утверждает, что костромские сложные названия с *-ингерь* находят соответствия в мерянском материале [Матвеев 1998: 95]. В качестве примера он дает *Ухтынгирь*, сравнивая его с *Ухтубуж*. Однако один из зафиксированных нами вариантов выражения "грязный как черемис" записан именно в с. *Ухтубуж* (совр. *Попово*) Мантуровского района. Таким образом, можно было бы считать *Ухтынгирь* полностью марийским топонимом. Однако только форманты обоих названий совпадают с марийским языком, основа *Ухт(V)*- распространена намного шире (см. ниже).

А.К. Матвеев видит в ярославских гидронимах *Вожа* самостоятельное топонимическое употребление форманта *-важ*, *-вож* [Матвеев 1998: 93–94]. Об особой близости к марийскому языку данные потапонимы не говорят, если помнить, что и на Рязанской земле один из притоков Оки называется *Вожа* (см. [Смолицкая 1976: 161; Ряз. обл. 1995: 8–10]). Протетический характер анлаутного *в*- легко заметить по данной основе, связываемой Г.П. Смолицкой с летописным топонимом *Ужескъ* (*Ожьскъ*) [Смолицкая 1976: 161]. Мы здесь не выделяем компонент *-вож*, как и в основе названных трех ойконимов *Вожбал*, *Вожбала*, *Вожбола* (ср. [Матвеев 1998: 98, 103]). С фонетической точки зрения ср., например, потапоним *Воженка* с вариантом *Вошенка*, Влад. губ. [Смолицкая 1976: 211], в котором становится очевидной возможность наличия глухого щелевого в интервокальной позиции, вопреки Матвееву (см. [Матвеев 1998: 93]).

Нас упрекают за склонность связывать м е р я н с к и е названия на *-бож*, *-бажа* и т.п. не с территориально близким марийским *-важ*, *-вож* 'корень', а с коми *вож* 'приток' [Матвеев 1998: 94]. В этой связи отметим, что мы говорим вообще не о мерянских названиях, а о топонимии Мерянской земли [Альквист 1997: 28]. Кажется справедливым сблизать названные восточнокостромские ойконимы *Ухтубуж* и *Халбуж* с марийскими соответствиями (так как в данных селениях память о черемисах все еще ощущается). Несмотря на это, домерянская топонимия края имеет и субсубстратные следы, частично сопоставимые с более северными современными финно-угорскими языками. При учете малого числа гидронимов этой медали – это тем более вероятно. Отметим, что особенностью материальной культуры замантуровского села *Ухтубуж* (*Поповское городище*) во второй половине I тыс. н.э. выделяется сочетание камских и волжских по происхождению элементов с преобладанием последних. В IX в. наблюдается синтез этих культурных традиций, возникший, видимо, на уровне брачных контактов [АКК 1997: 125, 128].

М. Фасмер упоминает костромские потапонимы *Синчуваж* и *Шурговаши*, территориально близкие к марийцам [Vasmer 1935: 375–376]. Их форманты носят чисто

<sup>7</sup> Последнее получено от директора Мантуровского муниципального краеведческого музея С.Н. Топорова, записавшего его от жителя с. Угоры (бывш. Халбуж) Мантуровского района.

марийский облик, и основы, видимо, чисто марийские, как Фасмер и предполагает. Подростовский потамоним *Кучибиж* с параллельным ему названием на Владимирской земле *Кучебиш* (*Кучебишь*, *Кучебаш*) [Смолицкая 1976: 207; Влад. обл. 1998: 16], возможно, сопоставимы с ручьем *Кучьмьж* в Горномарийском районе (см. [ГМР 1985: 193]). Основа тяготеет к пермским языкам, и относительно форманта можно упомянуть древнепермский *мѡс* 'родник, источник, исток, приток, ручей, речка, берущая начало из родника', который в письменном виде зафиксирован даже в форме *-бас* (см. [Афанасьев 1985: 70–71; Терентьева 1994: 14; ср. Матвеев 1996: 7–8; Ahlqvist 1997: 29]). Кроме того, надо учесть наличие в пределах Европейского Севера, Верхнего и Среднего Поволжья также форманта *-шур* (см. [Альквист 1997: 28; Афанасьев 1985: 71]).

Основы других гидронимов на *-бож*, как – вопреки М. Фасмеру – ярославские реки *Егобож*, *Кибож* [Vasmer 1935: 391–392], *Инобож*, *Инопаиш* [Рохмистров 1969: 87] с параллельными владимирскими названиями *Инобежка* (*Инобешка*) и *Инобошка* (*Инивежка*) [Смолицкая 1976: 205, 207], название правого притока Волги в пределах Кашинского уезда – реки *Неропажа* [Кучкин 1984: 159, 340] и потамоним *Куибыша* Переславского района указывают не на марийское начало, а на происхождение прибалтийско-финско-мордовского типа. Сюда же относится название селения и волости *Серебож* Александровского уезда [Смирнов 1928: 110; Кучкин 1984: 162], название местности с оврагом *Бердобушка* Александровского района, и, с оговоркой, небольшое владимирское скопление речных названий *Урбушка* (*Урубужка*), *Килбушка* (*Кильдишка*), *Пильбиж* [Смолицкая 1976: 204–205; Влад. обл. 1998: 6], а также, возможно, и название деревни северо-запада Ярославской области – *Арцыбашево* [ЯО 1986: 42; Яр. обл. 1997: 6]. Данные основы отчетливо отличаются от северных основ обсуждаемой топонимической модели. Кроме того, модель встречается на Севере несравненно больше, чем в Средней России, где она, возможно, относится к субстрату.

Мы не можем согласиться с А.К. Матвеевым в отношении исконной меряничности формантов *-кур* (*-кура*, *-курга*), *-ингирь* и *-бож* даже на бывшей Мерянской земле уже из-за их относительной редкости и распространенности, в основном, вне данной территории ([Альквист 1997: 32; ср. Матвеев 1996: 6 и сл.]). Ведь Матвеев сам подчеркивает, что единичные примеры ничего не доказывают и что единичные факты на уровне формантов редко убеждают [Матвеев 1998: 92, 93].

Формант *-хра*, *-хро* является достаточно типичным на мерянской территории и относится, скорее всего, к мерянской времени, тогда как другой озерный суффикс *-ер(о)*, *-ор(о)*, будучи на той же территории не менее типичен, имеет более древние корни (см. [Альквист 1998: 30]). Утверждение о меряничности названий с *Яхр(V)-*, *Ягр(V)-* не сочетается с рассуждением о том, что фонетическая эволюция могла происходить только в направлении *\*jāxr > jār, jer*, но не наоборот (см. [Матвеев 1998: 96, ср. также Попов 1974: 18–19]). Как объяснить, видимо, более древнюю форму и широкую распространенность компонента *-ер(о)*, *-ор(о)*? Распространение на севере и северо-западе форманта *-хра*, *-хро* говорит, вероятно, в пользу его наличия одновременно в похожей форме и у более северных финно-угорских народов. При этом суффикс *-ер(о)*, *-ор(о)* распространяется от мордовских земель далеко до прибалтийско-финских. В Финляндии, например, имеется ряд лимнонимов с двойной суффиксацией / детерминацией одного и того же происхождения: ср., например, *Kalmarinjärvi*, *Atsärinjärvi* (фин. *järvi* 'озеро') [Nissilä 1962: 74]. Подобные элексегезы распространены в Карелии (в Олонце) и на вепсской территории [Nissilä 1962: 74], где, например, озеро *Aštaŋjärv* (*Aštarv*) именуется по-русски *Аштозеро* (*Оштозеро*) [СГБС 1997: 61].

Единственным надежным меряньским гидронимическим формантом мы считаем *-хта*, *-гда*, распространенный кроме Мерянской земли, видимо, во вторичных названиях в Белозерье. Вне этого очень четкого ареала имеются только единичные случаи на других территориях, например по Северной Двине (также *Вычегда*). Речной суффикс *-гда*, *-хта* связывается уже Д. Эуропеусом с окончанием гидронимов на *-кса*, *-кша*

[Eugoraeus 1868: 110]. На первый взгляд, это не убеждает. Однако нам приходилось записывать несколько вариантов названий, где *-гда/-хта* и *-кса, -киша* спорадически варьируются. К этому имеет отношение чередование сочетания согласных *-ht- ~ -ks-* в прибалтийско-финских языках.

Название жителей города *Вологды* в форме *вологжане* может служить доказательством того, что в домерянское время одноименная река могла именоваться \**Волокша*. Ко Владимирщине, кстати, и относится озеро *Волокша (Волошка)* [Смолицкая 1976: 196]. В любом случае название *Вологда* должно входить в ряд потамонимов на *-хта, -гда*, и принятую этимологию, разделяемую также А.К. Матвеевым, от марийск. *волгыдо* 'светлый' (см. [Матвеев 1998: 97; ЭСРЯ 1964, I: 340]) придется изменить. (Формант *-хта, -гда* мы обсуждаем подробно в другой связи, см. также ниже.)

Мы не хотим отвергать возможность сопоставления ойконимов на *-бол(V), -бал(V)* мерянской территории и СУ – естественно, они по своему окончанию относятся к одному ряду. Мы только хотели показать, что и вне этих двух районов, в т.ч. на северо-западе, есть подобные названия, которые тем более могут рассматриваться как прямое продолжение основного ареала (ср. [Матвеев 1998: 92]).

Данные исторической фонетики, свидетельствующие, по А.К. Матвееву, "об эволюции древнего мерянского состояния (ИМЗ) по направлению к позднемерянскому (СУ), во многом общему с марийским" [Матвеев 1998: 95–96], не сближают, например, основы севернорусских ойконимов на *-бал, -пал* со среднерусскими (см. [Альквист 1997: 28]). В связи с этими двумя ареалами нельзя говорить об одном "языке-источнике", а следует говорить о "языках-источниках" (см. [Матвеев 1998: 93]).

Основы некоторых северных ойконимов находят свое соответствие в топонимии марийской территории: ср., например, северный *Соломбала* и озеро *Солан (Солон)* [Куклин 1985: 171] на марийской территории, тогда как некоторые топоосновы, наоборот, тяготеют севернее или западнее, как *Куткобал*. Основы ойконимов на *-бол(V), -бал(V)* в районе Кубенского озера, а именно *Вохтоболка, Нёнбал, Сомбалка* [Матвеев 1998: 97], соответственно тяготеют не (только) в сторону основной мерянской территории, хотя, например, в Борисоглебском районе есть деревня *Няньково* и в Ростовском – деревня *Неньково* [ЯО 1986: 38, 135]. Есть связи и в сторону вепсской территории, где имеется *Ненозеро* [СГБС 1997: 83].

Одна из редких основ ойконимов на *-бол(V), -бал(V)* территории Мерянской земли, указывающих сильно в марийскую сторону, выделяется в названии отмеченной выше деревни *Нушполы*. На марийской территории текут река *Нужа* и речка *Нуж (Нужэ н ер)* [Куклин 1985: 152, 184]. Там есть и озеро *Нужъяр* [РМЭ 1995]. Связи основ ойконимов на *-бол(V), -бал(V)* выходят и южнее. Записанному нами названию низины (sic!) *Ужбол* в Ростовском районе имеется параллель в Мещере, где А.Е. Леонтьев [Леонтьев 1996: 28] упоминает одноименное болото, а в Рязанской области есть река *Бужа*, именуемая также *Ужбол* [Смолицкая 1976: 129]. С *Бужа* ср. под-ростовский ойконим *Пужбол*. Некоторые основы ойконимов на *-бол(V), -бал(V)* Мерянской земли тяготеют к прибалтийско-финским или к мордовским языкам: ср. *Кибол*, которому должен соответствовать новгородский антропоним *Кибалов* (см. [Веселовский 1974: 139]). См. этимологию основы ойконима *Брембола* [Ahlqvist 1998a: 26–27].

"Настоящего" компонента *-бал, -бол* А.К. Матвеев у марийцев не выделяет [Матвеев 1998: 101]. Следы настоящих ойконимов на *-бол(V), -бол(V)*, а не с *умбал* можно видеть и на марийской территории, например, в фамилии *Ижболдин* (см. [Черных 1995: 44]). В качестве таких следов можно рассматривать ойконимы *Шелаболки* и *Энербал* (см. ниже), возможно и ойконим Царевококшайского уезда *Кундушкибал* (на основе которого И.С. Галкин предполагает форму *Кундушумбал* [Галкин 1991: 36]), но в котором можно видеть соответствие ойконима *Кибол* с определением

*Кундуш*. С другой стороны, к мордовским землям, к Тамбовской губернии, относятся речные названия *Пиченбал* и *Кундоболка* [Смолицкая 1976: 240, 252] (ойконим < \**Кундобол*?) (об основе ниже).

Подтверждением меряничности топонимов на *-бол(V)*, *-бал(V)* в пределах Волго-Клязьминского междуречья служит ряд односуффиксальных ойконимов со следами мерянских поселений типа *Пужбол*, *Деболовское* (см. [Леонтьев 1996: 27–28, 38–39; ср. Альквист 1997: 27]). То, что ареал данных топонимов значительно шире собственно мерянской территории, объясняется аналогией в других финно-угорских языках [Леонтьев 1996: 27], что, вопреки А.К. Матвееву [Матвеев 1998: 98], совершенно справедливо. Компонент *-бол(V)*, *-бал(V)* имеет ряд сравнений в финно-угорских языках (см. [Альквист 1997: 28; Матвеев 1998: 92–93]), при этом следует учитывать возможное различие в происхождении похожего компонента [Попов 1974: 25; Матвеев 1998: 92]. Однако у нас все еще нет для него надежной этимологии (см. [Альквист 1997: 28]).

Некоторые названия заставляют вспомнить мордовское *веле* ‘село’, с которым связывается ряд других, более широких по значению соответствий, в т.ч. марийск. *вел* ‘за-, край, сторона’ [ЭКНЭС 1977: 15]. Действительно, в некоторых случаях похожий компонент марийских ойконимов *-вал*, *-вол* меняется на русской почве на *-бол*. Так, марийские названия деревень *Кушыл* и *Ул Солаволкы* (последнее также *Шолаполко Улсола*), которым А.Н. Куклин [Куклин 1985: 129–130] дает объяснение ‘Верхней/Нижней деревни жильцы’, звучат по-русски как *Верхние* и *Нижние Шелаболки*. Подобным образом марийский ойконим *Эгервал*, звучит по-русски *Энербал*. Название истолковывается как ‘Заречная’, но отметим, что и окончание *умбал* переводится как ‘за’ [Куклин 1985: 145].

В Костромском уезде, на востоке от Нерехты упоминается в XVIII в. *Волжевальский стан* с рекой \**Вожевалка* [СВСКС 1909: 9]. Потамоним указывает на возможность наличия некогда селения \**Вожевал*. Ср. приток Ветлуги, *Важвал* [Терентьева 1994: 19]. Если же такой ойконим имелся, в нем можно было бы рассматривать более архаичный вариант северных ойконимов *Вожбал*, *Вожбала*, *Вожбола* (см. [Матвеев 1998: 98, 103]), но только архивные материалы могли бы это подтвердить.

Подобное фонетическое явление (*p ~ v*) встречается и в старой топонимии территории прибалтийско-финских народов: ср., например, название деревни Вотской пятины *Калбола* [Ahlqvist 1997: 27] с финским ойконимом *Kalvola*. На территории Финляндии имеется множество древних ойконимов на *-pola* типа *Rapola*, с которым можно сравнивать не только название села Ивановской области, *Ряполово*, но и (при упрощении дифтонга) северный топоним *Райбола* (см. [Матвеев 1998: 98]), а также ойконим *Raivola* в Карелии. Однако нередко в окончании финских ойконимов можно на основе этимологического анализа обнаружить именно *-la*, что вполне может иметь место и в случае указанных названий. В своей статье мы и пытались подчеркнуть важность деления *бол*-компонентных топонимов от ойконимов, образованных с помощью распространенного в прибалтийско-финских языках окончания названий населенных мест *-la* (Альквист 1997: 27, ср. Матвеев 1998: 92), которые, кстати, занимают немаловажную позицию на мерянской территории. В регионе есть названия (бывших) поселений или групп деревень типа *Кижила*, *Рохмала*, *Тенгола* (ср. *Тенгола* в Водской пятине и *Tenhola* в Финляндии), гора *Хатиловка* (< \**Хатила*). Возможно, к ним относится и ойконим *Согила*. (См. [Ahlqvist 19986: 13–14]). Кажется, что в русской передаче ойконима *Hutpölä* в Сортавале, в Карелии, а именно *Гимнбола* (см., например, [Uino 1997: 138]) отражается не ойконимическая модель на *-la*, а модель на *-бола*, что подтверждается наличием, например, в Петрозаводском крае реки и ойконима *Гим* [WRG 1961, I: 432]. В этой связи следует подробно рассматривать и ойконим *Сортавала*.

Часть ойконимов Мерянской земли на *-бол(V)*, *-бал(V)* могла, в принципе, развиваться от похожего на мордовский элемента *веле* 'село', что, однако, в части случаев может быть фонетически затруднено. Для доказательства потребуются дополнительные, в первую очередь архивные, сведения. На основании развития данного топонимического компонента можно предположить и совершенно новую возможность, а именно, связь с скандинавскими топонимами на *-bol*, *-böle*<sup>8</sup>.

Названия на *-bol* распространены по всему Северу, по всей южной Скандинавии [Pamp 1988: 53; Harling-Kranck 1990: 94]. В Швеции они, как правило, обнаруживаются в названиях (ново)селений и имений. Суффикс является производным от глагола *bo* 'жить'. Окончание же *-böle* производится от *-bol*. [Pamp 1988: 53.] Названия на *-böle* (*-byle*) распространены на большей части Севера, в том числе в южной Финляндии [Pamp 1988: 53], где они образуют значительную часть названий селений [Thors 1953: 14]. Следует отметить, что они своим распространением и основами резко отличаются от древнейших ойконимов типа *Rapola* и *Kalvola* во внутренней части страны.

Варяги были в немалой степени включены в прарусскую действительность. Общественные обстоятельства, отраженные в летописях, а именно наличие варяжских налогованимателей на Руси, в том числе в Ростове Великом, могли, в принципе, оставить определенные следы в топонимии. Прежде всего речь идет о топонимии с административным началом. Гипотетически здесь могло быть нечто подобное, что и на Аландских островах, где *-bol* служил показателем облагаемых годовым налогом селений (см. [Harling-Kranck 1990: 91]). Однако уже упомянутые возможности возникновения ойконимной модели на *-бол(V)*, *-бал(V)* на финно-угорской почве не позволяют допустить для них скандинавское происхождение. Возникает вопрос: мог ли скандинавский ойконимический суффикс *-bol*, *-böle* влиять на внешний, фонетический облик более древнего элемента финно-угорского происхождения с одинаковой семантикой? На ответ должны влиять степень и ареалы варяжского присутствия на Руси.

Известны древнескандинавские сочинения со сведениями о восточной Европе: описываются основные речные магистрали, по которым плавали из балтийского моря на юг, на восток (на Волгу и в Прикамье) и из Белого моря по Северной Двине вплоть до Северо-Восточной Руси [Мельникова 1986: 34–35]. Характер находок скандинавского происхождения не оставляет, по мнению Е.Н. Носова, сомнения в непосредственном присутствии скандинавов в центрах балтийско-волжского пути, к которым относятся также Сарское городище и Тимерево на Мерянской земле [Носов 1992: 102–103]. Г.С. Лебедев предполагает контакты варягов на востоке только в городских центрах на магистральных путях – отношения с сельским населением могли быть лишь в ближайшей округе этих центров [Лебедев 1985: 25].

Нельзя не упомянуть о крайне интересной археологической связи Мерянской земли с Аландскими островами: в курганах обоих регионов обнаружены глиняные изображения медвежьих лап, не имеющие соответствий в других местах. И. Калмэр связывает это явление с миграцией в IX–X вв. скандинавских населенческих групп на территорию современной Ярославской области, впоследствии распространяясь к озеру Неро и Плещеево, а также южнее на Волго-Клязьминское междуречье [Callmer 1994: 13, 31–33, 39]. Поселения переселенцев часто создавались недалеко от мерянских, а захоронения говорят и о совместных скандинавско-мерянских браках. Главной причиной движения Калмэр видит торговлю пушниной [Callmer 1994: 38–39]. В Суздале скандинавоязычное население жило, по данным археологии, до конца XI в. [Мачинский 1985: 19]. Г.С. Лебедев утверждает, что последний поход варягов в Ростово-Суздальскую землю совершился ок. 1222 г.; при этом норманны попали в Суздаль с севера, после похода на Бьярмяланд [Лебедев 1985: 25]. Долю выходцев из Скандинавии в Волго-Окском междуречье И.В. Дубов, однако, не считает значительной [Дубов 1982: 56–57].

<sup>8</sup> Связь с греческим словом *πόλις* 'город', выступающим в названиях городов типа *Константинополь*, кажется достаточно искусственной.

Возможные зоны контактов требуют основательного исследования, но предвзятительно кажется вполне возможным наличие немалого количества ойконимов на *-бол(V)*, *-бал(V)* именно в местах присутствия скандинавского компонента (ср. карты [Callmer 1994: 33] и [Леонтьев 1996: 28]). В Ярославском Поволжье и в окрестностях Ростова Великого, Переславля-Залесского, Суздаля и выделяются скопления данной ойконимии (см. карту распространения [Леонтьев 1996: 28]). Здесь же присутствовали в свое время и варяги. На данной территории элемент *-hol*, *-höle* мог, в принципе, заменять детерминант финно-угорского происхождения. Можно было бы думать и о распространении новой, слегка переделанной на скандинавский лад ойконимической модели с территории Средней России на более отдаленные края, хотя и не следует забывать, что у варягов были крепкие связи и с Севером, с Бьярмландией. Как раз на Русском Севере на карте начала XVII в. [Veep 1613] указано селение *Bombal*, название которого поразительно напоминает ойконим *Bemböle* скандинавского происхождения в южной Финляндии. На территории Мерянской земли имеется, по крайней мере, один пример тождественного значения ойконима: ср. *Кубол* под Суздалем (см. [Альквист 1997: 25, 28]) и шведск. *Stenböle* (*sten* 'камень') в Финляндии (см. [Thors 1953: 14]).

Возраст скандинавских названий на *-hol* подробно не исследован, но множество из них с уверенностью считается средневековыми, хотя модель была продуктивна и в более поздние времена [Pamp 1988: 53]. Б. Памп предполагает, что большинство из названий на *-höle* возникло после эпохи викингов и, возможно, имеет приблизительно одинаковый возраст с названиями на *-hol* [Pamp 1988: 53–54]. Во временном отношении скандинавскую модель можно совмещать с русской субстратной моделью, особенно если помнить, что в определении возраста скандинавских названий речь идет лишь о предположениях.

Существуют некоторые предположения, относительно скандинавоязычных компонентов топонимии Средней России. Д.А. Мачинский рассматривает скандинавским название города *Суждаль* ~ *Суздаль*, упоминаемый в скандинавских сочинениях в таких формах, как *Súrdalar*, *Súrsdalr* [Мачинский 1985: 19–20; Мельникова 1986: 36, 42–44]. В случае ойконимов *Súrsdalr* и *Rostofa*, *Rádstofa* Е.А. Мельникова видит частичную народную этимологизацию топонимического компонента на основе фонетического сходства [Мельникова 1986: 36, 43–44]. При этом бросается в глаза форма *Rostabo*, указывающая на *Ростов* на карте фра Мауро 1459 г. [Карта фра Мауро: л. 2, III]. Конечную часть названия можно было бы рассматривать наряду со скандинавским элементом *bo*, выступающим в ряде названий уездов (см. [Sahlgren 1925]), но требуются серьезные дополнительные доказательства. Однако, если названия городов древнерусского времени могли, в принципе, носить скандинавские элементы (хотя бы посредством народной этимологии), как и наименование *Русь*, *Россия* (о проблематике см., например, [Попов 1973: 46–63]), то почему бы компонент *-hol*, *-höle* не мог влиять на облик наименований ряда основных деревень? Не присутствует ли здесь всего лишь формальное и семантическое совпадение разноязычных топонимических компонентов?

(Продолжение статьи и общий список литературы  
см. в следующем номере.)

© 2000 г. Т.В. ТОПОРОВА

### О ТИПАХ ПОЗНАНИЯ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРА\*

На основании древнеирландских источников можно реконструировать две разновидности сакрального знания, воплощенного в способности проникать в прошлое и предсказывать будущее, – его носителями являлись поэты-жрецы (друиды и в дальнейшем филиды): знание как нечто услышанное и знание как нечто увиденное [Королев 1993; 1994; Калыгин 2000]. Как было установлено, первая концепция представлена в древнеирландских "риторических" текстах (*roscada*), начинающихся с формулы *co-cloith ni* 'нечто было услышано'; она имеет типологическую параллель с древнеиндийской традицией *śrutih* 'божественное вдохновение' (букв. 'услышанное'). Вторая концепция реализуется в трактовке поэта-провидца (ср., в частности, др.-ирл. *fili* 'поэт' < и.-е. \**uel* – 'видеть', др.-валл. *gweleis* 'я видел' и др.).

Наша задача заключается в том, чтобы привести германские аналогии этой оппозиции в эпистемиологической сфере; рассмотреть материал, зафиксированный в древнегерманских текстах, под данным углом зрения и включить его в более широкую индоевропейскую перспективу.

Как известно, в древнегерманской мифопоэтической модели мира добывание высшего знания (прежде всего о происхождении и судьбе вселенной) является центральной темой космогонии, причем восстанавливается следующая картина овладения мудростью богами, распадающаяся на три цикла: верховный бог Один отдает в залог свой глаз и получает доступ к источнику Мимира, в котором скрыты знания; в акте самозаклания (повесившись на мировом древе и пронзив себя копьём) Один постигает руны; пройдя трудные испытания, Один выпивает мед, смешанный с кровью Квасира, символизирующий мудрость, причем инвариантными остаются отождествление познания и жертвоприношения и восприятие мудрости как конкретного вещества жидкой природы.

Перейдем к анализу дуализма в области познания.

Представления об "услышанном" знании ассоциируются с образом скандинавского бога Хеймдалля. Как было установлено [Dumézil 1973], основная функция Хеймдалля состоит в его функционировании как "бога предела". Он является первым из богов во времени: его рождение относится к *illo tempore*, он производит на свет предков различных социальных слоев и вводит социальную стратификацию общества. В пространстве он локализуется "у кромок земли", "у края небес", у основания моста Биврёст, ведущего с земли на небо, объединяя верх и низ (небо и землю). С Хеймдаллем связан новый виток развития вселенной: он возвещает о наступлении "гибели богов". Одновременно Хеймдалль выступает и как последний из богов, например, он умирает последним в конце мира. Совпадение рамок жизни Хеймдалля со всеми циклами существования вселенной

\* Статья выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда по проекту № 98-04-06369.

позволяет ему исполнять обязанности “стража богов” [Младшая Эдда 1970: 30]. Интерпретация Хеймдалля как «бога предела» подтверждается и семантической мотивировкой самого имени: др.-исл. *Heim-dallr*, букв. ‘мира дуга’.

Как известно из скандинавских источников, Хеймдалль обладал уникальным слухом. В SnE 26 об этом сообщается так: *hann heyrir ok þat, er gras vex á jgrðu eða ull á sauðum ok alt þat, er hæra lætr; hann hefir luðr þann, er Gjallarhorn heitir, ok heyrir blástr hans í alla heima* «и слышит он, как растет трава на земле и шерсть на овце, и все, что можно услышать. Есть у него рог, что зовется Гьяллярхорн, и когда трубит он, слышно по всем мирам». Этот фрагмент свидетельствует, что с л у х Хеймдалля абсолютен, он имеет сверхъестественную природу, а функция его рога, как бы продолжающего его уникальный дар, заключается в придании слуху космических масштабов, его распространении на все миры, создании глобальной слышимости.

Идея «у слышанного» знания реализуется не только на уровне мифологических образов, но и на уровне целого класса текстов, экспозицию которых образует апелляция к аудитории с просьбой выслушать космогоническое повествование, формально выражаемая предикатом ‘слушать’, ‘слышать’. Ср. начало первой песни древнеисландского эпического произведения – «Старшей Эдды» (Vsp. 1): *Hlióðs bið ec allar helgar kindir, / meiri oc minni, mǫggo Heimdalar; / vildo, at ec, Valfǫðr, vel firtelia / forn spiqll fira...* «Слушания я прошу у всех священных родов, / великих и малых детей Хеймдалля! / Один, ты хочешь, чтоб я рассказала, / о прошлом всех сущих, о древнем...»; начало другой эддической песни – «Плача Одрун» (Odd. 1): *Heyrða ec segia í sǫgom fornorn* «Я слышала, как рассказывают в древних сагах»; или эсхатологический фрагмент древневерхненемецкой поэмы «Муспилли» (Musp. 14): *Das hortih rahhon dia uueroltrehtuuison* «Это слышал я рассказывают благочестивые люди». Отметим, что формула с элементом *hlióð* не только изофункциональна др.-ирл. *co-cloth ni* ‘нечто было услышано’ (она занимает инициальную позицию), но и генетически тождественна, поскольку также восходит к и.-е. \**kleu-* ‘слышать’.

Коммуникативная ситуация, в которой принимают участие говорящий и слушающий, имеет естественное продолжение в диалоге на космогонические темы, к наиболее релевантным структурно-семантическим особенностям которого относится пара предикатов – ‘спрашивать’ & ‘отвечать’. Для иллюстрации этого тезиса приведем некоторые примеры. Ср. характерный рефрен в «Снах Бальдра»: *Þegiattu, vǫlva! Þic vil ec fregna, / unz alkunna, vil ec enn vita* «Вельва, не молчи! я спрашивать буду, / чтобы все мне открылось» (Bdr. 8, 10, 12); SnE 1: *þá spurði hann... Sá svarar... þá spyrr Hárr komandann... Hann segir, at fyrst vill hann spyria, ef nokkurr er fróðr maðr inni* «Тогда он спросил... Тот отвечает... Тогда спросил Высокий пришедшего... Он говорит, что хотел бы сперва спросить, есть ли в доме мудрый человек». В данном контексте показательно расщепление мудрости как умения ответить на любой вопрос. Ср. также Háv. 28: *fróðr sá þussiz, er fregna kann / oc segia it sama* «Мудрым слывет, кто расспросит других / и расскажем разумно»; Háv. 63: *Fregna oc segia scal fróðra hverr, / sá er vil heitinn horscr* «Вопросит и ответит умный всегда, / коль слыть хочет сведущим»; SnE 71: *sá heitir Kvasir, hann er svá vitr, at engi spyrr hann þeira hluta, er eigi kann hann órlausn* «его зовут Квасир, он так мудр, что нет вопроса, на который бы он не мог ответить»; Wess. 1: *Dat gafregin ih mit firahim firiuiizzo meista* «Я расспрашивал у людей о величайшем из чудес»; D. II 302: *gif þu secgan soð þæt, ðe frined* «если ты скажешь правду тому, кто тебя спрашивает» (о конце мира). Некоторые эддические песни можно трактовать как потенциальный диалог. Речь идет о тех случаях, когда представлены два участника и монолог одного из них прерывается обращением к другому, хранящему молчание. Ср. Vsp. 28: *Hvers fregnit mic, hví freistið mín? / alt veit ec, Óðinn, hvar þú auga falt* «Зачем спрашиваешь меня, для чего искушаешь меня, / знаю я, Один, где глаз твой спрятан», где повествование вельвы о сотворении мира перерастает в непосредственное

общение с Одним, или Ggm. 3, где описание Одним мифологических чертогов начинается с приветствия Агнару, сыну Гейрреда: *Heill scalttu, Agnarr!* «Счастлив будь, Агнар!».

Идея **памяти** как в з г л я д а, обращенного в с п я т ь, реализуется в ключевом для субъекта древнегерманской космогонической песни предикате 'помнить'. Ср. наиболее показательные примеры: *vildo, at ec, Valfoðr, vel fyrtelia / forn spigll fira, þau er fremst um man* (Vsp. 1) «Один, ты хочешь, чтобы я рассказала / о прошлом всех сущих, о древнем, что **помню**»; *Ec man iðna, ár um horna* (Vsp. 2) «Великанов я **помню**, рожденных до века»; *nío man ec heima* (Vsp. 2) «**помню** девять миров»; *þat man hon fölcvíg fyrst í heimi* (Vsp. 21) «**Помню** войну она первую в мире»; *Finnaz æsir á Þavelli... / oc minnaz þar á megindöma* (Vsp. 60) «Встречаются асы на Идавёлль-поле... / и **вспоминают** о славных событиях»; *hvat þú fyrst mant eða fremst um veizt* (Vm 34) «что первое ведаешь, **помнишь** древнейшее»; *þá var Bergelmir horinn; / þat ec fyrst um man* (Vm. 35) «тогда родился великан Бергельмир; / вот первое, что **помню**»; *segðu mér ór helio – ec man ór heimi –* (Bdr. 6) «про Хель мне поведай, а я **вспомню** про мир»; *Ber þú minnisgl mínom getti, / svát hann ǫll muni orð at tína* (Hdl. 45) «**Памяти** пива дай выпить вепрю, / чтобы каждое слово вепрь мой **помнил**» (эта реплика включает рассказ о судьбе мира).

Идея зафиксированного в п а м я т и знания в древнегерманской мифопоэтической модели мира ассоциируется с образом **Мимира** (др.-исл. *Mímir* < и.-е. \*(s)mer- 'помнить'), самого мудрого великана, поделившего своими магическими знаниями с верховным богом скандинавского пантеона – Одним (Мимир взял в залог г л а з Одина и позволил ему выпить воды из «источника Мимира», наделяющего магическим искусством).

Мудрость заключена в источнике **Мимира**. Ср. SnE 14 с отчетливой экспликацией данного мотива: ... *þar er Mímisbrunnr, er spekð ok manvít er í folgit, ok heitir sá Mímir, er á brunninn; hann er fullr af vísendum, fyrir því at hann drekkr ór brunninum af horninu Giallahorni* «...там источник Мимира, в котором сокрыты знание и мудрость. Мимиром зовут владельца этого источника. Он исполнен мудрости, оттого что пьет воду этого источника из рога Гьяллярхорн». Она проявляется в умении **проникать мысленно в различные миры**. Ср. отрывок из седьмой главы «Саги об Инглингах»: *Óðinn hafði með sér höfuð Mímis, ok sagði þat honum mǫrg tíðendi ór ǫðrum heimum* (Yngl.) «Один брал с собой голову Мимира и она рассказывала ему вести из других миров». Обладание высшими знаниями наделяет способностью к предсказанию грядущих событий. Ср. Vsp. 46: ...*enn miqtuðr kyndiz / ...mælr Óðinn við Míms höfuð* «...конец возвещен / ...с черепом Мимира Один беседует»; SnE 50: *En er þessi tíðendi verða, ... þá ríðr Óðinn til Mímisbrunnr ok tekr ráð af Mími fyrir sér ok sínu líði* «Когда свершились все эти события [наступление сил хаоса в преддверии эсхатологической катастрофы]... Один скачет к источнику Мимира и испрашивает совета у Мимира для себя и своего воинства». Мудрость Мимира основывается на п р о с т р а н с т в е н н о м субстрате, так как она черпается из источника, занявшего место *prima materia* – Мировой бездны, послужившей субстанцией для создания космоса. Ср. SnE 14: *Þriár rætr trésins halda því upp ok standa afar-breitt, ein er með ásum, ǫnnur með hrimþursum, þar sem forðum var Ginnungagap; en þriðja stendr yfir Niflheimi... En undir þeiri rót, er til hrimþursa horfir, þar er Mímisbrunnr... ok heitir sá Mímir, er á brunninn* «Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень – у асов, другой – у инеистых великанов, там, где прежде была Мировая Бездна. Третий же тянется к Нифльхейму... А под тем корнем, что протянулся к инеистым великанам, источник Мимира, ... Мимиром зовут владельца этого источника». Знание состоит в приобщении к сакральному первопространству с момента его возникновения, в фиксации и сохранении всех событий, происходящих в космозированной вселенной, то есть в п а м я т и обо всем слу-

чившемся. Основная функция Мимира (или его атрибутов, например, дерева Мимира), ассоциирующегося с верхом и низом, началом и концом во времени и в пространстве, символизирующего жреца, субъект и объект познания, заключается в осуществлении коммуникации между различными космическими зонами, функционировании в качестве предела. Лиминальность Мимира определяет природу этого мифологического персонажа. Древность Мимира, совпадение границ его жизни с рамками существования вселенной определяет его основное свойство – память.

Специального внимания заслуживает то обстоятельство, что и.-е. *\*(s)mer-*, к которому восходит др.-исл. *Mímir*, кодирует и другие мифологические персонажи, обладающие демиургической функцией и коннотациями сhtonизмом, смертью, водой и первоначальной жизненной энергией. Ср. итальяйского Марса, имевшего аграрные функции – лат. *Marmor*, осское *Mamers* [МНМ 1982: 111], греческих мойр (μοῦραι), богинь судьбы, «темной, невидимой силы, не имеющей отчетливо антропоморфного облика, (...) дочерей ночи, также породившей смерть» [МНМ 1982: 169], лат. *Morta* (<*mors* ‘смерть’), одну из парок, наделяющих людей судьбой, галльский теоним *Smertios*, *Ro-smerta* (имя провидицы), др.-ирл. *mor-(r)igain* ‘Iamia, повелительница духов’, др.-исл. *mara*, др.-англ. *mare* ‘сверхъестественное существо женского пола, садящееся ночью на грудь спящего и вызывающее удушье’, слав. *мора*, *мара*, *Марена* ‘злой дух, воплощающий смерть’, слов. *Ma(r)mirjena*.

Семантический комплекс ‘древность’ – ‘мудрость’, отражающий концепцию э к с т е н с и в н о г о знания, заключающегося в воспроизводстве информации (ее прослушивании или фиксации и сохранении в памяти всех событий, происходящих в космозированной вселенной начиная со времени первотворения), и имплицитно предполагающей одинаковый возраст субъекта познания и объекта творения, засвидетельствован как в отношении Мимира, так и Хеймдалля. Эта концепция объединяет представления о слухе (др.-исл. *hljóð* < *\*kleu-* ‘слышать’) и памяти (др.-исл. *tan* ‘помню’ < и.-е. *\*men-*).

Восприятие всей полноты знания как совокупности услышанного и увиденного зафиксировано в древнегерманских памятниках, отражающих мифопоэтическое мировоззрение древних германцев. Особенно показателен один фрагмент из «Младшей Эдды», характеризующий самого мудрого бога скандинавского пантеона – Одина. Ср. SnE 37: *Hrafnar II. sitja á oxlum honum ok segja í eyru honum öll tíðendi, þau er þeir sjá eða heyra; þeir heita svá, Huginn ok Muninn; þá sendir hann í dagan at fljúga um heim allan ok koma þeir aprt at dogurðar-máli; þar af verðr hann margra tíðenda viss* «Два ворона сидят у него [Одина] на плечах и шепчут на ухо обо всем, что видят или слышат. Хугин и Мунин – так их прозывают. Он шлет их на рассвете летать над всем миром, а к завтраку они возвращаются. От них-то и узнает он все, что творится на свете».

Древнегерманские представления об увиденном знании воплощаются в жанре космогонического видения, самым знаменитым образцом которого по праву считают эддическое «Прорицание вельвы». Именно глагол *видеть* используется для изображения состояния вельвы, описывающей сотворение мира и предсказывающей его судьбу; он отличается высокой степенью продуктивности и в ряде случаев выполняет важную композиционную функцию – фигурирует в начале строфы. Ср. Vsp. 30: *Sá hon valkyrior, vítt um komnar* «Видела Валькирий из дальних земель»; Vsp. 39: *Sá hon þar vaða þunga strauma / menn meinsvara oc morðvarga* «Видела там она – шли через потоки / поправшие клятвы»; Vsp. 59: *Sér hon upp koma qðro sinni / iqrð ór ægi iðiagræna* «Видит она: вздымается снова / из моря земля, зеленея, как прежде»; Vsp. 29: *sa' hon vítt oc um vítt of verqlð hveria* «видела она сквозь все миры»; Vsp. 31: *Ec sa' Baldri, hlóðgom tívor* «Я видела Бальдра, кровавую жертву»; Vsp. 38: *Sal sa' hon standa sólo fiarri / Nástrqndo á* «Она видела дом, далекий от солнца / на Береге мертвых»; Grm. 4:

*Land er heilact, er ec liggia sé / ásom oc álfom nær* «Священную землю вижу лежащей / близ асов и альфов»; Vsp. 27: *á sér hon ausaz aurgom forsi / af veði Valföðrs* «она vidum, что мутный течет водопад / с залага Владыки»; Vsp. 35: *Hapt sá hon liggia ... / ... Loka áþeccian* «Пленника видела она ... / ... обликом схожего с Локи зловецким»; Vsp. 14: *fiqlð veit hon fræða, fram sé ec lengra* «ей многое ведомо, все я провижу».

Детальный анализ приводимых выше контекстов не оставляет сомнений в том, что речь идет о знании экстатической природы, откровении, прозрении. Важным аргументом в пользу этого предположения можно считать мену местоимений 1 л. и 3 л., референцией которых является субъект песни. Ср. многочисленные примеры варьирования местоимений, обозначающих одно и то же лицо, в пределах строфы: *Ein sat hon uti, þá er inn aldni kom Yggiungr ása...* / *alt veit ec, Óðinn* (Vsp. 28) «Она колдовала тайно однажды, когда князь асов / пришел... / знаю я, Один, ...»; *fiqlð veit hon fræða, fram sé ec lengra / um ragna rǫc* (Vsp. 44, 49, 58) «Она многое ведает, / все я провижу судьбы могучих богов». Аналогичное чередование личных местоимений 1 л. и 3 л. с одинаковой референцией встречается и в других мифологических песнях «Старшей Эдды», например, в Háv. 111: *Mál er at þýlia þular stóli á, / Urðar brunní at, / sá ec oc þagðac, sá ec oc hugðac, / of rúnar heyrða ec dæma, ... / Hávo hǫllo at, Háva hǫllo í* «Пора с престола тула поведать, / у источника Урд; / смотрел я в молчании, смотрел я в раздумии, / ... о рунах я слышал ... / у дома Высокого, в доме Высокого»; Háv. 138: *Veit ec, at ec hecc vindgameiði á / nætr allar nío, / geiri undaðr oc gefinn Óðni, / siálfr siálfom mer* "Знаю, что висел я в ветвях на ветру / девять долгих ночей, / пронзенный копьем, посвященный Оди́ну, / в жертву себе же"; Háv. 142–143: *Rúnar munt þú finna / er ... reist hroptr ragna, / Óðinn með ásom, ... / ec reist siálfr sumar* "Руны найдешь ... / Хрофт их вырезал, / Один у асов, ... / сам я их резал"; Grm. 53: *Eggmóðan val nú mun Yggr hafa, / þitt veit ec líf um liðit; / ... nú knáttu Óðin síá, / nálgaztu mic, ef þu megir* "Игг получит мечом пораженного, / я знаю, конец твой настал; / ... увидишь ты Одина, / коль смеешь – приблизься ко мне!" В данных примерах, имеющих непосредственное отношение к космологии, поскольку в них отражены сцены самопожертвования Одина, осваивающего высшую мудрость (то есть знания о прошлом и будущем вселенной), главный персонаж называет себя то в 1 л., то в 3 л. (Один, Хрофт, Игг и др.). Благодаря изофункциональности личных местоимений 1 и 3 л., обозначающих субъекта космогонического жанра, осуществляется актуализация сакрального времени первотворения, которая, с одной стороны, указывает на его погрязненность в себя в экстатическом состоянии, сопровождающем прорицание ('он', 'она'), и, с другой, на обращенность к слушателям ('я'). Истоки совпадения плана синхронии и диахронии кроются в сущности коммуникативных интенций, выражающейся в тенденции к актуализации сообщения, слиянии двух временных пластов – прошлого и настоящего, при котором достигается эффект транспозиции аудитории во времена первотворения и сакрализации момента речи; при этом прагматический фактор выдвигается на первый план. Действенность, энергетическая заряженность эддического текста мотивируется его ценностью в семантическом и коммуникативном аспектах: речь идет об откровении субъекта мифологической песни, приобщении слушателей к наивысшей мудрости, космогоническим знаниям, раскрытию тайн мироздания.

Семантический компонент 'видеть' представлен и в другом древнеисландском глаголе *vita* 'знать'. Для интерпретации семантики этого глагола следует обратиться как к этимологическим данным, так и к его контекстуальному анализу в мифологических песнях "Старшей Эдды".

Как известно, др.-исл. *vita* и родственные глаголы в других древнегерманских языках возводятся к и.-е. \**ueid-* 'находить' (< \**ueið-* 'преследовать' & -*d-*, детерминатив, обозначающий окончание действия (предельность)). Для и.-е. \**ueid-* реконст-

руируется следующее семантическое развитие: 'я нашел (в результате преследования)' > 'я знаю' (аорист \**uoida*) и далее 'нашел' > 'увидел' (дуративный глагол \**uid-ē*) [Seebold 1973: 177]. Многочисленные типологические параллели подтверждают кодирование глаголов 'знать' и 'видеть' при помощи однокорневых элементов. Достаточно привести некоторые примеры. Ср., в частности, др.-исл. *skygn* 'умный' – *skygna* 'взгляд', д.-в.-н. *spāhi* 'sapient' – *spēhon* 'смотреть' и др.

Эксплицитная связь з р е н и я и з н а н и я неоднократно отмечается и в древнегерманских текстах. К числу наиболее убедительных примеров несомненно относится отождествление обоих понятий в "Младшей Эдде": *Vit heitir langsvæii* (SnE 73) "ум называется дальновзоркостью". Та же идея реализуется еще в одном фрагменте "Младшей Эдды": *Þar er einn staðr, er Hliðskíalf heitir, ok þá er Alfǫðr settisk þar í hásvæti, þá sá hann of alla heima ok hvers mannz athæfi ok vissi alla hluti, þá er hann sá* (SnE 8) "Есть там место Хлидскьяльв. Когда Один восседал там на престоле, в и д е л он все миры и все дела людские, и была ему в е д о м а суть всего в и д и м о г о". Об идентичности знания и видения в древнегерманской мифопоэтической модели мира свидетельствуют и контексты мифологических песен "Старшей Эдды". Достаточно упомянуть, что в "Прорицании вельвы", посвященной изложению древнейших сведений о происхождении и устройстве вселенной, оба глагола вступают в качестве синонимов (ср. Vsp. 27: *veit hon ... sér hon* "знает она ... видит она") и маркируют наиболее релевантные с точки зрения композиции структуры (ср., например, рефрен: *fiqlǫð veit hon fráða, fram sé ec lengra* (Vsp. 44; 49; 58) "много знает она [вельва] сведений, предвижу я [вельва] дальше").

Однако семантическая структура др.-исл. *vita* в древнегерманской мифопоэтической модели мира не исчерпывается лишь (про)зрением; она имеет более сложную структуру и включает также компонент 'помнить'. Знание идентифицируется с памятью, например, в "Речах Вафтруднира", представляющих собой диалог на космогонические темы между Одином и мудрым великаном Вафтрудниром: *hvat þú fyrst manni eða fremst um veizt* (Vm. 34) "что ты прежде всего *помнишь* или раньше всего *знаешь*". Таким образом, з н а н и е – др.-исл. *vita* складывается из способностей п о м н и т ь (*man*) и (пред)в и д е т ь (*sía*), охватывать духовным оком всю временную ось – от сотворения мира до его конца. Весьма показательно, что идея д и н а м и к и, зафиксированная в семантической мотивировке др.-исл. *vita* (< и.-е. \**ueið-* 'преследовать'), актуализируется и на уровне синхронии, и ум осмысляется как д в и ж е н и е, пронизывающее и одухотворяющее пространство и время и соединяющее их с антропоцентрической сферой.

Метафорически древнегерманская космогоническая концепция может быть представлена **глазом** Мимира (точнее – тремя глазами (своими и взятым в залог глазом Одина, а также его внутренним оком – памятью), возникшего одновременно с началом космизации мира и поэтому охватившего взглядом всю временную ось, и **ухом** Хеймдалля, "бога предела".

Рассмотренные типы знания отражают а к т и в н ы й и п а с с и в н ы й аспекты познания. Данные, характеризующие концепцию сакрального знания в ц е л о м, можно представить в виде таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1

Активный характер познания	Пассивный характер познания
<i>Видеть</i> (др.-исл. <i>sía</i> ), предвидеть ( <i>sía fram</i> ); вельва (прорицательница)	<i>Слышать</i> (др.-исл. <i>hljóð</i> < и.-е. * <i>kleu-</i> ); Хеймдалль
<i>Знать</i> (др.-исл. <i>vita</i> < и.-е. * <i>ueið-</i> 'преследовать' & <i>d-</i> 'находить' ('я нашел' > 'я знаю'), ср. * <i>uid-</i> <i>ē</i> 'увидел'); вельва	<i>Помнить</i> (др.-исл. <i>man</i> < и.-е. * <i>men-</i> ); Мимир

Факты, зафиксированные в данной таблице, неоднозначны и нуждаются в некоторых комментариях. Прежде всего необходимо отметить, что активный или пассивный характер познания носит условный характер. В частности, некоторые контексты недвусмысленно свидетельствуют о том, что предикат *видеть* может быть использован для описания пассивного усвоения знаний, ср., например, отрывок из "Младшей Эдды" (SnE 37) о том, что м у д р о с т ь Одина заключается в способности манипулировать информацией, полученной от воронов Хугина и Мунина, ежедневно облетающих вселенную и сообщающих владыке богов обо всем у в и д е н н о м и у с л ы ш а н н о м. В данном контексте знания, аккумулируемые Одним, отличаются лишь по способу их получения: в первом случае они обозначаются при помощи а у д и о кода, а во втором – в и з у а л ь н о г о кода. Кроме того пассивность познания, обозначаемого др.-исл. *tan* 'помнить', весьма относительна. Внимательное прочтение контекстов, в которых встречается интересующая нас лексема (прежде всего Vsp. 2: *ec tan iqtna ... nio tan ec heima* "я помню великанов. ... девять помню я миров"), приводит к заключению о том, что ключевой в композиционном и семантическом плане глагол *помнить* отнюдь не нейтрален; повтор как особый стилистический прием служит для выражения эмфазы и создания маркированной ритмической структуры, передающей духовное напряжение субъекта познания, концентрацию интеллектуальных и эмоциональных усилий провидицы. Этимологические данные подтверждают это предположение. Как известно, др.-исл. *tan* восходит к и.-евр. \**ten-*, обозначающему духовный подъем, ментальное возбуждение: ср. наряду с другими дериватами этого корня др.-инд. *tīni-* 'восторженный, провидец', др.-греч. *μανία* 'бешенство', *μάντις* 'пророк', 'ярость, гнев' [Рокоту 1959: 727].

Активный и пассивный характер познания, схематически отраженный в таблице, ни в коей мере не следует отождествлять с интенсивным и экстенсивным способом освоения мира. О том, что между членами первого и второго рядов не существует взаимоднозначных соответствий, убедительно свидетельствует древнегерманский материал, см. табл. 2.

Таблица 2

Интенсивное познание	Экстенсивное познание
<i>Провидеть</i> (др.-исл. <i>siá fram</i> ); вельва;	<i>Видеть</i> (др.-исл. <i>siá</i> ); Один, узнающий все от воронов, ежедневно облетающих весь мир;
<i>Знать</i> (др.-исл. <i>vita</i> ); Один во время самопожертвования (Háv. 138)	<i>Слышать</i> (др.-исл. <i>heyrá, hljóð</i> ); Хеймдалль, "бог предела"; <i>Помнить</i> (др.-исл. <i>tan</i> ); Мимир, древнейший великан, источник которого возник на месте Мировой бездны; <i>Знать</i> (др.-исл. <i>vita</i> ); великан Вафтруднир, прошедший все миры.

Приводимые выше таблицы можно реинтерпретировать в терминах д и в и ж е н и я, и тогда таблица примет следующий вид (см. табл. 3):

Таблица 3

Движение <b>вперед</b> (др.-исл. <i>siá</i> 'видеть', <i>siá fram</i> 'предвидеть')	Движение во всех направлениях: <b>верх &amp; низ &amp; вперед &amp; назад</b> (др.-исл. <i>hljóð</i> 'слух')
Движение <b>назад и вперед</b> (др.-исл. <i>vita</i> 'знать' < <i>tan</i> 'помнить' & <i>siá</i> 'видеть')	Движение <b>назад</b> (др.-исл. <i>tan</i> 'помнить')

Таким образом, в древнегерманской мифопоэтической модели мира движение развертывается не только на плоскости (др.-исл. *vita* 'знать', *man* 'помнить', *sía* 'видеть'), но и в пространстве (др.-исл. *hljóða* 'слышать').

Чтобы исчерпывающе описать модель познания, реконструируемую на основании древнегерманских мифопоэтических текстов, необходимо ввести параметр субъекта и объекта. При таком подходе в принципе возможны следующие ситуации: субъект и объект познания разделены, и познание привносится извне или субъект и объект познания совпадают, и познание возникает в результате внутренних трансформаций персонажа, раскрытия его потенций в результате жертвоприношения (ср., в частности, обретение Одином рунической магии в акте самозаклания – пронзания себя копьем и повешения на мировом дереве). В первом – наиболее обычном и самом распространенном способе познания – акцент ставится на внешнем аспекте этого процесса, а во втором – исключительном, нетрадиционном и занимающем наивысшую ступень на аксиологической шкале способе познания – доминирует идея авторефлексивности, дедукции знания и зн у т р и.

Приводимые выше таблицы отражают картину познания в синхронии. Если попытаться реконструировать аналогичное явление в диахронии, то обнаружится, что вектор познания направлен снизу вверх – из нижнего мира в мир богов (и людей). Чтобы подтвердить этот тезис, приведем некоторые примеры хтонического происхождения знания. В древнегерманской мифопоэтической модели мира высшие знания (сведения о прошлом и будущем вселенной, руны, магия, поэзия) ассоциировались с иным миром. Приведем лишь некоторые наиболее известные примеры, подтверждающие этот тезис. В "Речах Вафтруднира" мудрый великан, вступивший с Одином в диалог на космогонические темы, утверждает, что источником его информации является путешествие в иной мир. Ср. *Vm 43: Frá iqtna rúnom oc allra goða / ec kann segja sátt, / þvíat hvern hefí ec heim um komit; / nío kom ec heima fyr Niflhel neðan, / hinig deyia ór helio halir* «О тайнах великих богов и турсов / поведал я правду: / все девять миров до дна прошел и Нифльхель увидел, / куда смерть уводит».

Еще один образец восприятия иного мира как локуса, аккумулирующего ментальную деятельность, занимающую верхнюю ступень на аксиологической шкале, функционирующей в древнегерманской мифопоэтической модели мира, связан с мифологическим персонажем Мимиром – самым мудрым великаном, поделившимся своими магическими знаниями с Одином, – само имя которого недвусмысленно указывает на принадлежность эпистемиологической сфере. Др.-исл. *Mimir* представляет собой редупликацию \**mi-moro-* 'память' < и.-е. \*(s)*mer-* 'вспоминать, заботиться' (ср. др.-англ. *mimorian* 'вспоминать', *gi-mimor* 'известный', *māmrīan* 'рассуждать', нидерл. *mijmeren* 'размышлять', др.-инд. *mimara-*, лат. *memoria* 'память' < и.-е. \**mer-* 'умирать' [Pokorny 1959: 969; Lehmann 1986; Vries 1977: 387]. В соответствии с древнегерманскими данными Мимир обитает либо на границе между этим и тем светом – у корней мирового дерева рядом с источником, либо под землей. Мимир выступает как повелитель под земного чертога в рассказе о гибели Свейгдира в закрывшемся за ним камне. Ср. *Yngl., cap. XI: En dagskjarr / Durnis niðja / salvorðuðr / Sveigði vélti, / þás í stein / enn stórgerði / Dusla konr / eft dvergi hljóp, / ok salr hjartr / þeira Sökmímis / jötunhyggðr / við jöfri gein* «Свейгдира раз / Зазвал обманом / Заворожил / Житель скальный, / Когда пред ним, / Наследником Дусли, / Камень отверз / Ненавистник света. / И славный вождь / канул под своды / пышных палат / племени Мимира». Мудрость заключена в источнике Мимира. Ср. *SnE 14* с отчетливой экспликацией данного мотива: ... *þar er Mímisbrunnr, er spekð ok manvít er í folgit, ok heitir sá Mímir, er á brunninn; hann er fullr af vísendum, fyrir því at hann drekkr ór brunninum af horninu Giallahorni* «...там источник Мимира, в котором сокрыты знание и мудрость. Мимиром зовут владельца этого источника. Он исполнен мудрости, оттого что пьет воду этого источника из рога Гьяллярхорн». Голова мертвого Мимира

сообщает о тайнах мироздания. В «Саге об Инглингах» (гл. IV), повествуется о том, что после того как ваны обнаружили глупость Хёнира, сделанного ими вождем, и поняли, что он смог выполнять свои обязанности только благодаря советам Мимира, они отрубили Мимиру голову и послали ее асам. Один набальзамировал ее, прочел над ней заклинания, и она открывала ему многие тайны. Ч е р е п Мимира наделяет знанием рун, ср. *Sd. 13: Hugrúnar scaltu kunna / ... þær of réð... / ... Hroptr, / af þeim legi, er lekið hafði / ór hausi Heiddraupnis / oc ór horni Hoddrofnis* «Познай руны мысли.... . Хрофт [Один] разгадал их ... / из влаги такой, что некогда вытекла / из мозга Хейддраупнира / и рога Ходдрофнира» [Хейддраупнир и Ходдрофнир – имена Мимира]. Магическое искусство Мимира проявляется в умении проникать мысленно в р а з л и ч н ы е миры (ср. отрывок из седьмой главы «Саги об Инглингах»: *Óðinn hafði með sér höfuð Mímis, ok sagði þat honum morg tíðendi ór qðrum heimum* (Yngl.) «Один брал с собой голову Мимира и она рассказывала ему вести из других миров») и в способности к предсказанию грядущих событий (ср. *Vsp. 46: ...enn miqtuðr kyndiz / ... mælr Óðinn við Míms höfuð* «...конец возвещен / ... с черепом Мимира Один беседует»). Мудрость Мимира основывается на пространственном субстрате, так как она черпается из источника н и ж н е г о мира, воплощающего стихию хаоса, преобразованного в процессе космогенеза в *prima materia*; она состоит в приобщении к сакральному первопространству с момента его возникновения, в фиксации и сохранении всех событий, происходящих в космозированной вселенной, то есть в п а м я т и обо всем случившемся.

Последний пример, свидетельствующий о локализации высших знаний в ином мире, представлен в рассказе из *Flateyjarbók (Þáttur Þorleifs Jarlaskálds)* о пастухе Халльбьёрне, который часто сидел на могильном кургане скальда Торлейва и во сне слышал призыв обитателя захоронения сочинить вису в его честь, но никак не мог справиться с этой задачей. Однажды Халльбьёрну явился сам Торлейв, произнес стихотворение и заверил его, что он после пробуждения станет великим поэтом, что и осуществилось. Таким образом, очевидна ситуация передачи поэтического вдохновения от м е р т в ы х живым.

Естественно возникает вопрос о п р и ч и н а х связи высших знаний с иным миром. Не пытаясь дать исчерпывающий ответ, постараемся изложить некоторые соображения по этому поводу. Наиболее правдоподобным представляется предположение о том, что именно н и ж н и й мир согласно древнегерманской космогонической концепции выступает в качестве креативной субстанции, а и н о й мир в соответствии с древнегерманскими мифопоэтическими представлениями, подкрепляемыми и языковыми данными, о т о ж д е с т в л я е т с я с ним (ср. семантические мотивировки древнегерманских мифологических локусов иного мира – ‘низ’, ‘глубина’, ‘долина’, а также ‘вода’, ‘мрак (туман)’, неизменные атрибуты нижнего мира). Весьма показательно, что один из мифологических локусов иного мира – др.-исл. *Niflheimr* ‘мир тумана (мрака)’, имеющий прочную укорененность в сфере смерти выступает также и в качестве п е р в о п р о с т р а н с т в а. Ср. *SnE 3: Fyrr var þat morgum qldum, en iqrð var scopuð, er Niflheimr var gqrr* «Раньше, за многие века до создания земли уже был сделан *Нифльхейм*»; *SnE 4 Svá sem kalt stoð at Niflheimi*: «И если из *Нифльхейма* шел холод»; *SnE 14: Þriár rætr trésins halda því upp ok standa afar-breitt, ein er með ásum, qnnur með hrímþursum, þar sem forðum var Ginnungagap; en Þriðja stendr yfir Niflheimi, ok undir þeiri rót er Hvergelmir, en Níðhoggr gnagar neðan rótina* «Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень – у асов, другой – у инейстых великанов, там, где прежде была Мировая Бездна. Третий же тянется к *Нифльхейму*».

И н о й мир ассоциируется с п л о д о р о д и е м, чему содержатся многочисленные подтверждения в древнегерманских письменных источниках. Ср., например, широко известный отрывок о похоронах короля Хальвдана из «Саги о Хальвдане Черном»

(гл. IX): «Ни при одном конунге не было таких урожайных годов, как при конунге Хальвдане. Люди так любили его, что, когда стало известно, что он умер и тело его привезено в Хрингарики, где его собирались похоронить, туда приехали знатные люди из Раумарики, Вестфольда и Хейдмёрка и просили, чтобы им дали похоронить тело в своем фюльке. Они считали, что это обеспечило бы им урожайные годы. Помирились на том, что тело было разделено на четыре части, и голову погребли в кургане у Камня в Хрингарики, а другие части каждый увез к себе, и они были погребены в курганах, которые все называются курганами Хальвдана» [Снорри Стурлуссон 1980: 42].

Связь с плодородием реализует признак, общий как для иного мира, так и для высших знаний. Дело в том, что в обществе, в котором важную роль играло земледелие, как в языческой Скандинавии, умение предсказать, каким окажется год – урожайным или неурожайным – ценилось особенно высоко. Именно искусство прорицания, как видно из приводимых выше примеров, и приписывалось мертым, таким образом, семантические сферы 'смерть' и 'мудрость' имели точки соприкосновения. Индоевропейские параллели подтверждают это предположение. Ср., в частности, «характеристику Бояна как "Велесова внука" в "Слове о полку Игореве", из которой делается естественный вывод о том, что сам Велес был покровителем поэтов и, более того, был поэтом и сам» [Топоров 1998: 77], а также поэтические термины: *вольнь* «обозначающую словесную часть "переходного" ритуала (колядки, волочebные песни)» [Там же: 78].

Подводя итоги анализа древнегерманских данных, отражающих мифопоэтическую модель мира, можно констатировать, что познание воспринималось как **движение**: в д и а х р о н и и оно было направлено **снизу вверх** – из нижнего мира, ассоциировавшегося со смертью и плодородием, в мир богов и людей, а в с и н х р о н и и оно объединяло несколько разновидностей движения – **назад** (память), **вперед** (провидение), **назад & вперед & верх & низ** (слух), реализующихся при помощи в и з у а л ь н о г о или а у д и о кодов, которым соответствовали определенные структуры на уровне текста – визионерская поэзия и тексты, открываемые формулой с др.-исл. *hliðð* 'слушание'.

Наличие в древнегерманской культуре «шаманского» комплекса особенно в северной зоне, близкой к полярному кругу со специфическими климатическими условиями, предопределяющими склонность к видениям [Arbman 1963], позволяет говорить о физиолого-космологической мотивировке самого акта видений и объяснить возникновение нового, стадияльно более позднего по сравнению со слышанием / слушанием (др.-исл. *hliðð*) и воспоминанием (др.-исл. *man, Mimir*) типа познания – (про)видения. Свойственные древнегерманской мифопоэтической модели мира драматизм, внутренняя динамика, заостренный интерес к «пороговым» ситуациям (ср., в частности, изображение глобальной эсхатологической катастрофы – «гибели богов» (др.-исл. *agna rök*), образующей трагический фон всей космогонии) приводят к преобразованию «коренного для всей древнеиндийской традиции различия между двумя видами знания – активным "услышанием" (*śrutā-*), в результате которого человек внутренне усваивает себе это сокровенное, услышанное, как бы пробуждается, меняя в сторону углубления свой духовный потенциал, и пассивным "запоминанием" (*smṛtā-*), "зеркальным усвоением традиции, которое может быть и чисто внешним актом (...)"» [Топоров 1995: 37].

Процесс перестройки индоевропейской системы бинарных оппозиций, реконструируемой на основании древнегерманских данных, можно представить в виде таблицы (см. табл. 4).

	И.-е.
<b>Активный</b> аспект	<b>Пассивный</b> аспект
<i>Слышать / слушать</i> (и.-е. * <i>kleu-</i> )	<i>Помнить</i> (и.-е. *( <i>s</i> ) <i>mer-</i> )
	⇓
	Др.-герм.
<b>Активный</b> аспект	<b>Пассивный</b> аспект
<i>Видеть</i> (др.-исл. <i>siá</i> ( <i>fram</i> ))	<i>Помнить</i> (др.-исл. <i>man</i> , <i>Mímir</i> )
	<i>Слышать</i> (др.-исл. <i>hljóð</i> )

Таким образом, древнегерманская мифопоэтическая модель познания, с одной стороны, сохраняет рефлексы архаичных индоевропейских эпистемиологических представлений, а, с другой, обнаруживает инновации. Иными словами, древнегерманская концепция познания строится преимущественно из индоевропейского набора элементов в соответствии с собственными принципами.

### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

a) древнеанглийские	
D. II	Be Domes Dæge
b) древнеисландские	
Akv.	Atlakviða
Bdr.	Baldrs draumar
Gg.	Grógaldr
Grm.	Grímnismál
Háv.	Hávamál
Hdl.	Hyndlóljóð
Odd.	Oddrúnargrátr
Sd.	Sigrdrífomál
SnE	Edda Snorra Sturlusonar
Vm.	Vafðrúðnismál
Vsp.	Vǫlospá
Yngl.	Ynglinga Saga
c) древневерхнемецкие	
Musp.	Muspilli
Wess.	Wessobrunner Schöpfungsgedicht und Gebet

### ИСТОЧНИКИ И ПЕРЕВОДЫ

- Edda*. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern // Hrsg. von G. Neckel. 4. umgearb. Aufl. von H. Kuhn. Heidelberg, 1962.
- Snorri Sturluson*. Edda / Udg. af Finnur Jónsson, København, 1900.
- Snorri Sturluson*. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson gaf út. 1–3. Reykjavík, 1941–1951 («Íslenszk fornrit», 26–28).
- Младшая Эдда* / Издание подготовили О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. Л., 1970.
- Снорри Стурлусон*. Круг Земной / Издание подготовили А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М., 1980.
- Старшая Эдда*. Древнеисландские песни о богах и героях / Ред., вступ. ст. и ком. М.И. Стеблин-Каменского. М.–Л., 1963.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Калыгин В.П.* 2000 – О визионерском знании древнеирландских филидов // Язык: теория, история, современность. М., 2000.
- МНМ – Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1980–1982.
- Топоров В.Н.* 1995 – О древнеиндийской заговорной традиции // Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г.Л. Пермякова. М., 1995.
- Топоров В.Н.* 1998 – Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции (Введение к курсу истории славянских литератур). М., 1998.
- Arbman E.* 1963 – Ecstasy or religious trance. Uppsala, 1963.
- Dumézil G.* 1973 – Comparative Remarks on the Scandinavian God Heimdall // *Dumézil G. Gods of the Ancient Northmen.* Berkeley, Los Angeles, London, 1973.
- Korolev A.A.* 1994 – The co-cloth formula and its possible cultural implications // *Ulidia. Proceedings of the 1. International conference on the Ulster cycle of tales.* Belfast, 1994.
- Lehmann W.P.* 1986 – A Gothic etymological dictionary / Based on the 3d ed. of *Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache* by Sigmund Feist. Leiden, 1986.
- Pokorny J.* 1959 – *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch.* Bd. I–II. Bern; München, 1959.
- Seebold E.* 1969 – Germanisch *sanþ-/sund-* "seiend, wahr" // *Die Sprache.* Bd. 15. 1969.
- Seebold E.* 1973 – Die Stammbildungen der idg. *veid-* // *Die Sprache.* Bd. 19. 1973.
- Vries J. de* 1977 – *Altisländisches etymologisches Wörterbuch.* Leiden, 1977.

© 2000 г. М.Ю. МИХЕЕВ

**ЖИЗНИ МЫШЬЯ БЕГОТНЯ ИЛИ ТОСКА ТЩЕТНОСТИ?**

(о метафорической конструкции с родительным падежом)

Метафора есть проекция человеческой природы на природу вообще...

*(Гастон Башляр)*

Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова, как такового<sup>1</sup>, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущий им обоим. (...)

Alles Vergängliches ist nur ein Gleichnis. Всё преходящее только подобие. Возьмем к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие солнца, солнце – подобие розы и т.д.? Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического "леса соответствий" – чучельная мастерская.

Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контраданс "соответствий", кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой.

*(О. Мандельштам. О природе слова. 1922).*

Одним из наиболее распространенных синтаксических типов метафоры в русском языке является конструкция с родительным падежом, в которой на первом месте в именительном падеже помещается рема, а на втором – тема данного сочетания, в зависимом от него родительном.

<sup>1</sup> Хотя у О. Мандельштама понимание "номинализма" ровно противоположно современному философскому толкованию данного термина, но это не мешает общему рассуждению.

*Одежда лесты* (Лермонтов); *уго бедствий* (Жуковский); *лысины земли* (Горький); *кинжалы кипарисов* (Набоков) и т.д. – все эти и им подобные метафоры построены по образцу сравнительного оборота, у которого само сравнение, т.е. предикат сходства, опущен. В начале такого сочетания автор как бы загадывает загадку, чтобы заинтериговать слушателя (или читателя), привести в недоумение, "ошарашить" его чем-то новым и непонятым, дать какое-то специально зашифрованное, несобственное наименование предмета (свойства, действия и т.п.), а потом, уже как бы задним числом, в виде необязательного пояснения предьявить отгадку, ну или хотя бы дать намек на то, что, собственно, имелось в виду. Распутывать такую метафорическую конструкцию в любом случае приходится с конца<sup>2</sup>:

а) *кинjarисы* [которые в чем-то напоминают, похожи по форме (?-например, так же торчат вверх острями), как] – *кинjarаль*;

б) *земля* [точно так же имеющая на себе пустые (? – не поросшие травой или деревьями) места, как] – *лысины* [на головах людей];

в) *бедствия* [такие же тяжкие и непереносимые, как] – *уго*;

г) *лесть* [обычно так же прикрывающая истинные намерения (отношение) человека, как] – *одежда* [прикрывает человеческое тело].

### ГРАДАЦИИ ПОДЗНАЧЕНИЙ ВНУТРИ "РОДИТЕЛЬНОСТИ"

Для простоты будем исходить из того, что "в основе всякой генитивной конструкции лежит мысль, которая может быть оформлена как суждение" [Бельский 1952: 282]. В ряду этих конструкций можно рассматривать и метафорические: "Метафорическая конструкция с родительным падежом – тоже свернутое предложение" (Там же). Конструкция с родительным может иметь следующие значения (большинство из них уже обсуждались в литературе):

а) родительный **принадлежности**, а вернее родительный "обладателя" или даже – родительный "области нахождения предмета" (*книга брата* или *газ Сибири*) – они могут быть возведены к суждениям *Книга принадлежит брату* и *Газ добыт (привезен из, имеется в) Сибири*;

б) родительный **субъекта** (*приезд врача* или *шелест листьев*) – что можно возвести, соответственно, к суждениям *Врач приехал* и *Листья шелестят*; или снова на метафорических примерах: *пляска пилы*, *ржанье бурь*<sup>3</sup> – Пила [в руках того, кто пилит, будто] пляшет; Бури [как кони, словно издают] ржанье;

bb) родительный (типичного) **носителя свойства или признака** [это вариант родительного субъекта]: *темнота ночи*, *румянец щек*, *подлость человека*, *благородство поступка*, *безрассудство молодости* – соответственно: Ночь темна, Щеки румяные, (Данный) человек подл, (Этот) поступок благороден, (Всякая) молодость безрассудна. Как легко видеть, здесь может возникать или не возникать еще и типичность, или та или иная "кванторность": отчасти это зависит от "денотативного статуса" имени или дескрипции [Падучева 1979: 25–31]: *Всякая / или именно эта ночь – темная*; *Внутри (данного / или вообще всякого?) человека (есть что-то) подлое*; *(Всякие / или именно эти) щеки румяны*; *Благородство, свойственное данному поступку / или данному человеку вообще*. А в более "математической" записи: *Безрас-*

<sup>2</sup> Здесь и ниже в [квадратных скобках] даются конъектуры, т.е. само собой разумеющиеся вставки, которые, по мнению автора, следует сделать; а в угловых (?-иногда с предшествующим знаком вопроса) – компоненты значения типа **импликация, предположение** или **вывод**, то есть те же самые конъектуры, но, так сказать, уже "второго уровня", более сомнительные и уже в какой-то мере "лежащие на совести" интерпретатора текста (подробнее см. [Михеев 1998]).

<sup>3</sup> Примеры из [Левин 1969: 397].

судство свойственно вообще всякому X–у, такому, что он принадлежит данному множеству У, – т.е. в случае последнего примера – множеству *молодых людей*.

Вот игра на такого рода неоднозначности родительного падежа у А. Платонова: *почти до колен были обнажены худые ноги подростка...* (НЮ)<sup>4</sup>. Употребление затрудненного сочетания *худые ноги подростка* вместо более обычного выражения *ее худые ноги* (здесь говорится о девушке) или уж совсем нейтрального *ноги девочки* – порождает предположения: (?-значит, у нее были такие ноги, какие обыкновенно и бывают у подростков) или (?-может быть, автор хочет сказать, что по этим ногам было видно, что она совсем еще ребенок, а не взрослая женщина >;

с) родительный **объекта**: *ограбление банка, прибавка жалования, трансформатор тока* – соответственно: [Кто-то] ограбил банк; [Начальство] прибавило жалование; [Трансформатор] преобразует ток; причем формально этот тип – почти то же самое, что и следующий:

d) родительный **содержания**: *сигнал тревоги, вопль отчаяния, возгласы одобрения, улыбка счастья*: Сигнал [возвещающий о] тревоге; Вопль [свидетельствующий об] отчаянии; Возгласы [выражающие] одобрение; Улыбка [отражающая] счастье. Чем более неотъемлема принадлежность того или иного проявления, как части, своему целому, тем больше оснований для того, чтобы по нему восстанавливать целое – *тревога выражается* (о ней всегда дают знать) *специальными сигналами*; *отчаяние человека может проявляться, в частности, в воплях*; *для счастья характерно появление особого выражения на лице, особой улыбки* и т.д. Иначе конструкцию этого типа можно считать родительным **внутреннего состояния** при именительном **внешнего проявления**: *улыбка задумчивости* (Набоков) – [такая] *улыбка* [которая характерна / скрывает под собой / выдает состояние] *задумчивости* [человека];

dd) родительный в конструкции с именительным **крайней степени проявления признака**: *кипение страсти, тоска одиночества* – т.е. *Страсть* [доходящая до такой степени, что как будто] *кипит*; *Одиночество* [доводящее человека до гнетущей] *тоски*. Эти случаи хочется назвать еще по-другому – родительным **причины** при именительном крайней степени проявления признака: *тоска бездействия* (Набоков) – с одной стороны, *бездействие* [доходящее / или доводящее человека до настоящей] *тоски*, но если посмотреть с другой стороны, то – *тоска* [от] *бездействия / одиночества* и т.д.;

e) родительный **сорта** (или "способа изготовления"): *ковер ручной работы; мебель финского производства; стена кирпичной кладки*;

ee) его частный случай: родительный **материала**: *столлик красного дерева, банка темного стекла, клинок дамасской стали, портфель крокодиловой кожи* – т.е. столлик [сделанный из] красного дерева или банка [изготовленная из] стекла темного цвета и т.п.

В обоих последних случаях – (e) и (ee) – на месте выражения в родительном падеже практически невозможно одиночное существительное, а должен быть обязательно некий общий параметр и его конкретное значение;

Вот характерный для А. Платонова родительный **сорта** (или даже это именительный **следствия** при родительном **причины**?): *стены его зодчества* (К) – т.е. стены [которые должны будут быть воздвигнуты в результате строительства, благодаря его работам]. Это построено по аналогии с выражением *портрет его работы*.

f) обратное к (e): это конструкции, наоборот, с "именительным материала" или "содержимого" данного объекта: *асфальт тротуара, кожа портфеля*, – т.е. Тротуар

<sup>4</sup> Сокращенные обозначения произведений Платонова расшифровываются в списке литературы в конце статьи.

[покрытый (таким-то)] асфальтом; Портфель [сделанный из (определенного сорта)] кожи;

г) родительный **предикативный**: *болезнь любви* (Жуковский; Пушкин): при разворачивании этого сочетания в суждение имеем: *Любовь* [это такая] *болезнь* [или даже временное психическое помешательство, в котором влюбленный становится способен на необдуманные поступки]. К последнему виду близок также и

gg) родительный **сопоставительный** – *паруса деревьев, дрожащие лапы ливня*<sup>5</sup>. Впрочем, считать "сопоставительной" (или же "предикативной") следует всю конструкцию в целом, а из падежей в соответствующих случаях точнее так называть **именительный** (или же назвать его именительным "внешнего сходства"), поскольку тут именно слово в именительном падеже выступает в качестве "семантической оболочки"<sup>6</sup> метафоры, то есть средства сравнения для ситуации, обозначенной родительным. Истолкуем эти (и некоторые другие) примеры:

*деревья* [которые так же шумят (?-и полощутся на ветру), как] – *паруса* [на кораблях в море];

*ливень* [который стучит по крыше, как чьи-то] *дрожащие лапы* (?-словно зверь, бегущий по крыше).

Еще пример: *Смуглое золото заката* (Набоков) – т.е. *закат* [такого же цвета, как] *золото* (к тому же еще и *смуглое* – т.е. ?-словно покрытое загаром)<sup>7</sup>.

h) родительный **цели** (пример из рекламного объявления, рассчитанного на автомобилистов): *цепи противоскольжения* – т.е. *цепи* [используемые для того, чтобы усиливать сопротивление] *скольжению* [иначе говоря, противодействовать пробуксовке колес]. Но вообще говоря, генитивная конструкция нехарактерна для выражения отношения цели в русском языке: ср. сочетания вполне в духе А. Платонова: *\*платье беременности* (или разговорное: *мое беременное платье*); *\*кирпич строительства* или *\*запись памяти* (при нормативных; *запись для памяти, памятная запись; кирпич для строительства; или платье, которое я носила, будучи беременной*).

В статье [Левин 1969] предлагаются также названия родительный "целого" и родительный "совокупности предметов". Они могут быть проиллюстрированы как метафорическими, так и общеязыковыми примерами:

i) родительный **целого**: *поверхность крыши, вершина горы, пальцы руки, колеса автомобиля* и метафорические: *голова пальмы, белая накидка черемухи, зевы театров*<sup>8</sup>; а также очень близкий тип:

ii) родительный **совокупности предметов** (*ряд деревьев, толпа народа*), а с метафорой: *хоровод деревьев, оханка молний, кузнечиков хор*, – т.е. некая совокупность данного рода объектов.

В обоих последних случаях следовало бы говорить, возможно, о родительном "тезаурусном" или **энциклопедическом**, т.е. таком, который основан на знании самой

<sup>5</sup> Сам термин и приводимые на него примеры снова из статьи Ю.И. Левина [Левин 1969: 296].

<sup>6</sup> Оппозиция терминов "семантическая оболочка" и "подлинное семантическое содержание" заимствована мной из работы Ф. Уилрайта 1967 г. [Уилрайт 1990: 84].

<sup>7</sup> Пункты (г) и (gg) можно было бы объединить под названием "родительный **метафорический**", который собственно и является объектом настоящей статьи. В принципе это то же самое, что и приведенные в ее начале примеры *кинжалы кипарисов* и т.п. – Тут обнажается принципиальная **недискретность** данной классификации (*предикат* и есть, прежде всего, сопоставление, или приписывание имени какого-то – не вполне, не всегда, не полностью – присущего свойства).

<sup>8</sup> Еще точнее было бы обозначить этот случай как выражающий отношения Целого (где существительное в род. п.) и Части (в им. п.).

природы вещей (*ножка стула, палата парламента, звук речи или вымя коровы*) – в отличие от всех остальных, где генитивная конструкция получена в результате сворачивания, или номинализации некоторого суждения<sup>9</sup>.

Вообще говоря, список значений конструкций с родительным падежом можно было бы продолжить. Например, ввести еще и такое наименование, как

к) **родительный обстоятельствоный** – для характеристики сочетаний типа *прачечная самообслуживания; театр мимики и жеста* и т.п. В грамматике Панини, по свидетельству Т.В. Булыгиной (со ссылкой на Дельбрюка) определение значения родительного падежа вообще было чисто отрицательным и давалось уже после того, как были насколько возможно точно установлены значения всех остальных падежей – оно значило что-то вроде: 'предмет, характеризующий другой предмет в любом мыслимом отношении' [Булыгина 1959: 218].

В момент редакционной правки данной статьи вышла статья [Борцев, Парти 1999], в которой примеры с генитивной конструкцией (*стакан молока*), обсуждаются как выражающие разные смыслы, или, в терминах авторов, разные **Сорта** внутри смысла слова "стакан" (с. 169–170). В статье рассматривается возможность приписывать каждому из предметных слов в словаре множество тех Сторгов (или семантических типов), которые при его синтаксических связях с другими словами-Сортами в рамках данной конструкции могут выступать в качестве типовых толкований синтаксического единства в целом. В частности, исходя из этих положений, сочетание *стакан кефира*, наверно, следовало бы толковать так:

1) Сорт "Вместилище": [объект определенной Формы, т.е.] стакан [вмещающий в себя определенное количество Содержимого, т.е.] кефира – как во фразе *На столе стоит стакан кефира*;

2) Сорт "Мера": [определенное количество Содержимого, т.е.] кефира [соответствующее типовой единице объема Жидкости, равной примерно 200 граммам, т.е.] стакану – как в примере *Мой муж выпивает на ночь стакан кефира "Классический"*.

Однако уже для интерпретации следующей фразы: *Видимо, именно для демонстрации русской души перед иностранным зрителем актер, исполнявший роль генерала – директора корпуса кадетов в фильме Н. Михалкова, вместо того, чтобы закусить выпитый им второй стакан водки чем-то острым, изгрызает стакан зубами*, – необходимым окажется привлечение, кроме двух рассмотренных выше Сторгов у слова "стакан", еще и третьего:

3) Сорт "Вещество или Материал": [предмет, обычно состоящий из стекла].

В обсуждаемой работе говорится и о том, что даже метонимический перенос значения можно бы было описывать с помощью подобного формализма, то есть задавая в числе приписываемых слову смысловых категорий оператор (метонимического) Сдвига. Но тогда, вообще говоря, что мешает испробовать силу данного формального аппарата на описании еще и (языковых) метафор? Как внутри всякой описывающей язык теории, тут встают следующие вопросы: во-первых, о переполнении / неполноте используемого набора категорий (в частности, не приблизятся ли в таком случае друг к другу по мощности множество единиц метаязыка и языка-объекта), а во-вторых, о разграничении полномочий между различными категориями: они неизбежно будут друг на друга "наезжать" и снова понадобится механизм их разведения. Впрочем, подобные вопросы лежат в области "технического осуществления" и зависят всегда от мастерства или искусства.

## О МЕТАФОРЕ В ЦЕЛОМ

Не хотелось бы ограничивать объект исследования жестко заданным грамматически видом метафоры, а хотелось бы смотреть на него шире – как на нетривиальное семантическое преобразование вообще, т.е. пере-движение, пере-несение (**phora-meta**) или: '**движение**, ⟨выводящее⟩ **за** ⟨привычные границы понятий⟩' – в духе

<sup>9</sup> Это устное предложение, высказанное Н.Д. Арутюновой, которой я благодарен за прочтение в рукописи данной статьи и за ряд существенных замечаний.

идей [Уилрайт 1990: 82–87; Ортони 1979: 221–222] и, по-видимому, самого Аристотеля. Одним из существенных признаков такой метафоры должна быть ее парадоксальность, нарушение привычного взгляда на вещи. Так, приводимые в книге первого из названных авторов типичные примеры синестезии:

*У нее голос – как промокательная бумага (или же):*

*Этот голос – словно пуговки-глаза гремучей змеи, –*

вслед за Уилрайтом я бы предпочел все-таки отнести к метафорическим, хотя здесь предикат сходства и присутствует явно. То же, на мой взгляд, относится к следующим сравнительным оборотам (примеры из Хлебникова и Есенина):

*Она [калмычка] помнила, что девушка должна быть чистой, как рыба чешуя, и тихой, как степной дым (Хлебников);*

*И с тобой целуясь по привычке (А),*

*Потому что многих целовал (Б),*

*И, как будто зажигая спички (В),*

*Говорю любовные слова (Г).*

В последнем примере смысл центральной метафоры (В) из есенинского четверостишия я предлагаю понять следующим образом<sup>10</sup>:

[вполне умышленно, намеренно и бесстрастно, как бы заранее зная, что будет дальше, так же, как бывает, когда *зажигают спички* (В) (?-и, следовательно, относясь к этому с определенным безразличием), лирический герой Есенина делает (А) и (Г) – тем самым, как бы отдавая себе отчет, что это конечно может зажечь в его адресате огонь страсти, но при этом с сожалением констатирует, что (?-увлечься и ответить сам на пробуждаемое чувство, он скорее всего, увы, не сможет): этому способствует еще и подчеркивание "узуальности" в действиях А и Б].

Присутствующее во всех перечисленных выше четырех примерах формально выраженное сравнение, на мой взгляд, **перерастает** (по содержанию) в метафору. (Значит, метафора это прежде всего отступление от нормы привычного говорения?) При этом метафора может быть выражена множеством синтаксических и лексических средств:

определением из прилагательного с существительным (*шелковые чулки поросычьего цвета*);

приложением (*Идя к обеду, он [Ганин] не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни – о Машеньке*);

и, конечно, разнообразными видами эксплицитного сравнения (*В профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку; Прелестна, слов нет, ... А все-таки в ней есть что-то от гадюки*<sup>11</sup>);

а также – собственно глаголами и предикативами: *Тишина цветет; Белое платье пело в луче* (Блок); *Луна, опаляющая глаз; Жара в окне так приторно желта; Далекий свет иль звук – цирк холодом по коже* (Ахмадулина).

### МЕТАФОРА – ФОРМА ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ?

Происходящая "языковая игра" внутри метафорической конструкции с родительным падежом, примеры которой даны в начале статьи, состоит, на мой взгляд, в следующем: ее логический предикат (**рема**) ставится на первое место и выражается именительным падежом, маскируясь под что-то само собой разумеющееся, т.е. под ло-

<sup>10</sup> Как и перечисленные выше, этот поэтический прием получил бы, вероятно, индекс **СрМтф**, т.е. **метафорическое сравнение** – в перечне поэтических средств из словаря [Григорьев 1973].

<sup>11</sup> Все четыре примера выше из произведений Набокова.

гический субъект, исходный пункт (некую "прагматическую презумпцию", или "пьедестал") высказывания, а его действительный логический субъект (**тема**), прячется, отодвигаясь на второе место, ставится вслед за предикатом, посылается за ним "вдогонку" и делается от него зависимой грамматически, облекаясь в форму родительного падежа. При этом толкующая их взаимоотношения связка (устанавливающая сходство двух предметов или ситуаций – в приведенных случаях она специально выделена квадратными или даже угловыми скобками) оказывается опущена, оставляя читателя, желающего понять данное сочетание, в некотором недоумении, заставляющем гадать: "Что здесь имелось в виду? Может быть, все-таки и еще что-нибудь?" При этом читатель никогда не может быть уверен, что множество приходящих ему в голову интерпретаций исчерпывающе.

Сравнение, преобразуясь из более обычной, эксплицитно-глагольной, "характеризирующей" формы – в именную (презумптивную, тематическую, "идентифицирующую"), так сказать, дополнительно оживляется, "поднимается в ранге" и выдается говорящим за нечто само собой разумеющееся, на самом деле ни в коей мере таковым не являясь.

*Ожог глазам, рукам – простуда, любовь моя, мой плач – Тифлис... (Ахмадулина).*

Ведь тут какая-то потенциально даже "медицинская" терминология (*ожог глаза* – такой-то степени...) **остраняется** тем, что зависимое слово в сочетании с метафорой оказывается даже не в родительном (что было бы все-таки более стандартно), а – в дательном падеже. При этом возникает еще одно поэтическое **наложение** смысла грамматических конструкций: именно, конструкции с генитивом (идентифицирующей) и конструкции с дативом (характеризирующей):

1) *Тифлис* [такой же яркий (?-и нестерпимый) для] *глаза* [как] – *ожог*;

и как бы на заднем плане:

2) (?-О, горе / беда – мне! (на мою голову)).

В случае живой (или только что порожденной) поэтической метафоры можно говорить о некоей "молнии" – от неожиданного узнавания в несходном сходства – молнии, пронизывающей нас или озаряющей (пусть на миг) наше сознание.

Поэтические генитивные метафоры: *иглы ресниц, пятаки сыроежек, рты колоколов, булки фонарей, оборки настурций, глаза озер*<sup>12</sup> – можно истолковать следующим образом:

*Ресницы* [напоминающие, или торчащие в разные стороны, прямо как какие-то] – *иглы* (?-хвойного дерева); *Сыроежки* [похожие на] *пятаки* (?-на свиных рылах); *Колокола* [с нижней частью, как раскрытые] – *рты* (?-да к тому же еще с висящими на них "языками"); *Фонари* [похожие на хлебные] – *булки*; *Настурции* (?-с такими лепестками, как) – *оборки* [у платьев]; *Озера* (?-при взгляде сверху, как бы с птичьего полета) – [будто] (?-на тебя направленные, вглядывающиеся в тебя) – *глаза* [самой земли].

Хотя грамматически верно, что "в норме зависимое слово, стоящее в генитиве, всегда уточняет, доопределяет опорное слово конструкции" [Кнорина 1990: 116], но содержательно **опорным** выступает здесь, наоборот, то слово, которое стоит в родительном, а определяет его (т.е. служит его логическим предикатом) – слово в именительном.

Подробно описавший данные конструкции уже упоминавшийся А.В. Бельский (работа 1954-го года) указывал, что слово в генитиве имеет прямое значение, а его слово-хозяин – метафорическое. Вот как им охарактеризован **конфликт**, лежащий в основе данных сочетаний:

"Грамматика конструкции не совпадает со структурой логического суждения, лежащего в ее основе {...}; интонация генитива при метафоре сообщает ему характер предиката, но по логике этой конструкции смысловым предикатом является мета-

<sup>12</sup> Все примеры, но без толкований, взяты из работы [Кнорина 1990: 117–120].

фора<sup>13</sup> (...); родительный падеж в этих конструкциях грамматически – определяющее слово, а семантически – определяемое" [Бельский 1954: 288–290]. Сходным образом суть метафоры с генитивом описывалась в работе [Григорьев 1979: 227] и некоторых других.

Принципиально та же самая структура – вначале загадка, а потом вслед за ней намек на отгадку или какая-то подсказка, с помощью которой ее можно разгадать, – описана как характерный прием построения поэтического текста у О. Мандельштама в работе [Успенский 1996], где показано, как поэтически о с т р а н е н н о е слово тянет за собой цепь паронимически и ассоциативно связанных с ним слов и образов: *ливень* [который] – *бродит с плеткой ручьевою*, тянет за собой слово (парень); а для сочетания *улитки губ людских* – напрашивается близкое по смыслу слово (улыбки); к слову *нарывал* (когда говорится о винограде) – хочется добавить (созревал); а глаголу *настробживает* – как бы сопутствует в сознании читателя (настраивает) и, вместе с тем, еще (держится настороже); с выражением *омут ока* – сочетается паронимически близкое ему (обод), а также словно перекликающееся по смыслу (затягивать в омут). А на мой взгляд, над всем этим выражением надстраивается следующее суждение: (бросить (на него / нее) взгляд – точно попасть в омут)!

### МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ОСМЫСЛЕНИЙ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ

Опущение связи и вынесение вперед "загадки", или смыслового центра, т.е. всегда наиболее важное в сообщении, вообще сродни недоговоренности, в частности, таким ее проявлениям, какие мы встречаем в разговорной речи с характерным для нее порядком слов, где на первое место выносится главное, или смысловой центр сообщения [Ширяев 1986], а также в речи внутренней, "эгоцентрической" – [Выготский 1996: 41–57 и далее] (в работе 1934 г., со ссылкой на Ж. Пиаже), [Жинкин 1964: 27–37]. В любом случае адресату необходимо оказывается знание отсутствующего в высказывании контекста, иначе сама аналогия, взаимное соотнесение смыслов ("предиката" и "субъекта" в метафоре, с одной стороны, и "нового" и "данного" в разговорной и внутренней речи, с другой) – рискуют остаться непонятными.

Однако употребление метафоры в генитивной конструкции может сочетаться не только с недоговоренностью, но и, наоборот, со смысловой избыточностью. Иногда в этой конструкции оказываются нанизаны друг на друга двоящиеся повторами смыслы. Это, например, выступает одним из основных приемов "работы с языком" у А. Платонова:

*Около паровоза... всегда стоял табор народонаселения (ВМ)...*

При помощи характерного словесного нагромождения у неологизма *табор народонаселения* индуцируется поле "осциллирующих, просвечивающих через него" смыслов (термины из работ Ю.Н. Тынянова, Е. Толстой-Сегал, Н.Н. Перцовой), а именно следующих:

*около паровоза всегда стояла* [толпа людей];

[толпой] *стояло* ⟨?-все⟩ *население* [поселка];

[располагался как бы целый] *табор*;

или: [люди] *стояли табором* – ⟨?-как цыгане⟩;

[постоянно толпился ⟨?-в сутолоке и неразберихе, оживленных спорах и т.п.⟩ какой-то] *народ*;

[было полным-полно каких-то ⟨кочующих, перемещающихся с места на место⟩ людей]<sup>14</sup>...

Имеет место здесь также и недоговоренность, возникающая, в частности, за счет

<sup>13</sup> Тут под метафорой А.В. Бельский имеет в виду существительное в именительном падеже, которое и есть смысловой центр всей конструкции в целом. (Это просто нормальная метонимия.)

<sup>14</sup> Последнее осмысление подсказано Н.Д. Аругюновой.

наложения и неопределенности выбора между альтернативными вариантами-оттенками смыслов.

Вообще с помощью метафоры как правило достигаются две цели одновременно: происходит компрессия, сокращение речи (того, что иначе можно было бы выразить с помощью сравнительного оборота) и, в случае удачи, возникает особая экспрессивность, когда к образу исходной ситуации, угадываемой на основании слова-презюмции (т.е. в интересующих нас конструкциях – слова, стоящего в генитиве), как бы ненароком привлекается и на него **накладывается** уже иная ситуация, сходная, по мнению автора, в том или ином отношении с рассматриваемой. Это наложение образов расширяет и как бы "расшатывает" наши представления о связи явлений в возможных мирах – или вообще о границах реального, "умопостигаемого"<sup>15</sup>:

*ухабистый матрац; холодок восторга* (Набоков) – Т.е., по-видимому, *матрац* [такой же неровный, как (?-путь) по дороге, изрытой] *ухабами*; *восторг* [ощутимый в душе как некий особый рода] – *холодок* (?-и сопровождаемый к тому же характерным "замиранием духа").

При толковании последнего примера следует принять во внимание контекст его употребления: герой "Подвига", Мартын стоит на берегу моря рядом с женщиной, к которой он испытывает сложные чувства. (Помимо прочего, за этим выражением, возможно, "сквозит" еще и Пушкинский *быстрый холод вдохновенья?*)

При эмфазе рема все же может оказаться в конце метафорической конструкции, но это воспринимается нами именно как нарушение обычного в ней порядка слов, ср.: ?-*кипарисов кинжалы, ?-земли лысины, ?-бедствий иго, ?-лести одежда, ?-восторга холодок* – так же как: ?-*матрас ухабистый*.

То есть, становясь в строке поэтического текста на последнее место, слово, несущее на себе основной **вес** в метафоре (слово в именительном падеже, или его фокус, рема), может быть, и приобретает роль обычной ударной части высказываний, но зато высказывание в целом отчасти теряет ореол загадочности и становится похоже на устроенное более просто сравнение – как, например, в строчках:

*Каналов узкие пеналы* (Мандельштам) – или, его же *Переулков лающих чулки, И улиц перекошенных чуланы...* – что, опять-таки намеренно огрубляя толкованием в прозе, осмыслим следующим образом –

*каналы* [такие ровные и узкие, (?-что их, кажется, можно было бы совсем задвинуть сверху крышкой) прямо как какие-то] – *пеналы*;

*переулки* [из которых раздается собачий] *лай* [или откуда гулко доносится эхо собачьего лая]; (NB: здесь же и метонимия – будто сами переулки *лают*), [причем переулки эти способны так сильно растягиваться в длину (?-т.е. никак не кончаться, приводить в тупик пешехода, блуждающего по ним) как какие-то] – *чулки*;

*перекошенные улицы* [такие же неудобные, неровные, загроможденные домами, тесные, как (?-темные, забытые ненужными вещами)] – *чуланы*.

(Но вот в более "метафоричной" своей форме – *пеналы каналов, чулки переулков, чуланы улиц* – они были бы менее понятны.)

Везде на заднем плане метафорических сочетаний "маячит" вспомогательный и толкующий их образ, ситуация (или целое множество "накладывающихся" друг на друга образов или ситуаций), которые привлечены к исходной, толкуемой ситуации по сходству. В чем состоит принципиальное отличие поэтического языка от языка обычного, повседневного? Как известно, в соотноении двух изначально несходных предметов (ситуаций), в насильственном (как будто вопреки всякой логике) соположении и смешении того, что различно или даже в каком-то смысле противоположно. И чем дальше отстоят друг от друга толкуемое и толкующий образ ("содержание" и "обо-

<sup>15</sup> Но в некотором смысле, и – ограничивает их, конечно.

лочка" метафоры), тем выражение становится экспрессивнее (тем более оно способно задеть, поразить, "царапнуть" наше восприятие). Так, в выражении Маяковского *черствая булка вчерашней ласки* –

*ласка* [выпавшая (когда-то раньше) на долю лирического героя, сравнивается с] – *черствой булкой*, [т.е. представляется такой же

⟨?-бессмысленной и ненужной вещью // вещью второго сорта⟩ как оставшаяся со *вчерашнего* дня и теперь зачерствевшая] *булка* – [есть которую будешь только в случае крайней нужды].

Иначе говоря, событие наиболее желанное и приятное в воспоминании героя (ласка возлюбленной) способно стать неприятным (и мучительным). Воспоминание о ласке (вчера) очевидно мучает невозможностью своего повторения, и герой, пытаясь отделаться от этого тягостного переживания, намеренно приравнивает душевное к материальному, чтобы принизить чувства вообще и, тем самым в данном случае, как бы излечиться от них.

Метафора может касаться не только предмета как такового, но определенного действия с ним, как в следующем примере (из набоковского рассказа "Случайность", в котором едущий в поезде герой смотрит в окно):

...[С]квозь стеклянную дверь в проход видать было, как *взмывают* ровным рядом *телеграфные струны*,

где отгадка [телеграфные провода] совсем недалеко уходит от загадки, а свойствами, по которым произведено сравнение, выступает то, что

[провода так же натянуты по нескольку в ряд между столбами, как струны музыкального инструмента (⟨?-или еще: так же колеблются, как во время игры на нем)⟩].

#### ИМПЛИЦИТНОСТЬ ОСНОВАНИЙ СРАВНЕНИЯ

Следует оговорить, что при заимствовании для метафоры оформляющей оболочки у какого-то другого предмета (ситуации) на исходный предмет переносится, конечно же, не весь объем свойств и коннотаций первого, а всегда только лишь **некоторое**, никогда до конца не уточняемое их количество:

Так, например, в сочетании *сноп новостей* имеется в виду: [таких же перепутанных между собой, т.е. не связанных друг с другом <и как бы направленных в разные стороны> как соломинки в] – *снопе*; но, например, не: таких (новостей), (которые сразу же, только появившись, "падают подкошенными, как сноп"); последняя коннотация явно не при чем;

*Дождь вопросов* – т.е. [сыплющихся на собеседника так же обильно и неожиданно, как – капли] – *дождя* [на голову прохожего]; но не: (таких же мокрых и холодных);

*Стая кораблей* – т.е. [плывущих такой же (⟨??-неорганизованной, вольной, внешне непредсказуемой в своих действиях) – общей группой, как] – *стая* [⟨?-птиц, летящих по небу – тут еще и паруса как крылья]; но не, например: ⟨таких же голодных, как – стая волков);

*Заговор бульваров* – [где бульвары представлены как некие заговорщики, которые "окружают, опутывают, плетут нити" своего] *заговора* (⟨?-против города и / или его жителей) – ср.: 1) *бульвары окружают (город)* и *сеть бульваров (кольцо бульваров)*; 2) [заговорщики] *плетут свой заговор, опутывают сетью* и т.д.; но неверно, что, например: ⟨они так же склонны к авантюре и готовы на рискованные поступки, как настоящие заговорщики);

*Пожар любви* – [любовь подобна пожару в том отношении, что включает в себя огонь, жар, повышенную яркость, может быть, даже нанесение ран и увечий, вплоть до уничтожения объекта (а также связана с невозможностью остановить этот уже начавшийся процесс) как] – *пожар*; но не, например: ⟨сопровождается таким же удушливым запахом дыма и едкой копотью, какие бывают при пожаре);

*Зоркость чердаков* [слуховые окошки на чердаках которых, как глаза людей, во

что-то пристально вглядываются], то есть (?-дома – это люди, которые принуждены напрягать свое зрение, а их глаза – окошки чердаков, и может быть, этим людям приходится даже выпучивать свои "глаза"); но не так, что: (они обладают такой же остротой зрения, как, скажем, фенимор-куперовский Чингачгук). Вообще говоря, в данном выражении как бы "склеены" два выражения: метафора *глаза чердаков* и сочетание *зоркость глаз*<sup>16</sup>.

Как было сказано, объем свойств, который переносится с одного предмета на другой, не может быть четко очерчен и остается достаточно зыбким. Так, например, в то время как Х. Баран считает, что в выражении из хлебниковского стихотворения *на утесе моих плеч* имеется в виду, что размер плеч лирического героя превышает средний [Баран 1975; 48], почему не предположить, в добавок к этому, например, что (сами плечи так же угловаты, резки, обособлены от всего окружающего, неприступны и т.д. – как высящийся где-то в облаках утес)? В поэтической метафоре, пока она не сделалась языковой, соотношение предметов и их свойств всегда множественно.

Метафора близка иносказанию, аллегории, загадыванию загадки и вообще рекомендованному для поэзии Аристотелем "чужеземному языку". Так, метафора-перифраза может сопутствовать прямому наименованию, например, в пушкинском приложении (*Царица гордая, чума...*) или, как у Мандельштама, не называемый прямо предмет может быть обозначен только через свой косвенный смысл: *Длинной жажды должник виноватый, // Мудрый сводник вина и воды...*: отгадка (*кувшин*) дается заглавием стихотворения. Но такая отгадка может быть подана, конечно, и в последнем слове текста, или же вообще оставлена в умолчании. Метафоры, в которых отгадка не дается вместе с загадкой, выделены в особый класс в работе [Левин 1969: 297] – в ходе их разгадывания читателю предстоит установить точное соответствие оболочка-описания денотату (ситуации в целом), как происходит в сочетаниях: *Обильянты в траве* = 'капли росы'; или *Пушистый ватин тополей* = 'тополиный пух'; или же *Били копыта по клавишам мерзлым* – 'по булыжной мостовой'<sup>17</sup>.

Как правило, смысл или "денотат" метафоры не восстановим вне контекста. Так, выражение Мандельштама: *низкорослый кустарник сонат Бетховена* – может быть правильно понято только из более широкого контекста, где становится ясно, что имеется в виду восприятие самих нотных знаков в бетховенских сочинениях.

Существительное в родительном падеже, вообще говоря, может быть нагружено и иными функциями, чем только функция отгадки при существительном в именительном падеже внутри данной конструкции. Так, например, уже на второй странице набокковского романа "Приглашение на казнь", после того, как тюремщик Родион входит в камеру Цинцинната, приглашает того на тур вальса и они кружатся в танце, выносясь даже в коридор, а потом снова возвращаются назад в камеру, автор от имени Цинцинната жалеет,

*что так кратко было дружеское пожатие обморока.*

Здесь слово в родительном падеже выступает отгадкой для всей описанной выше невероятной ситуации вальса в тюремной палате (герой и одновременно читатель наконец-то понимают, что весь танец был не наяву, а лишь привиделся). Выражение *дружеское пожатие* – конечно, тоже метафора (напоминающая, что во время вальса партнеры близко сжимают друг друга, будто держа в объятиях, а кроме того, заставляющая еще представить, что обморок для измученного одиночным заключением героя явился настоящим благом), но эта метафора сильно проигрывает на фоне уже отгаданной загадки (что вальс привиделся во время обморока), она оказывается как бы чисто формальной.

Итак, основным "двигателем" метафоры следует признать все же сравнение. Странно, что А.В. Бельский не во всех случаях согласен признать, что таковое

<sup>16</sup> Разбираемые тут примеры генитивных метафор снова заимствованы мной из работы Л.В. Кнориной.

<sup>17</sup> По-видимому, они близки к перифразе.

сравнение есть. Например, в выражении Маяковского *страниц война и кавалерия остро* никак сравнений, по его мнению, нет [Бельский 1954: 282]. Здесь я позволю себе не согласиться: в первом сочетании страницы именно **сравниваются** с войсками по признакам, по крайней мере, их многочисленности, ровных рядов и, возможно, по такому – важному для Маяковского признаку, как – воинственность, постоянная готовность дать отпор, а остроты с кавалерией – по признаку быстроты передвижения относительно других видов войск и возможно еще (неожиданности ее атак на противника): "противник" у Маяковского, это, естественно, читатель – что убедительно показано в работе [Гаспаров 1997: 383–415]<sup>18</sup>.

## "МНОГОШАГОВОСТЬ" МЕХАНИЗМА МЕТАФОРЫ

Понимание метафорического выражения как намеренно усложненного и "зашифрованного" может требовать при распутывании настоящего смысла привлечения не одного-единственного – как в приведенных до сих пор примерах, но сразу нескольких промежуточных, вспомогательных звеньев, не названных явно шагов дешифровки. Так, принятое наименование *верблюда* при помощи метафоры-перифразы *корабль пустыни* – т.е.

1) [движущийся действительно как некий] – *корабль* [и так же, как тот, используемый для передвижения, но только не по воде, а по суше] – *в пустыне* [где он, в частности, так же плавно переваливается через барханы, напоминая этим (?-колышущийся на волнах)] – *корабль*,

предполагает понимание вставленной **внутри** еще одной метафоры-отождествления: 1.1) *пустыня* [это такое как бы море из] – *песков* (?-где от ветра образуются волны, вполне сходные с морскими).

Еще один пример возьмем из известного стихотворения Маяковского, посвященного "пароходу и человеку" Теодору Нетте. Тут образы внутри метафорического уподобления также "вложены" друг в друга, но уже несколько иначе, с возможным раздвоением или рефлексивностью, обращенностью друг на друга:

*весь в блюдечках-очках спасательных кругов* – что можно условно разложить на две более просто устроенные метафоры (генитивную и с аппозитом):

1) *очки спасательных кругов* и 2) *блюдечки (очков)* – т.е., с одной стороны,

1) *спасательные круги* [у парохода напоминают (?-видимо, бывшие) у реального человека-прототипа] – *очки*;

а, с другой стороны, еще и

2) *очки* [человека и спасательные круги парохода напоминают некие] *блюдца* [чашек].

Но можно также посмотреть и в обратном направлении:

1а) [лицо реального Нетте в] *очках* (?-в свою очередь, как бы проглядывает в) – *спасательных кругах* [названного его именем парохода].

Или, скажем, "сталинское" крылатое выражение *инженеры человеческих душ*: согласно устному рассказу В. Шкловского, афоризм "писатели – инженеры человеческих душ" принадлежал Ю. Олеше – он высказал его на встрече писателей со Сталиным в доме Горького (см.: Ю. Олеша. Зависть. Три толстяка. Рассказы. М., 1998 г., с. 504), но затем метафора была использована самим Сталиным и в дальнейшем укрепилась в сознании как его собственная. Она предполагает по крайней мере двойное соотношение:

1) *инженеры* [как известно, работают над своими (техническими) проектами, то есть нечто конструируют]; а

2) *человеческими душами* ["в нашей, советской", стране ведают – писатели];

<sup>18</sup> Впрочем, непоследовательность Бельского в данном вопросе также уже была замечена исследователями – [Григорьев 1979: 211] (со ссылкой на Нагапетяна).

3) [так значит, и писатели должны **так же** усердно трудиться – (?-рассчитывая, усовершенствуя) объекты своего творчества, то есть, по сути дела, тоже конструируя по "своей" воле] – *человеческие души*.

Здесь в метафорической конструкции оказывается встроена некая идеологема (советский лозунг или призыв), а на поверхности представлены только крайние члены этого, по крайней мере трехчленного, "уравнения"<sup>19</sup>.

### ОТ ПОЭТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ – К ЯЗЫКОВОЙ

Обычно при отношениях 'часть–целое' внутри компонентов метафорической конструкции за именительным падежом скрывается часть, а за родительным – целое (*нос скульптуры отбит*), что всегда подразумевает какой-то более или менее очевидный, вставной предикат, связывающий эти члены в единое предложение как совершенно тривиальное подлежащее (тему) и сказуемое (рему). Хотя бы так: *У скульптуры [изображающей человека, всегда есть] нос*. Но, например, в пушкинском строчке: *Воспоминанце безмолвно предо мной // Свой длинный развивает свиток...* – наоборот, сочетание *свиток воспоминания* развернуто в целое предложение. И тогда уже только потом, после (возможного) закрепления в памяти этой строчки может стать привычным и **законным** присутствие в языке сокращенной номинации *свиток воспоминаний*: ее первоначально поддерживают, конечно, уже существующие *ряд, рой, череда воспоминаний* и – *свиток (какого-то) древнего текста*. Так вошло в язык множество метафорических выражений. Когда предикат-связку для интерпретации подобрать оказывается затруднительно, то перед нами знак некоторого специфически поэтического глубокомыслия, намеренно напущенного тумана, или просто особая претензия на образность; во всяком случае это "сдвиг", вольный поэтический перескок через нормы образования новых сочетаний. Всякое новое поэтическое употребление как бы стремится "застолбить" за собой данную форму выражения мысли в языке. А дальше уже речевое употребление может как закрепить ее, принять, фразеологически "освоить", так и отвергнуть. Не даром ведь, по словам В.П. Григорьева, "каждый большой поэт изменяет отображение множества взаимодействующих *тропов* на множество слов" [Григорьев 1977: 69].

Метафора Маяковского *глупая вобла воображения* выглядит брутально-вызывающей – она как бы наталкивает нас на следующий ряд предположений:

а) (окаменевшая в жесткой позе высушенная рыба служит некой иллюстрацией причудливости воображения), где

аа) (?-ее выпученные, вылезшие из орбит глаза – это наша мысль, все время сияющая придумать нечто новое); к тому же, с другой стороны,

б) (???-так же, как рыба, попавшая в сети, часто и воображение слепо тычется в стену, не зная выхода).

Впрочем, сочетание *вобла воображения* возможно взято Маяковским у Салтыкова-Щедрина (из сказки "Вяленая вобла"), у героини которой "весь мозг выветрился", и жизненная мораль ее исчерпывается правилом: "Пережить бы нынешний день, а о завтрашнем не загадывать"<sup>20</sup>. Тогда смысл разворачиваемой Маяковским метафоры имеет такое прочтение:

в) [на самом деле] *воображение* [может быть представлено как] *глупая* (т.е. недалекая, лишенная всяких собственных мыслей) *вобла* (то есть этот символ переворачивает привычные взгляды на якобы творческое, интуитивное, совершенно не зависящее от действительности) *воображение* [являясь очередной футуристической "пощечиной общественному вкусу"].

Этот пример служит иллюстрацией метафоры, у которой, во-первых, основание сравнения не очевидно, а, во-вторых, про нее вряд ли можно предположить, что она должна войти в язык.

<sup>19</sup> Ср. со сходным понятием "вложенная эпифора" [Уилрайт 1990: 86].

<sup>20</sup> Последняя идея также подсказана мне Н.Д. Арутюновой.

В поэтическом произведении образы, возникающие из метафор, взаимно **подкрепляют** друг друга, усиливая общее впечатление и способствуя созданию **напряжения в языке** (tensive language – [Уилрайт 1990: 82–85]), чем и приводят (иногда) душу в характерное состояние "резонанса", "встряски", "вибрации" или "потрясения внезапного узнавания":

*Пронесла пехота молчаливо*

*Восклицанья ружей на плечах* (Мандельштам). Центральная загадка-метафора предполагает отгадку, по-видимому, (выстрелы). Она осложнена еще и напрашивающимся оксюмороном *молчаливо*, то есть [храня в себе] ⟨?-только возможные, еще не сделанные, может быть, даже специально подавляемые⟩ *восклицания*, а также возникающим в сознании параллелизмом с выражениями ⟨проходить⟩ *молча* ⟨мимо // не пролив ни слова, будто⟩ *неся* ⟨на своих устах печать⟩; то есть:

а) *пехота пронесла ружья*, ⟨будучи готова что-то⟩ *про*(ИЗ)*нести* ⟨или сделать неожиданные⟩ *восклицания* ⟨?-как-будто пули и есть слова, которые готовы вот-вот сорваться с губ проходящих мимо красноармейцев⟩.

А может быть, более простое:

б) ⟨ружья в вертикальном положении на плечах красноармейцев напоминают восклицательные знаки⟩<sup>21</sup>.

Еще один характерный пример подобного же поэтического "зависания" смысла и его недоопределенности (также из Мандельштама):

*Художник нам изобразил глубокий обморок сирени...* (стихотворение "Импрессионизм"), т.е.:

а) *изобразил* [склоненные вниз тяжелые ветки цветущей] *сирени*; – ⟨?-напоминающие женщину, падающую в) *обморок*; или

б) ⟨??-уже слегка увядшие *грозди*⟩, а возможно и:

в) [на картине изображено такое пышное цветение ⟨?-источающее такой сильный (густой) аромат⟩, который способен привести зрителя в состояние] – *обморока*.

(Таким образом, в третьем толковании, кроме метафорического, присутствует еще и метонимический перенос).

Помимо основополагающего соотнесения-парадокса двух очевидно нетождественных ситуаций в тексте, или специфического "сравнения с противопоставлением" [Арутюнова 1990: 381–384], возможны тонкие оттенки и специальные ходы нарушения привычных представлений о мире. Обычная генитивная метафора может быть обставлена и распространена таким количеством (иногда вкладывающихся друг в друга) разворачивающих ее деталей, что образует уже некое самостоятельное целое – самодостаточный мир.

С одной стороны, метафора может быть избитой, банальной, устоявшейся и "беллетристически-ничейной" [Григорьев 1979: 238]. В таком случае она служит накатанной дорогой для многих (уже вторичных) языковых сочетаний, как бы обрастая их "живым мясом" и увязываясь тесными узами с теми сочетаниями, которые поддерживают саму идею сопоставления именно данных двух "далековатых понятий" (выражаясь словами Ломоносова). Сравним такие близкие по смыслу словосочетания русского языка и синонимы к исходным языковым метафорам, как:

*бремя забот* – тяжелое / невыносимое бремя // тяжкие заботы (тяготы жизни) // нести на своих плечах / взвалить на себя / нести бремя;

*теплый прием* – тепло принять / тепло встретить // теплый взгляд / теплое отношение // потепление отношений;

*рой воспоминаний* – роиться (т.е. летать, носиться в беспорядке – как какие-то насекомые в воздухе – мухи, пчелы, как бы "осаждая" голову) // роятся мысли // череда воспоминаний // ?-свиток воспоминания.

<sup>21</sup> Последней интерпретацией автор обязан журнальному рецензенту статьи.



вай; крик о помощи), сочетания с взаимно уравновешивающими друг друга частями-аппозитами (*писатель-сатирик; поэт-песенник; инфанта-бабочка; осетин-извозчик*) и возможно некоторые другие. Такая матрица наглядно представила бы нам "освоенность" той или иной формы сочетаний данных смыслов в языке, и по ней можно было бы судить о том, какие имеются группы и как происходит в языке "фразеологическая кристаллизация" смыслов, то есть как за тем или иным оборотом закрепляется узуальность, а за другим – нет.

По мнению В.П. Григорьева, при трансформации внутри одного поэтического приема (Метафорическое Сравнение) из одной синтаксической формы в другую, например, из сочетания *кровати ржавый тарантас* – в более прозаический сравнительный оборот – *кровать, подобная ржавому тарантасу*, метафоричность, или "особое тропическое значение" теряется [Григорьев 1979: 215–216]. Это, конечно, так. А противоположное, то есть усиление метафоричности, по мнению Григорьева, происходит в конструкциях с творительным отождествления (*ласточкой полечу*) и особенно – с именительным отождествления (*люди-лодки* Маяковского, *дома-дирижабли* Андрея Вознесенского или же <sup>2</sup>*кровать-тарантас*, <sup>3</sup>*воспоминание-свиток* – если бы такие сочетания существовали): тут некатегоричная, недосказанная и всегда загадочная метаморфоза уступает место более категоричному сдвигу – с олицетворением, а у метафоры в форме генитива всегда еще есть возможность быть понятой как выражение соотношения часть–целое [Григорьев 1979: 216–223]. Но получается, что метафоричность как бы выстраивается по шкале: эксплицитное сравнение – генитивная конструкция – творительный – именительный отождествления.

На мой взгляд, столь однозначной противопоставленности грамматических форм по "метафоричности" нет. Ставшие языковыми, затертые повседневным употреблением сочетания – такие как *лента дороги, огонь желания* воспринимаются нами как тривиальные (т.е. слитные, нерасчлененные), почти не метафорические смыслы, именно потому, что в языке уже есть некоторое количество выражений с **общими** для сравниваемых в этих метафорах слов связками и предикатами (и, следовательно, для стоящих за ними понятий): от этого наша мысль "не задерживается", когда мы воспринимаем их совместно, и "молния номинализации" как бы срабатывает автоматически (если вообще возникает).

Так, и про *дорогу*, и про *ленту* почти одинаково можно сказать: "вьется, пролегает, убегают, прячется"; про *огонь* и про *желание* – что они "горят, жгут, испепеляют, теплятся" и т.д. Все они, так сказать, уже давно "фразеологически освоены, обкатаны" языком. Например, тот факт, что в нормативном литературном языке давно отложилось метафора *червь сомнения*, говорит, на мой взгляд, о том, что слова, его составляющие, хорошо между собой увязаны и "пригнаны" друг к другу: подобно тому, как *черви* – точат / подтачивают / гложут [например, ствол дерева], *сомнения* – подтачивают / грызут / уничтожают [уверенность человека в чем-то].

Язык как бы прокладывает мостки (или протаптывает дорожки, нахаживает тропки) между теми словами и понятиями, которые хочет связать между собой, и наоборот, оставляет, забрасывает тропинки и "прерывает сообщение" – между теми, соположение которых для него перестает быть значимо.

### НЕКОТОРЫЕ КАЗУСЫ С ГЕНИТИВОМ

Как известно, при толковании генитивной конструкции возможно появление разного рода неоднозначности и ложного понимания, например, из-за возведения к разным диатезам: *оковы просвещения* – это то ли: 1) *оковы* [надеваемые (кем-то) на] *просвещение* (?-т.е. правительством, царским режимом), в случае если понимать это как родительный объекта; то ли это 2) *оковы* [т.е. стеснение, или "шоры", навязываемые человеку – тем видом] *просвещения* [который ему предлагается в его эпоху, в его

стране и т.п.], если это родительный субъекта. Собственно, в контексте "Цыган" Пушкина, откуда взято это сочетание, имеется в виду второе, но само собой для данного словосочетания это не разумеется. Сочетание *болезнь любви* тоже может быть (вполне по-пушкински, т.е. с каламбуром) переосмыслено. Ведь можно понять его не по метафорическому, а по метонимическому образцу – если не слово *любовь* принять за опорное (как тему) для дальнейшего метафорического хода со словом *болезнь* [т.е. любовь, проявляющая себя как своего рода] помешательство, а наоборот, – исходить из прямого смысла слова *болезнь*, а уже *любовь* мыслить в переносном, метонимическом значении как – [часто связанная с] *любовью* [или полученная в результате любовных увлечений = венерическая] *болезнь*.

Можно было бы считать, вообще говоря, что все типовые образные выражения или застывшие языковые метафоры, вроде 1) *кусать локти*, 2) *лизать зад*, *ползать на коленях*, 3) *курить фимиам*, *петь дифирамбы* и т.п. представляют собой просто нечто вроде лексических функций И.А. Мельчука – в таком случае эту функцию можно было бы тогда назвать *Itago* (от "образа"), *Metaph* (от "метафоры") или *Augment* (от "преувеличения") – и что они являются производными от соответствующих "первичных" языковых выражений: 1) *сожалеть*, *раскаиваться*; 2) *льстить*, *угождать*, *пресмыкаться*; 3) *расхваливать*, *восхвалять*.

### РОДИТЕЛЬНЫЙ СТИЛИЗАЦИИ, ИЛИ "СПЕКУЛЯТИВНЫЙ"

А.В. Бельский выделяет метафоры, построенные по различным "схемам" (или шаблонам уподобления): по геометрической схеме (*точка зрения*, *центр внимания*, *сфера влияния*, *круг интересов*), по схеме дерева (*корень зла*), по схеме времен года (*весна жизни*), по схеме генетического родства (*мать пороков*) или типичного соотношения внешнего и внутреннего (*одежда правды*), по схеме типичного количества, или "квантов" вещества (*капля жалости*, *море крови*), а также по схеме, в которой метафора выступает символом, эмблемой или аллегорией явления (ситуации): *яблоко раздора*, *червь сомнения*, *якорь надежды* и т.п. [Бельский 1954: 283]. И вот как комментируется автором сопоставление между отвлеченным понятием и схемой предмета в выражениях *ума печать*, *венец мучения*: «Если восстановить соотносительные с ними суждения, то это будут сплошные "общие места", исключительно банальные выражения вроде *ум в чем-либо проявляет себя*, *мучение имеет высшую предельную точку*,<sup>31</sup> (...) Язык такими предложениями не пользуется, потому что они не нужны, но когда заключенную в них мысль нужно сделать субъектом или предикатом суждения, тогда неизбежны конструкции генитивного типа, в которых в риторически украшенной речи определяемое слово замещается метафорой» (Там же).

Итак, мне кажется, тут можно усмотреть еще один вид отношений, в добавление к выделенным ранее, а именно такой, который я предложил бы назвать, продолжая прежнюю нумерацию внутри генитивной конструкции, прерванную на пункте (к):

1) родительным **стилизации** (или "стилизаторским"). Применяя его, человек использует некие намеренно вычурные (и/или тавтологичные) выражения. Его следует иллюстрировать, кроме приведенных выше, также следующими сочетаниями: *ковер отдохновенья* (Лермонтов) или *ослы терпенья* (Вл. Соловьев). Можно называть его и родительным **пародирования** – ср. у Чехова: *Повесьте ваши уши на гвоздь внимания*. В намеренно преувеличенной форме стилизация присутствует в приведенных выше примерах из Лотреамона, а кроме того и в особой украшенности "восточной" речи. Ср. примеры (из книги о Ходже Насреддине): *Заря ее нежного румянца и коралл уст просвечивают сквозь шелк чадры...*;

<sup>31</sup> Выражение *венец мучения*, выступая в аллегорической схеме, очевидно отсылает к терновому венцу Христа.

*Подвигнутый высшими соображениями, я и привел сегодня во дворец слабосильных верблюдов моих раздумий, дабы повергнуть их на колени перед караван-сараем царственного могущества и напоить из родника державной мудрости... [Л. Соловьев 1957: 297–299].*

Иногда повышенная концентрация метафор с генитивом – этот явный признак поэтической приподнятости речи – может служить нарочитому снижению, пародированию и (само)иронии. Так, в следующем ниже отрывке из И. Бродского метафорическая насыщенность как бы намеренно контрастирует с откровенно непоэтичными реалиями быта:

*Духота. Толчая тараканов в амфитеатре цинковой раковины перед бесцветной тушей высохшей губки. Поворачивая корону, медный кран, словно цезарево чело, низвергает на них не щадящую ничего водяную колонну [Бродский 1994].* (Автор иронизирует над самой ситуацией применения метафор высокого стиля для описания предметов действительности явно непоэтических.)

В значении конструкции с родительным падежом, которое Бельский называет эмблемой, аллегорией или символом предмета, можно видеть, так сказать, языковой "шлак", пустые фигуры речи, грамматические издержки или даже некие **спекуляции** на почве грамматики. Но именно этот шлак и эти издержки часто берутся в качестве исходного материала для поэтического острания.

### "ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ" СРЕДСТВА ИЛИ "ЗАРАЗИТЕЛЬНАЯ" МАГИЯ?

В работе Р. Якобсона 1956 г. (см. [Якобсон 1990: 110–132]) противопоставлены две принципиальные способности человеческого разума – способность к ассоциации представлений по сходству (иными словами, к метафоре, к метаязыку или к "гомеопатической" магии) и способность к ассоциации по смежности (или, иными словами, к метонимии, т.е. к "заразительной" магии). В соответствии с этим и виды речевых расстройств подразделяются, во-первых, на нарушение отношений **подобия** (с невозможностью один и тот же предмет назвать одновременно разными именами, то есть с невозможностью отклонения от "говорения прозой", или несклонностью к метафоре, какому-либо отступлению от заученных правил номинации, а также собственно к поэзии), и во-вторых, на нарушение отношений **смежности** ("телеграфный" стиль, аграмматизм, постоянная склонность к метонимиям и синекдохам, что характерно уже более для прозы).

Если с этой стороны посмотреть на поэтический язык Платонова, то можно констатировать его тяготение преимущественно ко второму типу переносных употреблений, т.е. к метонимиям с их эксплуатацией ассоциаций по смежности, или к "заразительной" магии, нежели к более обычным для поэтического языка "гомеопатическим" средствам воздействия на привычные нормы называния, с игрой на ассоциациях по сходству. (Собственно, о том, что Платонов демегафоризует почти всякую метафору, уже много раз писали.) Так, например, самой тривиальной метафорой-заменой является название современного фотоаппарата – *мыльницей* (он выполняет большинство операций автоматически). Тут эксплуатируется или внешнее подобие: ведь [фотоаппарат похож по форме на мыльницу] или подобие функциональное [?-он так же прост в употреблении, как (?-открывание и закрывание) мыльницы]. Но вот с точки зрения Платонова подобное внешнее сходство предметов и явлений представляется слишком зыбким, условным и эфемерным, так как зависит от субъективных мнений и постоянно текущих, меняющихся взглядов на мир. Зато **смежность** предметов в пространстве – как нечто безусловно более серьезное, значительное и **объективное** в этом мире (поскольку предполагает неизыблемость материи, вечность ее "вещества" и повторяемость, "законосообразность" самой человеческой практики с ней), – вещь более надежная, стабильная, а потому и безусловно более привлекающая автора.

Для иллюстрации возьмем три типичных, вполне рядовых для Платонова случая выражений с родительным падежом. В первом – характерное "подвешивание" смысла, т.е. побуждение читателя к поискам побочных смыслов в умеренно осложненном (лексической неправильностью или просто шероховатостью) словосочетании:

*Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морицины усталости лежали на его лице...* (Вз)

Тут отсутствует слово, которое является опорным по смыслу, а именно – [?-старость]. Вместо него выступает, как бы заместителем, его символ – *морицины* [ведь они обычно служат знаком, или символическим обозначением] – <старости> (ср. *старческие морицины*). Вместо этого не упомянутого слова – паронимически связанное с ним (похожее и фонетически, и по смыслу) – <У>-ста-<Л>-ость.

В результате достигается некий характерный для Платонова стереоскопический эффект, сдвиг, в котором нарушается привычный временной масштаб: в контексте сочетания с *морицинами* слово *усталость* приобретает значение "постоянного" свойства, побуждая читателя увидеть стоящую за ним – *старость*. Мне кажется даже, что тут читатель как бы косвенно подводится к следующему выводу:

(?-человек устал настолько, что мог со стороны казаться стариком).

Во втором примере из-за пропуска грамматически необходимых слов возникает неопределенность интерпретации смысла сочетания и индуцируются по крайней мере сразу два взаимоисключающих варианта осмысления:

*Старые рельсы... находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой* (НЮ). То есть:

с *улыбкой* (какая характерна при) *знакомстве* (с новым, то есть еще не знакомым тебе человеком, которому принято улыбаться) или:

с *улыбкой* [обычной при] *встрече знаком(ого)* // с <такой> *улыбкой*, (какая обычно возникает у человека, когда он встречает кого-то из хороших знакомых).

Третий пример, в котором оба приема (и подвешивание и просвечивание двух смыслов один через другой) совмещаются. Речь идет о загадочном платоновском образе *евнух души* (Ч). Его можно истолковать, разложив на следующие, по крайней мере два осмысления: "тезаурусное" и поэтико-метафорическое.

[живущий или заключенный в] душе [?-каждого человека] *евнух*, (то есть некий надсмотрщик, охраняющий чужую собственность и лишенный возможности самостоятельно "потреблять" ее). Ср. такие встречающиеся у Платонова выражения и "подкрепляющие" это, как *надзиратель / сторож души, охранник, швейцар (в доме), (равнодушный) зритель*, а кроме того еще *узник (души/тела)* и т.п. Иначе говоря, здесь душа уподоблена некому *гарему*, пленницы, или жительницы этого гарема уподоблены – *чувствам*, а под самим *хозяином* (или владельцем гарема) остается понимать человеческую природу вообще или даже Бога. Впрочем, как можно видеть, это осмысление, названное мной "тезаурусным" (поскольку соответствует некому особому взгляду на устройство мира у Платонова), включает в себя на более глубоких этапах сразу несколько метафорических уподоблений. Но кроме этого, возможно истолковать образ *евнуха* и как собственно метафору души:

душа [по отношению к телу подобна] *евнуху* [на том основании, что ведет себя как некий соглядатай, полностью отделенный и не участвующий, по сути дела, в собственной жизни тела]. (Тут душа включает в себя все сознание, и прежде всего мыслительную способность.)

#### ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТОЧКИ В ЭСТАФЕТЕ ГЕНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ: ПЛАТОНОВ И ПУШКИН

На почве родительного стилизации (или родительного спекулятивного) и цветет буйным цветом языковые эксперименты Андрея Платонова. Он заставляет нас осмыслить даже сам лексический сор, как бы "лежащий под ногами" у говорящих на русском языке, поднимая его до уровня новых, оригинальных мыслей, так что пустые

фигуры речи как бы материализуются и обрастают новой плотью: так, обычные выражения "слезы умиления" или "трогать до слез" становятся у него *слезами трогательности*; "праздность" или "праздничное настроение" – *праздностью настроения*; "партийный билет" – *билетом партии* и т.п. Набившие оскомину в обычном употреблении штампы делаются реальными, но причудливыми свойствами предметов, их почти осязаемыми **метаморфозами**<sup>32</sup>. Вместо обычного метафорического выражения "костер классовый борьбы" у Платонова: *мы не чувствуем жара от костра классовый борьбы* (К); вместо "диалектические сущности" и "борьба противоположностей" – *дерущиеся диалектические сущности его сознания лежали от утомления на дне его ума* (ЮМ); вместо "сбиться с такта", "сердце бьется (с чем-то) в такт" и "(испытывать законную) гордость" у Платонова читаем: *сердце сбилось с такта своей гордости* (ТР).

Вот еще один пример, построенный по образцу суконного языка учреждений и канцелярий, а также "научного" способа выражаться новой власти: *профуполномоченный* Пашкин не помнил про *удовлетворение удовольствиями личной жизни* (К). Это выражение, кроме откровенной избыточности, включает в себя одновременно следующие смыслы: <удовлетворять потребности; получать удовольствия; наслаждаться жизнью; (иметь право на // не иметь никакой) личной жизни>.

Платонов часто прибегает к риторически украшенной, "расцвеченной" речи, маскируя некоей претензией на образность свои сокровенные мысли (с почти полной выхолощенностью исходного образного смысла из используемой языковой конструкции), намеренно сталкивая при этом оригинальное с пошлым, красивое с безобразным, как бы стирая между ними установленные для всех грани и требуя (от читателя) проведения каких-то новых невиданных разграничительных линий. Постоянной творческой задачей Платонова как будто и является поместить слово в словосочетании на границе между тавтологией и вообще **еще не понятым** никем смыслом (именно туда, куда "не ступала нога" ни одного говорящего на русском языке), вырядив языковое новаторство в рубище рутины и прозы, представив его этаким, на первый взгляд, сиротой и жалким уродцем.

Вот примеры сочетаний с генитивом (из текста "Ювенильного моря" – почти по порядку) с толкующими их (моими) вставками:

*тоска неясности* – [из-за] неясности; *дремота усталости* – [от] усталости; *время невьясненности* (?-в продолжение которого что-то (то есть личности подозреваемых в классовой враждебности людей) оставалось невьясненным); *скука старости* и *сомнения* (*выходила из рта старика*) то есть (?-приходилось слушать обычные скучные старческие рассуждения // постоянные ?-советования на судьбу // ?-подозрения и выражения сомнения по поводу всего на свете); *сердце молодости* – <молодое сердце // сердце молодого человека // ?-такое, какое бывает (только) в молодости>; *бесприютность жизни* – (?-вынужденная привычка жить (или скитаться где-то) без пристанища); *звук старушечьей езды* – <скрип колес телеги, на которой ездила героиня повести, старуха Федератовна>; *сила задумчивости* – то есть <погруженность героя в размышления>; (*рассказывала с задушевностью надежды*) (?-наивно выложила перед собеседником все свои задушевные мысли и чувства) (?-надеясь на его скромность)...

Или в "Техническом романе" (тоже почти по порядку, по мере встречаемости в тексте, и уже без толкований): *тишина природной безнадёжности*; *почувствовал жар ярости*; *устранять слезы трогательности (из глаз)*; *приходил в раздражение безверия*; (*сидели тихо, с умытыми*) *лицами покорности невежеству*; (*сжав свое сердце в терпении ненависти*); (*краснея от стыда своего возраста*); (*произнес в тревоге своей радости* и т.д. и т.п.

<sup>32</sup> То, что платоновские поэтические приемы больше похожи на метаморфозы, чем на метафоры, впервые отмечено в 1967 г. в весьма содержательной статье [Бочаров 1985: 246–296].

В результате, привычные нормы фразеологии разрушаются – точно так же, как у Хлебникова нарушаются (расширяются) словообразовательные нормы, а значения начинают возбужденно "осциллировать", предстая перед читателем неким "туманным облаком" вокруг своих центров (то есть привычных в языке сочетаний, но с неопределенностью отсылок из текста сразу к нескольким из этих сочетаний): то ли здесь генитив субъекта, то ли – объекта, то ли – причины, то ли – сравнения, то ли внешнего признака, то ли стилизации и т.п.

Такой утрированный, тавтологичный и "экспансионистски" расширенный платоновский генитив можно соотнести по смыслу с грамматическим значением конструкций *genitivus identitatis* или *genitivus appositivus* в литовском языке, где например, смысл 'декабрь-месяц' выражается в форме *месяц декабря*, а 'город Вильнюс' – в форме *город Вильнюса*; т.е., по сравнению с другими индоевропейскими языками, литовский в сфере приемного употребления "почти безгранично" использует родительный, который не уступает самим именительному и винительному, в то время как относительное прилагательное почти не употребляется [Булыгина 1961: 165; 1959: 253–254].

Итак, в отличие от обычной асимметрии распределения информации в метафорическом сочетании с родительным, при которой основная смысловая нагрузка перекладывается на слово в именительном падеже (*булки фонарей, корабль пустыни, болезнь любви, кинжалы кипарисов*), Платонов делает более значимым, насыщенным по смыслу слово в родительном падеже – или, во всяком случае, **перераспределяет** вес внутри сочетаний с родительным таким образом, что смысл оказывается равномерно разделенным **между** обоими словами. Он отказывается от традиции использования метафорической конструкции с родительным как готового поэтического приема и делает путь, ведущий к разгадыванию его языковых загадок, не таким гладким, как обычно. Поскольку "скачок" в использовании метафоры с генитивом как приема, приходится на 10-е годы XX века (у Пушкина он был **еще** достаточно редок – согласно данным [Григорьев 1979: 206]), то отказ от использования его Платоновым безусловно значим. На мой взгляд, это осознанный отказ от сложившегося поэтического стандарта, или характерный для него "минус-прием". Платонов как будто **не хочет** играть в эту привычную для всех в литературе игру, согласно которой загадка и отгадка имеют свои твердо установленные, заданные места. Он намеренно деконструирует прием, нивелирует его члены, пытается противопоставить ему свои, казались бы, "доморощенные" (или же еще как-то специально "отягощенные идеологией") способы организации поэтического смысла. Его героям словно недостаточно принятых и вполне "спокойных" сравнений-отождествлений денотата (в родительном) – с его образом или внешней формой (в именительном), таких, например, как классическая пушкинская *Жизни мышья беготня* (в "Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы". 1930).

Смысл пушкинского прозрачного сочетания можно представить как:

[наша] *жизнь* – [есть] *мышья беготня* – или, приводя к форме более эксплицитного суждения:

[обычная повседневная] *жизнь* [у всех нас] <может быть уподоблена> – *беготне мышья* [раздающейся где-то за стеной спальни].

Или, если уж совсем "разжевать", то:

в *жизни* [все мы занимаемся суетой, мелкой возней, какими-то ненужными хлопотами и т.п.] – (такой же, по сути дела, бессмысленной и "докучной" штукой, как) – *мышья[иная возня]* – <читатель по вдохновению автора как бы одновременно слышит мышиную возню, мучается бессонницей, и – видит свою жизнь со стороны, извне, в виде той же мышьиной возни>.

Отношение к жизни здесь – философско-пессимистическое (ср. такие выражения похожих мыслей, как *Дар напрасный, дар случайный...*)<sup>33</sup>, но горечь снята все же

<sup>33</sup> Или же у Лермонтова: *И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – Такая пустая и глупая шутка...* (1840).

некоторым существенным острашением: мы, читатели, получается, как бы включаемся в некий разыгрываемый перед нами спектакль, в котором самих же себя видим в роли участников действия. **Катарсис** оказывается гарантирован тем, во-первых, что мы хорошо сознаем условность данной игры, а во-вторых, ее эстетичностью – конечно, не тем, что автор представляет нас, вместе с собой, в образе мышей, но тем, что мы оказываемся **вознесенными над** самой картиной предстающей перед нами жизни, воспаряем над ней. (Это нам даже несколько льстит.)

У Платонова же совсем не то. Платоновские герои (и повествователь) не согласны изъясняться иначе, как с помощью неких **сочетаний-столбняков** (то есть таких сочетаний, перед которыми носитель языка должен застыть в столбняке или прийти в оцепенение), и провоцируют читателя на самостоятельный поиск в них смысла. С одной стороны, эти выражения вроде бы просто неказисты, неловки, неправильны, даже бессмысленны, тавтологично-отталкивающие, но с другой – в них явно что-то есть: какое-то неясное очарование. Вот как, например, в употребленном в "Котловане" выражении *тоска тщетности*. Это сказано от лица главного героя повести, Вощева – он, слушая музыку, приходит в *дребезжащее состояние радости*, которое позволяет *достигнуть дали надежды* – чтобы *не заплакать перед смертью от тоски тщетности*.

Данное словосочетание-неологизм требует внимательного анализа. Оно несколько раз встречается в тексте "Котлована": другой раз в контексте *чувствовалась общая грусть и тоска тщетности*. Ясно, что имеется в виду *тщетность* [жизни]. То есть, по сути дела, как будто то же самое, о чем говорит нам словосочетание Пушкина. Но уже без метафоры. Платоновское сочетание построено по модели если не тавтологии (*масло масляное*), то по крайней мере – *figura etymologica* (типа *петь песню* или *шагать шагом*). Согласно М. Фасмеру, слова *тоска* и *тщета*, возможно, связаны через смысл 'тощий'. Кроме этого не совсем явного тождества, *тоска тщетности* у Платонова скрывает за собой еще и следующие языковые сочетания, то есть, по-моему, выражает одновременно смысл их всех, вместе взятых: *тщетные* (усилия), *тщетно* (стараться что-то сделать), *тоска* (одиночества), (смертная) *тоска* – и, возможно, некоторых других. То есть, на мой взгляд, у Платонова оно предполагает следующие идеи<sup>34</sup>:

а) [зная, сознавая, отдавая себе отчет в] *тщетности* [всего, что человек делает на земле, – того, что все его действия одинаково обречены на провал, но, тем не менее, все равно предпринимая какие-то попытки что-то сделать в жизни, Вощев] – *тоскует* (или вынужден глубоко мучиться и страдать от этого).

Или, если прочесть это словосочетание с несколько иным коммуникативным членением, то наоборот:

б) *тоскуя* [мучаясь от бессилия что-либо сделать, но пытаясь выйти из этого состояния] (он, тем не менее, приходит к осознанию того, что все усилия, попытки, мысли, надежды и действия его) – *тщетны*.

Этому как бы "замыкающему" одно толкование на другое осмыслению способствуют также сходные сочетания со словом *тщетность* в текстах Платонова, а именно:

*жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума* (К);

*тоска тщетного труда* (ГЖ);

(чтобы) *не замучиться... в тщетности от тоски отчаяния* (СМ)<sup>35</sup>;

и наконец, эпизод, когда Вощев сознает, что неизбежно будет *устранен* новым поколением, то есть

<sup>34</sup> Здесь для дополнительного выделения те компоненты, которые следует отнести к теме высказывания, помечаются квадратными скобками, а те, которые к реме, – угловыми.

<sup>35</sup> Именно в данном контексте, мне кажется, и выражается более явно смысл, указанный выше в пункте (б).

*спешащей действующей молодостью, в тишину безвестности – как тщетная попытка жизни добиться своей цели* (К)<sup>36</sup>.

Используемые Платоновым сочетания с родительным как бы совсем не метафоричны. Так же как и Пушкин, стоявший у истоков литературного русского языка и только введший данный поэтический прием – метафору в конструкции с родительным – в литературный обиход, Платонов пытается утвердить за собой право на собственный способ прочтения генитивных сочетаний. Его вариант можно условно назвать родительным **чрезмерного** (или гиперболического) **обобщения**, родительным **опрошения**, или даже родительным некой **идеологической фикции**. Но о конкретных видах этой конструкции следует говорить особо<sup>37</sup>. Метафор в собственном смысле слова (таких, как пушкинская, из стихотворения 1823-го года, *телега жизни*), мы у Платонова вообще не встретим. Родительный предикативный как бы служит у него только для того, чтобы на нем раньше времени (с недомолвкой) остановить течение фразы, нуждающейся, вообще говоря, в серьезном развернутом толковании. А если мы зададимся целью уложить ее в рамки нормальных, "фразеологически причесанных" сочетаний, то вот, например, что получится из платоновской фразы: рот (у спящего) *отворился в изнеможении сна* (ГЖ):

1) (спящий) *изнемогает* (от своего (кошмарного?) сна);

2) (сон есть состояние, в котором человек набирается сил от жизни, доводящей его порой (как в описываемом случае) до) *изнеможения*.

В повести "Сокровенный человек" сказано: *нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него – сотворение мира*.

То есть (человек живет, пока верит, что его жизнь имеет какой-то смысл) и (?-порой сам вынужден создавать, выдумывать для себя этот смысл).

И последний пример: как говорит наиболее автобиографичный у Платонова герой, в "Котловане", Воцев:

*Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.*

Тут имеется в виду, во-первых, самый буквальный смысл, просто (пища), или то первичное вещество, которое обеспечивает жизнь всего живого (после этой фразы Воцев, собственно, садится есть вместе со всеми пролетариями). Но, во-вторых, конечно же, еще имеется и смысл переносный, или менее буквальный, – (то вещество, которое дает рост всему и обеспечивает существование всего, то есть земля) – ведь ее-то и роют рабочие, создавая котлован для "общепролетарского" дома, и Воцев решает теперь, оставив свои сомнения, работать вместе со всеми, чтобы посадить на земле – *каменный корень неразрушимого зодчества*. В-третьих, по-видимому, имеется в виду также и наиболее далекий, переносный смысл: герой хочет работать над **веществом**, или над **сущностью** того, что должно быть когда-то в результате его труда построено. Для Воцева таким объектом и целью его усилий является (смысл (смысл существования))\*.

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Вз – Платонов А. Возвращение. Рассказ.  
ВМ – Платонов А. Володькин муж. Рассказ.  
ГЖ – Платонов А. Государственный житель. Рассказ.  
К – Платонов А. Котлован. Повесть.  
НЮ – Платонов А. На заре туманной юности. Рассказ.

<sup>36</sup> Это еще раз подтверждает существование у Платонова данного "экзистенциала", которое выявлено в работе [Левин 1990].

<sup>37</sup> См. [Михеев 1999: 196–204].

\* Автор благодарен Анне Зализняк за активную помощь в работе над статьей.

- РП – Платонов А. Река Потудань. Рассказ.  
 СЧ – Платонов А. Сокровенный человек. Повесть.  
 ТР – Платонов А. Технический роман. (Незаконченное произведение).  
 Ч – Платонов А. Чевенгур. Роман.  
 ЮМ – Платонов А. Ювенильное море. Повесть.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д. 1990 – Метафора и дискурс (1990) // Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998.
- Баран Х. 1975 – О любовной лирике Хлебникова... (1975) // Хенрик Баран. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993.
- Бельский А.В. 1954 1999 – Метафорическое употребление существительных (к вопросу о генитивных конструкциях) // Уч. зап. МГПИИЯ им. М. Горька. Т. 8, М., 1954.
- Бобрин М. 1995 – Заметки о языке Андрея Платонова // Wiener Slawistischer Almanach (1995). Bd. 35.
- Борцев В.Б., Парти Б.Х. 1999 – Семантика генитивной конструкции: разные подходы к формализации // Типология и теория языка. К 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999.
- Бочаров С.Г. 1985 – "Вещество существования" (Мир Андрея Платонова) // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.
- Бродский И. 1994 – Предисловие к повести "Котлован" // Андрей Платонов. Мир творчества. М., 1994.
- Булыгина Т.В. 1959 – Неглагольные сочетания с родительным падежом в современном литовском языке // Славянское языкознание. М., 1959.
- Булыгина Т.В. 1961 – Некоторые вопросы классификации частных падежных значений // Вопросы составления описательных грамматик. М., 1961.
- Выготский Л.С. 1996 – Мышление и речь. М., 1996.
- Гаспаров М.Л. 1997 – Идиостиль Маяковского. Попытка измерения // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II. М., 1997.
- Григорьев В.П. 1973 – Поэт и слово. Опыт словаря / Под ред. В.П. Григорьева. М., 1973.
- Григорьев В.П. 1977 – Паронимия // Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М., 1977.
- Григорьев В.П. 1979 – Поэтика слова. М., 1979.
- Жинкин Н.И. 1964 – О кодовых переходах во внутренней речи // ВЯ. 1964. № 6.
- Кнорина Л.В. 1990 – Нарушения сочетаемости и разновидности тропов в генитивной конструкции // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Левин Ю.И. 1969 – Русская метафора: синтез, семантика, трансформации. // Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969.
- Левин Ю.И. 1990 – От синтаксиса к смыслу и далее ("Котлован" А. Платонова) // Семиотика и информатика. Вып. 30. М., 1990.
- Лотреамон 1868–1870. Песни Мальдорора. Стихотворения (1868–1870). М., 1998.
- МАС 1957 – Словарь русского языка (в четырех томах). М., 1957.
- Михеев М.Ю. 1998 – Нормативное и "насильственное" использование словосочетания в поэтическом языке Андрея Платонова // Русистика сегодня. 1998. № 1–2.
- Михеев М. 1999 – Родительный падеж – *пролетарий от грамматики*, или *гегемон* в языке Андрея Платонова // Труды Международного семинара Диалог-99 по компьютерной лингвистике и ее приложениям в 2-х томах. Т. 1: Теоретические проблемы / Под ред. А.С. Нариньяни. Таруса. 1999.
- Ортони Э. 1990 – Роль сходства в уподоблении и метафоре // Теория метафоры. М., 1990.
- Падучева Е.В. 1979 – Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом представлении предложения // НТИ. Сер. 2. 1979. № 9.
- Соловьев Л.В. 1957 – Повесть о Ходже Насреддине. М., 1957.
- Уилрайт Ф. 1967 – Метафора и реальность (1967) // Теория метафоры. М., 1990.
- Успенский Б.А. 1996 – Анатомия метафоры у Мандельштама // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2: Язык и культура. М., 1996.
- Ширяев Е.Н. 1986 – Бессоюзное предложение в современном русском языке. М., 1986.
- Якобсон Р. 1990 – Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М., 1990.

© 2000 г. В.В. ГУРЕВИЧ

## МОДАЛЬНОСТЬ И СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА

Одну из значительных трудностей при описании видовой семантики создают "нестандартные" [Гловинская 1982] глагольные пары, типа *видеть-увидеть, понимать-понять, обижаться-обидаться, покрывать-покрыть* (*Снег покрывает/покрыл землю*) и т.п., в которых глагол совершенного вида (СВ) обозначает начало состояния, выраженного глаголом несовершенного вида (НСВ) и, таким образом, сближается с глаголами "начинательного" способа действия (ср. *заснуть*), которые несомненно не составляют чисто видовую пару с исходным глаголом НСВ (*спать*). Необходимо, следовательно, выяснить, что же позволяет нам, несмотря на очевидное нарушение чисто видовой соотносительности, все же воспринимать данные глаголы как парные.

Предлагаемый ниже анализ видовых соотношений исходит из достаточно известного наблюдения А. Вежбицкой [Wierzbicka 1968] о том, что форма СВ есть лишь у глаголов, содержащих компонент "начало некоторого положения дел". Однако при этом следует учитывать, что если глаголы действительно различаются по наличию/отсутствию компонента "начало", то мы имеем дело не с чисто видовой парой, а с разными лексемами (ср. *спать – заснуть, быть – появиться, жить – родиться* и т.п.). Иначе говоря, следует исходить из того, что в чисто видовой паре компонент "начало" должен присутствовать не только в значении глагола СВ, но и в семантике глагола НСВ, где он лишь каким-то образом "затушеван".

Установить чисто видовой характер глагольной пары позволяет предложенная в свое время Ю.С. Масловым [Маслов 1948] методика, использующая тот факт, что при употреблении в настоящем историческом (а также в контексте многократности действия) форма НВ парных глаголов может выражать значение формы СВ: ср. *Он идет к доске, быстро решает задачу и садится на место = пошел, решил, сел*. С помощью этого приема нетрудно убедиться в том, что неопределенные глаголы НСВ, не имеющие в своем значении компонента "начало" (*жить, любить, спать, хотеть, сидеть* и т.п.), не могут употребляться в указанных контекстных условиях для выражения значения совершенного вида. Следовательно, в случае с парными глаголами значение СВ действительно представляет собой лишь некоторого рода "высвечивание", акцентирование скрытого в глагольном значении предельного компонента ("начало" или "конец" состояния), а не добавление этого компонента к семантике исходного глагола, как это имеет место в одновидовых глаголах СВ (см. подробнее [Гуревич 1998]).

Рассмотрим, как именно происходит такое акцентирование предельного компонента в форме СВ и его "затушевывание" в форме НВ. Вопросительное предложение с глаголом НСВ *Строит ли он дом?* означает "**производит ли он действия** с целью, чтобы они привели к возникновению дома?". Здесь в ассертивную часть высказывания (она выделена жирным шрифтом) попадает компонент "производить действия", что и создает представление о длящемся процессе; предельный же компонент "возникновение" (= "начало существования") стоит вне модальной рамки вопросительности (он охватывается отдельной, целевой модальностью: "с целью, чтобы..."), а также и вне временной рамки высказывания ("возникновение дома" относится не к настоящему

времени, а к будущему). Предложение с глаголом СВ *Построил ли он дом?* можно истолковать следующим образом: **“возник ли дом в результате произведенных им действий?”**. В этом случае в ассертивную часть высказывания попадает именно предельный компонент “начало существования”, что и создает представление о завершенности действия (достижении результата и т.п.); при этом компонент “производить действия” сохраняется в содержании высказывания, однако выходит из его ассертивной части, образуя пресуппозицию. Несмотря на различия в акцентировке компонентов в противопоставленных видовых формах – вхождение компонента “начало” в рему (ассерцию) или в тему (пресуппозицию) высказывания, сам состав семантических компонентов в глаголах *строить–построить* одинаков, что свидетельствует о тождестве лексического значения этих глаголов и, следовательно, о чисто грамматическом характере видового противопоставления. Как уже отмечалось выше, в определенных контекстах (в частности, при обозначении последовательности действий в настоящем историческом) предельный компонент может акцентироваться (ремагизироваться) и при использовании формы НВ: *Он переезжает на новое место, строит (= построил) себе дом и поселяется в нем.*

Следует обратить внимание на то, что компонент “начало состояния” (как и его конверсив “конец состояния”, т.е. “начало некоторого иного состояния”) представляет собой сложную семантему, так что при его акцентировании в глаголе СВ в ассертивную часть на самом деле попадает лишь часть этой семантемы. Действительно, предложение *Работа началась в 8 часов* означает **“В 8 часов имел место процесс работы, (которого не было ранее)”**. Компонент “не было ранее” (т.е. часть “начинательного” значения) стоит здесь вне модальной рамки высказывания, образуя пресуппозицию (она отмечена круглыми скобками), что подтверждается при введении отрицания: в предложении *В 8 часов работа еще не началась* сохраняется истинность утверждения “ранее 8 часов процесса работы не было”. По-видимому, выражаемая глаголом СВ актуализация семантемы “начало” создается именно за счет противопоставления ассертивного утверждения “существует в указанный момент” (или “не существует” – для отрицательного предложения, “существует ли?” – для вопросительного) и пресуппозитивного утверждения “не существовало ранее”.

Предложение с НСВ *Работа еще не начиналась* можно истолковать следующим образом: **“еще не было такого момента, [когда бы существовал процесс работы, не существовавший ранее]”**. В этом случае не происходит актуализации семантемы “начало” (не возникает представления о завершенности, результативности, переходе к новому состоянию и т.п.), поскольку оба составляющие ее компонента стоят вне ассертивной части высказывания (она охватывает лишь семантему “не было такого момента”) и при этом не образуют пресуппозицию; в то же время оба эти компонента бесспорно сохраняются в содержании высказывания (о возможности невхождения компонентов значения ни в утверждение, ни в пресуппозицию, см. также [Богуславский 1980]). Вследствие такого “диктального” (немодального) статуса семантемы “начало” (в нашей записи он отмечается квадратными скобками) предложение с НСВ не содержит ни утверждения, ни отрицания того, что переход к новому состоянию действительно состоялся. Подчеркнем, что дело здесь не в наличии в приведенном примере отрицания, а именно в особенностях семантики НСВ, поскольку в утвердительном предложении *Такая работа уже однажды начиналась* точно так же нет актуализации предельного компонента (нет утверждения о том, что переход к новому состоянию в какой-то момент осуществился), поскольку в нем в ассертивную часть опять-таки попадает лишь семантема “существовал такой момент...”, в то время как само значение “начала” стоит вне ассертивной модальности и вне пресуппозиции.

Таким образом, значение совершенного вида создается не просто за счет наличия в семантике глагола компонента “начало”, а за счет вполне определенного модального статуса частей этой семантемы в высказывании – а именно, за счет противо-

поставления утверждения “существует в указанный момент” и пресуппозиции “не существовало ранее”.

С учетом сказанного, более точная запись предложения с СВ *Построил ли он дом?* будет иметь следующий вид: “**существует ли** (сейчас) **дом**, [который бы был результатом его действий]; (как известно, ранее он не существовал)”. Любопытно отметить здесь диктальный статус каузативного компонента (“быть результатом”, “быть вызванным чем-то”), опять-таки подтверждаемый с помощью операции отрицания: в предложении *Он так и не построил дом* сохраняется утверждение “ранее дом не существовал” (следовательно, эта часть начинательного компонента пресуппозитивна), однако в нем не утверждается и не отрицается, что “отсутствие дома есть результат произведенных субъектом действий” (следовательно, эта часть не охватывается какой-либо модальностью). При этом не вызывает сомнений, что компонент каузации не исчезает из содержания предложения (и из значения самого глагола): он лишь имеет “диктальный” статус.

Для предложения с глаголом СВ в страдательном залоге *Дом построен* семантическая запись будет несколько иной: “(Сейчас) **существует дом** [который возник в результате некоторых действий и который не существовал ранее]”. В этом случае компонент “существует (сейчас)” попадает в ассертивную часть, тогда как компонент “не существовал (ранее)”, также как и каузативный компонент (“быть результатом действий”), не входят в ассерцию и не образуют пресуппозицию. Именно вследствие этого, на наш взгляд, данное предложение и создает представление о “состоянии как результате действия”, а не о собственно действии; при этом сам компонентный состав лексического значения глагола здесь опять-таки не изменился – изменился лишь модальный статус частей этого сложного значения.

Подчеркнем, что семантема “начало” (“возникновение дома”) отнюдь не исчезает из содержания предложения с пассивом состояния (а лишь “затушевывается”, не акцентируется), поскольку не исчезает компонент “каузация”. Действительно, причинно-следственная связь двух событий всегда означает **наступление (= начало существования)** события-следствия вслед за событием-причиной, т.е. неизбежно включает понятие о **начале** каузируемого события. Следует, впрочем, отметить несовершенство используемой семантической записи, приводящее к некоторому повтору компонентов: в сущности, семантема “начало” уже включена в содержание выражений типа *вызывать, быть причиной (результатом)*, тогда как в приведенной здесь записи эти компоненты представлены отдельно, чтобы показать разный модальный статус частей этой сложной семантемы.

Обратимся теперь к семантическому описанию упомянутых выше “нестандартных” пар. Предложение с глаголом СВ *Поля покрыл снег* означает: (сейчас поля) **находятся под снегом**, [что вызвано выпадением снега]; (ранее этого состояния не было)”; здесь, таким образом, есть противопоставление пресуппозиции “не было ранее” и утверждения “есть сейчас”, что создает представление о переходе к новому состоянию. Указанный статус частей подтверждается при введении отрицания: в предложении *Поля не покрыл снег* сохраняется истинность утверждения “ранее снега на полях не было” (следовательно, эта часть представляет пресуппозицию), но при этом не утверждается и не отрицается, что “отсутствие снега на полях есть результат его выпадения” (следовательно, каузативный компонент диктален). В предложении с глаголом НСВ *Поля покрывает снег* диктальным статусом характеризуются как каузативный компонент, так и компонент “не было ранее”: действительно, в отрицательном варианте *Поля не покрывает снег* нет утверждения или отрицания того, что ранее снега на полях не было и что отсутствие снега вызвано его выпадением. При этом нельзя отрицать сам факт наличия данных компонентов в семантеме “покрывать”, поскольку именно этим она отличается от семантем типа “лежать / быть / находиться сверху чего-либо”, которые не подразумевают предшествующего акта “выпадения”, т.е. “наложения поверх объекта”.

Нетрудно заметить, что предложение с глаголом НСВ *Поля покрывает снег* по

смыслу идентично предложению со страдательной формой глагола СВ *Поля покрыты снегом*, где (как было показано на примере предложения *Дом построен*), компонент “не было ранее” и каузативный компонент также имеют диктальный статус. Подчеркнем снова, что во всех приведенных здесь предложениях сам компонентный состав лексического значения глагола в формах *покрыл, покрывает, покрыта* одинаков, так что, несмотря на очевидное противопоставление по статичности-динамичности, эти словоформы все же сохраняют чистовидовую соотносительность: это подтверждается тем, что помимо проиллюстрированного выше “статического” значения, глагол НСВ может также в определенном контексте выразить и “динамическое” значение СВ: *На следующее утро снег снова покрывает (= покрыл) поля*.

Обращаясь к глаголам восприятия типа *видеть/увидеть, слышать/услышать*, следует прежде всего отметить, что эти пары бесспорно относятся к чисто видовым, поскольку глагол НСВ в определенных контекстах может выражать значение СВ (*И вдруг он видит ... = “увидел”*). Далее, следует учитывать, что в лексическое значение глаголов восприятия обязательно входит **каузативный** компонент, поскольку под восприятием (ощущением) всегда подразумевается некоторая реакция организма на внешнее воздействие, т.е. состояние, **вызванное** каким-то воздействием на органы зрения, слуха и т.п. В свою очередь, семантема “каузация”, как уже говорилось, обязательно включает в себя компонент “начало существования события-следствия”. Иначе говоря, в лексическом значении глаголов восприятия (независимо от видовой формы) неизбежно должен присутствовать компонент “начало”, и нам остается лишь определить статус компонентов этой семантемы в содержании видовых форм глагола.

Предложение с глаголом СВ *Неожиданно я услышал ее плач* означает “(В указанный момент у меня) **было слуховое ощущение**, [вызванное тем], (что она плакала; ранее данного ощущения не было)”. Каузативный компонент (“вызвано...”) здесь диктален, а противопоставление утверждения “было (в указанный момент)” и пресуппозиции “не было (ранее)” создает представление о “начале состояния” (о возникновении слухового ощущения). Отмеченный модальный статус компонентов может быть подтвержден тем, что в отрицательном варианте с СВ *Я не услышал ее плача* сохраняется истинность утверждения “ранее слухового ощущения не было”, но не утверждается и не отрицается, что “отсутствие ощущения было вызвано ее плачем”. Предложение с НСВ *Я слышал ее плач* означает: “(В указанный момент у меня) **было слуховое ощущение** [которого не было ранее и которое было вызвано тем], (что она плакала)”. В этом случае диктальным оказывается уже не только каузативный компонент, но и компонент “не было ранее”, в связи с чем не происходит и актуализации семантемы “начало ощущения”: предложение с глаголом НСВ не содержит ни утвердительного, ни отрицательного суждения относительно положения дел до указанного момента. Отмеченный статус компонентов снова подтверждается тем, что в отрицательном варианте *Я не слышал ее плача*, где сохраняется истинность утверждения “она плакала”, нет ни утверждения, ни отрицания того, что “отсутствие слухового ощущения было вызвано ее плачем”, или того, что “данного ощущения не было ранее”.

Для полноты картины о возможностях изменения модального статуса компонентов рассмотрим также вариант *Я никогда не слышал, чтобы она плакала*, где событие, названное в придаточном, бесспорно, не утверждается и не отрицается (т.е. остается неясным, плакала ли она когда-либо): в этом случае, следовательно, “диктальным” оказывается уже и содержание придаточной части, которая в предыдущих вариантах сохраняла пресуппозитивный статус. Несмотря на такие различия в модальном статусе компонентов, сам состав лексического значения в глаголах *слышать / услышать* остается одинаковым: компоненты, составляющие значение “начала (слухового ощущения)”, не исчезают из глагольного значения при использовании формы НСВ, поскольку не исчезает каузативный компонент.

Аналогичным образом устроены значения в глагольных парах *обижаться / обидеться, восхищаться / восхититься* и т.п., обозначающих чувства. Поскольку эмоциональная реакция всегда является **результатом** восприятия каких-то событий, можно сделать вывод о том, что данные семантемы содержат каузативный, а, следовательно, и “начинательный” компоненты в обеих видовых формах: *Я не обижаюсь на тебя за то, что ты надо мной смеялся =* (у меня сейчас) **нет чувства обиды**, [такого, чтобы его не было ранее и чтобы оно было вызвано тем,] (что ты смеялся надо мной); *Я не обиделся на тебя за то, что ты смеялся =* (“у меня сейчас) **нет чувства обиды**, (которого не было ранее [и которое вызвано тем], (что ты надо мной смеялся)”. Пресуппозитивный статус компонента “не было ранее” в семантике глагола СВ приводит к актуализации компонента “начало” (“чувство обиды не возникло”); его диктальный статус в варианте с НСВ препятствует актуализации “начинательности”.

На той же основе, как можно полагать, строятся видовые противопоставления в паре *понять / понимать*, чистовидовой характер которой снова подтверждается возможностью выразить значение СВ с помощью формы НСВ (*И вдруг он понимает... = = вдруг понял*). Хотя в предложении *Я не понимаю смысла фразы* начинательное значение совершенно не ощутимо, все же нельзя сомневаться, что этот компонент должен входить в значение глагола НСВ, поскольку “понимание”, как и “восприятие”, “ощущение”, “чувство”, содержит семантему “каузации”. Действительно, говоря *Я понял смысл фразы*, мы имеем в виду, что “смысл стал для меня ясным в **результате** некоторой переработки заключенной во фразе информации”. Таким образом, описание видовой противопоставления этих глагольных форм будет аналогичным тому, которое было дано выше для глаголов ощущения и чувства. Иное дело – глаголы со сходными соотношениями *знать и узнать*, не являющиеся парными, поскольку здесь значение глагола НСВ не содержит каузативного и, следовательно, начинательного компонента. С другой стороны, названные компоненты уже присутствуют в значении производного глагола НСВ *узнавать*, составляющего чистовидовую пару с *узнать* (*И вдруг я узнаю... = узнал*); при этом глагол *узнавать* может также выражать и “статическое” значение (*Вот теперь я тебя узнаю = узнал*), в котором модальный статус компонента “начало” аналогичен описанному выше для предложений типа *Снег покрывает поля; Поля покрыты снегом*.

Итак, чистовидовая соотносительность во многих случаях сохраняется благодаря наличию в лексическом значении глагола каузативного компонента; естественно, что если в каком-либо из производных значений глагола этот компонент утрачивается, видовая соотносительность будет разрушена. Так, глаголы *составлять / составить* являются стандартной видовой парой в значении “создавать” (*составлять / составить словарь*), поскольку здесь есть компонент каузации и “начала результирующего состояния”. Однако в предложении *Долг составляет / составил огромную сумму*, где оба эти компонента утрачены, уже нельзя говорить о чистовидовой соотносительности: глагол НСВ, означающий “равняться указанной сумме”, не может быть употреблен в настоящем историческом в значении “стать равным” и, таким образом, соотношения здесь те же, что между *спать и заснуть* (см. иную трактовку в [Раппапорт 1998]). Аналогичным образом, глаголы *идти и пойти* представляют видовую пару в значении “направляться куда-либо” (*встает и идет к двери = встал и пошел*), содержащем каузативный компонент (“заставлять себя двигаться”), тогда как в значениях, исключаящих этот компонент (*Идет дождь; Процесс идет*) утрачивается и чистовидовая соотносительность (*пошел = “начал идти”*).

Любопытный случай представляет глагольная пара *врезаться / врезаться*, являющаяся чистовидовой при обозначении движения (*Неожиданно машина врезается / врезалась в стену = “в результате движения начала находится внутри объекта”*), где

присутствуют каузативный и начинательный компоненты, но оказывающаяся весьма своеобразной при метафорическом употреблении (*Отмель врезается / врезалась в море*). В последнем случае глагол в обеих видовых формах обозначает состояние: *врезается в море* = «окружена морем, [и кажется, будто это результат действия “врезания”]»; *врезалась* = «окружена морем, [и кажется, будто до настоящего момента этого не было и будто это результат действия “врезания”]. По-видимому, дело здесь в том, что компоненты “каузация” и “начало”, включенные в семантему сравнения (“кажется, будто...”), представляют диктальную часть значения, вследствие чего начинательность не может актуализоваться даже в глаголе СВ (он в этом случае не обозначает действительного акта “врезания”); по той же причине глагол НСВ не может употребляться в настоящем историческом для обозначения “перехода в данное состояние”. Хотя каузация и начинательность присутствуют в значении обеих этих видовых форм, здесь по существу нельзя говорить ни о сохранении, ни об утрате видовой соотносительности глаголов, поскольку исчезает само видовое противопоставление: как НСВ, так и СВ выражают одно и то же “статическое” значение. В отличие от этого, в рассмотренных выше примерах со “статическим” значением НСВ (*Снег покрывает поля; Поля покрыты снегом; Я тебя узнаю*) чистовидовая соотносительность все же сохраняется, поскольку глагол НСВ в определенных контекстах может выражать “динамическое” значение глагола СВ.

Рассмотрим еще глагольные пары типа *впускать/впустить, разрешать/разрешить*, которые относятся М.Я. Гловинской к “нестандартным”, однако, с нашей точки зрения, таковыми не являются. Предложения *В кинотеатр уже впускали зрителей* (= “в результате действий администрации зрители **могли** войти”) – *В кинотеатр уже впустили зрителей* (= в результате действий администрации зрители **смогли** войти”), различаются семантемами “мочь” (= “иметь возможность”) и “смочь” (= реализовать возможность”), которые в качестве самостоятельных лексем безусловно не образуют чистовидовой пары. Однако в содержании более сложных семантем *впускать / впустить* имеется еще и каузативный компонент (“в результате действий”) и, таким образом, противопоставление значений здесь опять-таки сводится лишь к различиям в модальном статусе компонентов семантемы “начало”, несомненно входящей в значение обоих глаголов благодаря наличию каузативного компонента (см. иное толкование подобных пар в [Гловинская 1982; Апресян 1980]).

Описанные выше различия в модальном статусе компонентов проявляются не только в сфере глагольного вида, но и в некоторых иных случаях своеобразного употребления глагольных лексем. Рассмотрим, в частности, особенности так называемых перформативных глаголов [Austin 1962], а именно глаголов волеизъявления (*просить, требовать, предлагать, клясться, обещать* и т.п.), содержащих компоненты “говорения” и “желания”. В обычных условиях эти глаголы просто описывают акт волеизъявления, поскольку в рему попадает речевой компонент: *Он просил / протестовал ...* = “Он говорил, [что хочет / не хочет, чтобы...]”. При употреблении же таких глаголов в 1 л. ед. ч. настоящего времени в ассертивную часть попадает компонент “желания”, тогда как компонент “говорения” образует пресуппозицию (не затрагивается при введении отрицания): *Я прошу вас мне помочь* = “Я хочу, (говоря это), [чтобы вы мне помогли]”. В этом случае глагол уже не просто описывает, но и непосредственно осуществляет (performs) акт волеизъявления; данный “перформативный” (performative) эффект обусловлен тем, что центральной (рематической) частью в высказывании является выражение **желания** говорящего. Речевой же компонент, не входя в модальную рамку, тем не менее сохраняется в содержании такого высказывания – иначе бы не было эффекта перформативности, как нет его, например, в предложениях *Я хочу, чтобы...*, *Я согласен с этим*, *Я против этого* (в отличие от английских соответствий *I agree, I protest*, содержащих как “речевой”, так и “волевой” компоненты и потому являющихся перформативными).

Пресуппозитивный статус речевого компонента в предложениях типа *Я прошу о помощи*, по-видимому, обусловлен именно использованием 1-го лица настоящего времени: нет смысла утверждать *Я сейчас нечто говорю* в ситуации, где об этом информирует уже само звучание речи. Вполне естественно, что при замене глагольной формы лица (*Он просит о помощи*) перформативный эффект исчезает, поскольку здесь речевой компонент уже входит в ассертивную часть (“Он говорит, что хочет от вас помощи”). Впрочем и в этом последнем примере мы также наблюдаем определенный сдвиг в акцентировке компонентов, связанный с переносным употреблением формы времени (*просит = попросил*), к которому мы теперь и обратимся.

Глаголы речи (сообщения) содержат в своем значении несколько предикатных компонентов; так, *сказать* означает “произнести нечто, имеющее некоторое содержание, с тем, чтобы сделать это содержание известным кому-либо”. Вполне естественно, что каждый из этих компонентов может приобретать в высказывании различные модальные статусы. В предложении *Я этого не говорил* в ассертивную часть попадает компонент “**не произносил**”; в предложении *Я так ему об этом и не сказал* – компонент “**не стало (ему) известным**”. Предложение же типа *Что говорит на эту тему Аристотель?* означает “**каково содержание** (того, что некогда произнес на эту тему) Аристотель?” Подобное употребление настоящего времени в значении прошедшего становится возможным благодаря наличию в глагольном значении компонента “иметь содержание”, который по своей семантике не связан с каким-либо конкретным (в частности, с прошедшим) временем. При этом компонент “произнесения” сохраняется в пресуппозитивной части значения глагола, и обозначенное им действие несомненно относится к прошлому. Таким образом, в семантике глагольной формы в данном случае присутствует два времени, однако формально выражено только настоящее, поскольку именно “вневременное” значение становится здесь основным (входит в рему). Естественно, что подобное переносное употребление временной формы недопустимо для других глаголов звучания (*петь, исполнять, играть на инструменте*), не включающих компонент “иметь некоторое содержание”.

Обратим теперь внимание на то, как влияет модальный статус компонентов на сочетаемостные возможности глагола. Достаточно очевидно, в частности, сочетаемостные различия видовых форм глагола: глагол НСВ *решать* (в длительно-процессном значении) сочетается с наречием *долго*, но не с *быстро* или *сразу*; для глагола СВ *решить* верно обратное. Если однако учесть, что состав компонентов лексического значения в обеих видовых формах одинаков, а различия касаются лишь модального статуса компонентов, то можно сделать следующий вывод: подобные сочетаемостные ограничения свидетельствуют о том, что компоненты, не входящие в модальную рамку (пресуппозитивные и, в особенности, диктальные), как правило, лишены возможности взаимодействовать с контекстом, т.е. не могут реализовать соответствующие сочетаемостные потенции слова. Подчеркнем, что эти сочетаемостные ограничения не закреплены за самой видовой формой, а обусловлены лишь той акцентировкой компонентов, на которую указывает данная форма. Именно в связи с этим сочетаемость формы НСВ коренным образом меняется в предложениях типа *Идет к доске и быстро / сразу решает задачу* (где, несмотря на форму НСВ, акцентируется предельный компонент лексического значения), а при многократности действия вообще исчезают все сочетаемостные ограничения, характерные для этой формы: ср. *Он всегда долго (быстро, сразу) решает задачи*.

Сказанное относится и к сочетаемостным особенностям перформативных глаголов. Так, вполне приемлемые в обычном (“описательном”) употреблении сочетания типа *вежливо просить, бурно протестовать, радостно приветствовать* становятся недопустимыми при перформативном употреблении данных глаголов (*Я прошу вас...; Я протестую!; Я вас приветствую*), поскольку в этом случае компонент “говорения”, с

которым и должно взаимодействовать наречие, стоит вне утвердительной модальной рамки высказывания.

Аналогичное явление наблюдается и при переносных употреблении глаголов “речи”, “сообщения”. В частности, сочетание *сообщить вовремя* не может быть использовано в предложении *Сегодняшние газеты сообщают о заморозках*, поскольку взаимодействующий с данным наречием компонент “опубликовать сообщение” не входит в ассертивную часть; иное дело – предложения типа *Газеты всегда вовремя сообщают о заморозках*, где акцентируется именно этот компонент.

Такова же ситуация в случаях, когда различия в акцентировке компонентов закреплены за разными (хотя и близкими) лексическими значениями слова. Так, в глаголе *писать* в значении “письменно сообщать” несомненно сохраняется компонент “изображать буквами”, однако здесь он не входит в ассертивную часть, а образует пресуппозицию; вследствие этого в предложении *Брат мне написал (пишет), что скоро приедет* вряд ли можно ввести распространители типа *карандашом, на бумаге, корявым почерком, с ошибками* и т.д. Обратим внимание на то, что подобный (близкий к метонимическому) процесс образования переносного значения (1. *писать пером на бумаге*; 2. *писать о том, что...*) опять-таки связан лишь с изменением модального статуса компонентов, тогда как сам состав компонентов исходного и производного значений остается здесь неизменным. Это явление, по нашим наблюдениям, лежит также в основе метонимических переносов значения (см. подробнее [Гуревич 1985]); оно же принято за основу описания “оттенков” значения слова в [Апресян 1974].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1974 – Значение и оттенок значения // ИАН СЛЯ. 1974. № 4.
- Апресян Ю.Д. 1980 – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели “Смысл–Текст” // Wiener Slawistischer Almanach. 1980. 4.
- Богуславский И.А. 1982 – Отрицание и противопоставление // Проблемы структурной лингвистики 1980. М., 1982.
- Гловинская М.Я. 1982 – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гуревич В.В. 1985 – Модальная актуализация смысловых компонентов предложения и слова // ФН. 1985. № 2.
- Гуревич В.В. 1998 – Семантическая производность в грамматике. М., 1998.
- Маслов Ю.С. 1948 – Вид и лексическое значение глагола в современном русском языке // ИАН ОЛЯ. 1948. 4.
- Раппапорт Г. 1998 – Перфективация состояний // “Типология вида: проблемы, поиски, решения” (Материалы международной научной конференции). М., 1998.
- Austin J.L. 1962 – How to do things with words. Oxford, 1962.
- Wierzbicka A. 1968 – On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honour Roman Jakobson. New York, 1968.

© 2000 г. В.Г. ГАК

## ЯЗЫК ПУШКИНА И ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК\*

Специалисты, изучавшие жизнь и творчество Пушкина, его язык, не раз отмечали, что связи поэта с культурой и языком Франции были глубоки и разнообразны. Французское влияние на творчество Пушкина несравненно сильнее влияния другой иностранной культуры [Томашевский 1960: 62]. Л.В. Щерба отмечал, что основу русского литературного языка составляют, конечно, исконно русские элементы, но к ним добавляются книжные церковнославянские слова, диалектные элементы, иностранная терминология, “совершенно незаметное для невооруженного глаза французское влияние” [Щерба 1957: 125]. В качестве примера последнего он приводил само слово *влияние*, кальку с франц. *influence*, и выражение *На берегу (пустынных) волн*, восходящее, по его мнению, возможно к франц. *au bord des ondes*. Незаметное у Л.В. Щербы значит не “незначительное”, но “то, которое трудно заметить”.

О Пушкине говорят, что французский язык был для него вторым родным языком [Томашевский 1960]. Ю.М. Лотман считает, что французский язык играл большую роль в творческом процессе у поэта. Пушкин нередко делал заметки, наброски, планы на французском языке, а потом при реальном художественном творчестве переходил на русский. Из этого делается вывод, что Пушкин в ряде случаев *думал по-французски*: “путь от замысла к тексту был для Пушкина очень часто переходом от французского языка к русскому” [Лотман 1994: 47]. Между тем здесь мы сталкиваемся с любопытным психологическим явлением: нередко человек записки “для себя” оформляет иным способом, нежели текст “для других”. Стендаль в свои заметки и дневники включал фразы и целые абзацы на итальянском и английском языках. Леонардо да Винчи свои заметки и наброски, не предназначенные для опубликования, писал нередко “зеркальным письмом” – справа налево, так что их приходилось разбирать с помощью зеркала [Губер 1935: 411]. Тут проявляется желание пишущего разграничить в оформлении функционально различающиеся тексты. И то, что Пушкин некоторые первоначальные и предварительные соображения оформлял по-французски, не свидетельствует о том, что этот язык был для него ближе. Тем не менее у Пушкина находят значительное французское влияние. В.В. Виноградов писал в письме к жене от 1 апреля 1927 г.: “Не сомневаюсь и имею доказательство, что пушкинская проза дает яркие отражения французского языкового строя” [Виноградов 1980: 343]. Аналогичным образом он оценивал и некоторые произведения Л.Н. Толстого: «...Л. Толстой для меня по своему языку не вполне ясен. Я убежден, что написать статью о языке “Войны и мира” нельзя, не имея под рукой хорошего перевода этого романа на французский язык. Быть может, Вам это покажется странным. Но это – так. “Война и мир” – произведение не русской, а русско-французской культуры языка. И если жизнь моя шла бы лучше, т.е. человечнее, то я прежде всего стал бы изучать русский текст романа параллельно с французским. Я и так, читая, мысленно перевожу роман на французский язык. Но мне эта работа, пожалуй, не по силам. Нужен

\* Настоящая статья представляет собой расширенный вариант статьи: В.Г. Гак. Пушкинская проза и ее французский перевод // Вестник Московского Университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 1999, № 2.

природный француз, т.е. перевод французца» [Гуськова 1995: 76–77]. Здесь В.В. Виноградов высказывает важную мысль о значении изучения переводов для выявления национальной специфики художественной речи и языка в целом. Но в настоящее время незачем переводить Пушкина самим или искать переводчика. Пушкина неоднократно переводили на этот язык (одна "Пиковая дама" была переведена шесть раз), так что исследователь может пользоваться большим материалом. В дальнейшем, следуя пожеланию В.В. Виноградова, мы сопоставим некоторые прозаические произведения Пушкина с их французскими переводами, но вначале следует сказать несколько слов о галлицизмах в пушкинских текстах.

К заимствованиям и калкам из французского языка Пушкин относился "прагматически" – с точки зрения общих потребностей и интересов русского языка и русского общества. Он, разумеется, был против злоупотребления галлицизмами и сам как-то каялся в этом грехе. Но вместе с тем, он признавал и пользу, которые они могут принести языку, обогащая его. Он похвалил П.А. Вяземского, когда тот в одной из своих рецензий заступился за галлицизмы [Пушкин 1949, X: 153]. В своей статье Вяземский писал по поводу возможных нападков некоторых "строгих Аристархов" на стихи Д. Давыдова из-за возможных галлицизмов: "Пусть целостность нашего языка будет равно священна, как и неприкосновенность наших границ; но позвольте спросить: разве и завоевания наши почитать за нарушение этой драгоценной целостности?" [РПЯ 1954: 757]. Таким образом, Пушкин вместе с Вяземским полагал, что удачное и необходимое заимствование равнозначно обогащению родного языка, расширению его "территории". Здесь была и другая проблема, которую Пушкин неоднократно поднимал в письмах к тому же Вяземскому, к Чаадаеву и в других своих текстах. Как известно, язык самого Пушкина исключительно богат и разнообразен. Только в рассмотренных ниже произведениях мы встречаемся с замечательным образцом крестьянского просторечия ("Метель"), с барским просторечием ("Пиковая дама"), с картежным арго (там же), с элементами немецкого акцента в русской речи ("Гробовщик") и др. Однако Пушкин жаловался, что "ученость, политика и философия еще по-русски не изъясняются; метафизического языка у нас вовсе не существует" [Пушкин 1949: VII, 31]. Метафизическим, как правильно отмечает А. Ахматова, Пушкин называл язык, способный выражать отвлеченные мысли [Ахматова 1986, 2: 50]. Одной из задач, которую ставил перед собой поэт, была разработка дискурса любви в русской литературе и в русском языке (вспомним, например: *Доныне дамская любовь не изъяснялася по-русски*). Становление и развитие любовного дискурса в европейской жизни и литературе заняло много веков. В новой литературе он зародился в Провансе в XII в. не без влияния арабской любовной поэзии, затем был развит поэтами "сладостного нового стиля", писателями Возрождения. Каждое новое направление в литературе (классицизм, сентиментализм, романтизм) добавляло к нему новые краски. Он интенсивно развивался и в русской литературе XVIII в. Любовный дискурс призван был показать, что говорит влюбленный мужчина даме и о даме, какие чувства проявляет дама и что она при этом говорит и т.п. Это шло, разумеется, параллельно с разработкой психологии персонажей. Ахматова посвящает этой проблеме статью, показывая, что Пушкин в ряде случаев вдохновлялся романом Б. Констана "Адольф", который произвел большое впечатление на современников углубленной психологической разработкой любовного дискурса. Она указывает, что некоторые содержательные элементы этого дискурса были освоены Пушкиным, который «черпает из "Адольфа" целый ряд формул... для создания языка любовных переживаний» [Ахматова 1986, 2: 63]. Описывая в "Метели" любовное объяснение между Марией Гавриловной и Бурминым, Пушкин сам указывает, что слова Бурмина *Предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно* (и далее: *ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадой жизни моей*) напомнили Маше первое письмо Сен-Пре из романа Руссо "Юлия, или новая Элоиза" [Лотман 1994: 21]. В русском переводе соответствующая фраза звучит так: *Мы ежедневно встречаемся, и вы невольно, без всякого умысла усугубляете мои терзания*. При сопоставлении текстов Пушкина с их

французскими переводами необходимо различать “литературные” галлицизмы, т.е. заимствование, определенных положений, способов выражения чувств, и собственно языковые галлицизмы – заимствованные или калькированные слова, выражения, грамматические формы. Ахматова, наверное, была права, когда писала, что слова Адольфа к его возлюбленной *Я должен вас видеть, если нужно, чтобы я жил* могли подсказать Пушкину известную фразу Онегина: *Я знаю, век уж мой измерен; Но чтоб продлилась жизнь моя, / Я утром должен быть уверен, / что с вами днем увижусь я.* Но этих прекрасных слов у Констанана нет; это творение Пушкина и факт русского языка.

В текстах Пушкина немало языковых галлицизмов, в том числе тех, которые Г.О. Винокур назвал “непроизвольными” [Винокур 1991: 210]. Вот некоторые примеры из тех, что встретились нам при написании данной статьи вне анализируемых переводов. В конце повести “Дубровский” Пушкин пишет: *Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад.* Соединение двух числительных союзом *или* (*три или четыре; шесть или семь*) – характерный для французского языка способ обозначения небольшого неопределенного количества. По-русски в этом случае обычно обходятся без союза: *шесть-семь. Никогда не пожертвую искренностию и точностию выражения провинциальной чопорности и боязни казаться просто-народным, славянофилом и тому под.* [РПЯ 1954: 81]. Здесь управление глагола *пожертвовать что-л. чему-л.* точно воспроизводит конструкцию французского глагола *sacrifier qch à qch* в значении “приносить что-л. в жертву чему-л.” Встречаются несвойственные русскому языку формы множ. числа, возможные во французском: *Его* (Радищева) *изучения Тилемахиды замечательны* [Пушкин VII: 298]. Множ. число *изучения* воспроизводит, по-видимому, франц. *études*. В названии заметок “Опровержение на критики”, откуда взят предыдущий пример, множ. число *критики* также образовано по образцу франц. *critiques*. Во французском языке вообще связь между граммемой и лексемой менее жесткая, менее избирательная, чем в русском. Поэтому многие существительные, обозначающие абстрактные, несчисляемые или единичные объекты, могут принимать форму множественного числа; при этом происходит категоризация – переход имени в другую семантическую группу со сдвигом в значении (*изучение* → *исследование; критика* → *критические замечания*).

В том же “Опровержении на критики” Пушкин отмечает, что за шестнадцать лет, что он печатался, критики справедливо заметили в его стихах пять ошибок [Пушкин 1949, VII: 174]. Можно полагать, что две из них (1-я и 4-я в списке Пушкина) были навеяны формами французского языка. В первой ошибке – *останавлил взор на отдаленные громады* употреблен винительный падеж вместо желательного предложного. Во французском языке вообще не выражается различие между *куда?* и *где?* в выборе наречий и предлогов; только глагол своей семантикой показывает различие между направлением и местоположением. Синтагма *fixer son regard sur qch* “останавливать взор на” не показывает, идет ли речь о направлении или местоположении (пусть даже в переносном смысле). При переводе приходится учитывать это межъязыковое различие и заменять при необходимости глагольное управление. В русском языке встречаются случаи, когда в одной и той же ситуации после глагола перемещение без существенного различия в значении может быть употреблен винительный или предложный падеж: *Он сел в первый ряд или в первом ряду.* Но выражение *останавливать взор на* к таким случаям не относится; Пушкин заменил его другим глаголом. В случае 4 поэт употребил форму *был отказан* вместо *ему отказали*. Ошибочная форма представляет собой явный галлицизм: франц. *refuser* (vi) “отказать” при дополнении, обозначающем лицо, значит “не впускать, не принимать кого-л.”, а в устаревшем употреблении “не допускать в свой круг”. Этот переходный глагол может быть употреблен в пассиве.

Перейдем к сопоставлению языка пушкинской прозы и их французских переводов.

В качестве материала анализа в настоящей статье используются переводы “Пиковой дамы” и рассказа “Выстрел” (ВМ), выполненные П. Мериме, трех “Повестей Белкина” [“Выстрел” (В), “Метель” (М), “Гробовщик” (Г)], сделанные А. Жидом и Ж. Шифреном. Участие в переводе таких мастеров французской прозы, как П. Мериме и А. Жид, обеспечивает добротность французского языка, хотя в переводе П. Мериме отмечались ошибки, связанные с непониманием отдельных мест русского текста, да и в целом этот перевод оказывается более дословным, чем перевод современных авторов.

Что касается галлицизмов, то некоторые обороты или значения слов у Пушкина действительно можно отнести к влиянию французского языка. На французский язык они переводятся, как правило, дословно. Например, независимый деепричастный оборот: *Имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках* (В) – *Ayant le droit de choisir les armes, sa vie était entre mes mains*. Показательно, что та же конструкция избрана и в переводе Мериме. Можно видеть аналогичный оборот и во фразе: *Пробегая письмо, глаза его сверкали* (В), если полагать, что пробежал письмо сам читающий человек, а не его глаза. В обоих переводах воспроизведена такая же структура: *En parcourant la lettre, ses yeux s'étincelaient*.

В текстах можно встретить фразеологические галлицизмы, которые также дословно воспроизводятся во французском переводе: *Держать стол открытым* (В) “быть гостеприимным, хлебосольным” – *tenir table ouverte* (в обоих переводах). Некоторые пушкинские словоупотребления подсказаны, по-видимому, французским языком. В переводах в этом случае восстанавливаются соответствующие французские слова. Например: *Мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону* (В). Возможно, здесь глагол *соединиться* вместо ныне более уместного *собраться*, навеян французским *se réunir*, который значит и “собраться” и “соединиться”. Именно он обнаруживается в переводе: *Nous en fûmes chacun de son côté après être convenus de nous réunir chez Silvio*. Французское прилагательное *discret* в первом значении означает “скромный, неброский”, во втором – “неболтливый, умеющий хранить тайну”. Пушкин придал это второе значение и русскому прилагательному *скромный*: *Никто в доме не знал о предполагаемом побеге. ... Священник, отставной корнет, уса́тый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. ... Таким образом тайна была сохранена* (М). Во французском переводе об участниках приключения говорится: *(Ils) furent discrets, et pour cause*, т.е. своеобразное значение русского прилагательного соответствует обычному значению французского. Хотя не исключено, что Пушкин ради шутки поместил галлицизм среди названий российских персонажей (к ним добавлялся еще кучер Терешка). Значение слова *скромный* уточняется последующей фразой русского текста. Встречаются галлицизмы и грамматического характера: *Три дня после роковой ночи* (ПД) – *Trois jours après la nuit fatale*. Во французском языке обстоятельство времени часто выражается без предшествующего предлога, тогда как в русском он может оказаться желательным; ср. *в прошлом году – l'année passée; он придет в четверг – il viendra jeudi*. Отсутствие предлога в пушкинской фразе (вместо *через три дня*) делает ее вполне аналогичной нормативной французской *trois jours après...*

Однако одни лишь галлицизмы, сколь бы частотны они ни были, не дают достаточных оснований для характеристики текстов, для определения степени влияния французского языка на язык Пушкина. Переводы позволяют наглядно выявить более глубинные особенности национальной специфики художественной речи и языка в целом. При описании одной и той же ситуации люди, говорящие на разных языках, могут вычленять различные ее компоненты, различные типы связей между последними, по-разному организовать дискурс, выводя их в поверхностную структуру (другие элементы ситуации остаются на глубинном уровне и понимаются слушающим на основе знания ситуации и контекста) и использовать для описания одной и той же

ситуации различные семантические модели. Выбор номинаций и моделей определяется средствами языка и речевыми тенденциями. Например, основными параметрами движения являются его способ и направление. В русском высказывании в первую очередь фиксируется способ передвижения или оба аспекта, благодаря наличию и употребительности приставочных глаголов, которые своей основой описывают способ движения, а префиксом – направление. Во французском высказывании выводится на поверхностный уровень прежде всего направление движения. Например: *Гробовщик подходил уже к своему дому* (Г). – *Le marchand de cercueils s'approchait déjà de sa maison*; *Он пошел на лестницу* (Г) – *Il monta l'escalier*. В обоих русских высказываниях выражен способ передвижения (глаголом *идти*), во французских – только направление движения (“приближаться” в первой фразе, “подниматься” – во второй, способ передвижения, ясный из контекста, совсем не обозначен). Невыраженные в поверхностной структуре элементы ситуации осознаются воспринимающим на основании знания им ситуации и контекста. Ситуация местонахождения по-русски может быть выражена моделью локализации или включения, по-французски моделью обладания. Совокупность подобных явлений образует национальную стилистику языка [Как 1963; 1998: 629–639], что можно также называть грамматикой речи, внутренней формой языка на уровне высказывания, либо динамической картиной мира, присущей данному языку. Национально-стилистические черты возникают на основе общих особенностей лексического состава и грамматического строя языка, отражают общие тенденции пользования им и его развития. Как и всякие стилистические особенности, они включают качественные и количественные характеристики. В первом случае речь идет о явлениях, присущих одному из сопоставляемых языков и отсутствующих в другом, во втором – о разной избирательности, о разной частотности использования аналогичных форм в разных языках. Рассмотрим некоторые общие параметры организации высказывания в русском и французском языках на основании сравнения пушкинских текстов и их французских переводов (следует подчеркнуть важность частотного критерия: за каждым из приводимых примеров стоит целый ряд аналогичных фактов).

Характерные расхождения в построении высказывания в двух языках можно обнаружить даже в структуре элементарных диалогических реплик. И это не случайно, т.к. в диалогических репликах, как море в капле воды, отражается общая специфика данного языка. Отметим некоторые особенности построения реплик. Французская речь характеризуется большей с у б ъ е к т и в н о с т ь ю, направленностью ее на 1-е или 2-е лицо, тогда как в русской сравнительно чаще реплика ориентируется на третье лицо или имеет безличную форму. Ср.: – *Выиграла!* – *сказал Германн, показывая свою карту* (П). – *Je gagne, dit Hermann en montrant sa carte*. Французская реплика соотносит ситуацию непосредственно с говорящим, русскую мог бы произнести любой из присутствующих. – *А каков Германн?* (П) – *Comment trouvez-vous Hermann?* Русская фраза формально не соотносится ни с каким субъектом, хотя, разумеется, в глубинной структуре присутствует адресат вопроса. Во французской указание на адресата выводится в поверхностную структуру (букв. “Как вы находите Германна?”).

В русских диалогических репликах часто присутствует формальный з а ч и н, выражаемый союзами *а*, *реже и*; во французских такого рода зачина нет, либо используется эмоциональный зачин типа *oh! ah! comment!* и др. Например: – *А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?* – *Покойницы? Да разве она умерла?* (Г) – *Est-on venu ici de la part de la défunte Trioukhina?* – *La défunte? Elle est donc morte?*; – *И ты ни разу не соблазнился?* *Ни разу не поставил на р у т е?... Твердость твоя для меня удивительна.* (П). – *Comment! dans toute ta soirée tu n'as pas essayé une fois de jouer le roué. En vérité, ta fermeté me passe.* Русские реплики начинаются зачином *А* или *И*, во французских зачин отсутствует или имеет более эмоциональную форму.

Различным образом выражается связь реплики-стимула и реплики-реакции.

Типологически здесь могут быть три варианта: использование слова-рефлекса типа *да, нет* (– *Ты читал эту книгу?* – *Да*); повтор рематического элемента из фразы-стимула, который может заменять слово-рефлекс (– *Читал*); частичный повтор (повтор служебного глагола сложной формы: – *Ты будешь читать эту книгу?* – *Буду*). Французский язык использует преимущественно первый вариант (часто с добавлением обращения: *Monsieur, Madame* и т.п.), русский язык – второй, для английского характерен третий. Например: – *Это была шутка. – Этим нечего шутить, – возразил сердито Германн (П) – C’était une plaisanterie. – Non, Madame, répliqua Hermann d’un ton colère.* Возражение выражено в русском тексте с помощью повтора с транспозицией (*шутка – шутить*), тогда как во французском отрицанием *non*, которое часто используется для выражения запрета, нежелательности какого-либо действия.

Важным средством связи реплик являются к о н н е к т о р ы, разного рода связующие элементы, которые в двух языках используются несимметрично. Французский текст в целом более конденсирован, чем русский, связь реплик между собой более часто выражена эксплицитно. Вследствие этого во французский перевод добавляются различные связующие слова модального характера. Так, в приведенном выше примере включен вводный элемент *en vérité* “в самом деле, поистине”. Выражение *en effet* со сходным значением включено в перевод последующей реплики Нарумова. “*Каково торгует ваша милость? – спросил Адриян. Э-х-хе, – отвечал Шульц, – и так и сяк. Пожаловаться не могу*”. (Г). Во французский перевод вводится модальный элемент *du reste* (“впрочем”): ... *Je n’ai du reste pas à me plaindre.* В приведенном выше примере из “Гробовщика” русская частица *разве* выражает только вопрос, необходимость удостовериться, тогда как введенное во французский перевод *donc* “значит, следовательно” уточняет причинно-следственную связь.

Рассмотрим теперь некоторые общие параметры организации высказывания в двух языках. В аспекте понимания (декодирования) французскому языку свойственна большая зависимость слова от окружения и высказывания от контекста. В русском языке употребляется сравнительно чаще прямая номинация, не зависящая от контекста. Благодаря соотнесенности с окружением во французском языке могут быть использованы гиперонимические (родовые) обозначения, контекстуально соответствующие русским гипонимическим. Это особенно характерно при переводе на французский язык русских приставочных глаголов. Во французском переводе употребляется глагол более общего значения, семантически соответствующий русской глагольной приставке, тогда как характер самого действия подсказывается предыдущей фразой или ситуацией. Например: *Мы хвастались пьянством. Я перепил самого Бурцева.* (В) – *Nous faisons parade de nos soûleries. Je l’emportais même sur le fameux Bourtsev.* Французское выражение *l’emporter sur* обозначает превосходство в любом деле, тогда как русский глагол *перепить* указывает на “превосходство” только в пьянстве. Точное значение французского выражения становится ясным лишь по связи с предыдущим контекстом. В переводе Мериме используется образное выражение: *J’ai mis sous la table le fameux B.*, букв. “я уложил под стол знаменитого Б.” Но и здесь точное значение выявляется благодаря анафорической связи, т.к. выражение может означать “слишком сильно напоял”, а не только “перепил”. В других случаях точная референция глагола, равнозначного русскому префиксу, определяется не по предыдущей фразе, а по дополнению (обстоятельству), относящемуся к глаголу: *Он прострелил мне вот эту фуражку* (В) – *Il traversa d’une balla cette casquette que voici.* Сам по себе глагол *traverser* указывает только на направление действия, не уточняя способа (орудия) действия, он может переводиться “прозвять”, “пробивать” и т.п. Значение “прострелить” обеспечивается орудийным дополнением “(прозвять) пулей”. Равным образом *Nas растащили* (В) переведено *On nous sépara de force*, где глагол равнозначен русскому префиксу *раз-*, обозначающему

разъединение вообще, а насильственный характер самого действия (*тащить*) выражается обстоятельством *de force* (“силой”). В случае с приставками мы имеем качественное расхождение между двумя языками: во французском языке такой разветвленной системы пререклов нет, но показательно, что русский язык не использует форм, аналогичных французским, хотя такие возможности имеются; здесь проявляется характерная избирательность.

Одним из характерных количественных расхождений между стилистическими двумя языков, обнаруживающихся и в данных переводах, является “с и н т а к с и ч е с к и й а н и м и з м” – использование существительного неодушевленного в качестве подлежащего переходного глагола, что придает предложению определенную степень метафорического звучания, поскольку эта функция обычно закрепляется за именем, обозначающим предмет, способный к активному действию. Например: *Этому дому я обязан... одним из самых тяжелых воспоминаний* (В) – *Cette maison me rappelle aussi de très pénibles souvenirs*; *Благодаря открытому нраву Готтлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно* (Г) – *La nature ouverte de Gottlieb Schultz permet vite à la conversation de devenir très cordiale*. В тексте Пушкина подобная конструкция встречается преимущественно при подлежащем, выраженном абстрактным существительным, например: *Опытность давала ему перед нами многие преимущества* (В). *Ее присутствие вернуло мне бодрость*. В таких случаях французский перевод сохраняет структуру предложения неизменной. Возникает вопрос, не является ли использование подобных оборотов влиянием французской стилистики, и не обратился ли Пушкин к этой модели в процессе разработки русского “метафизического” языка для описания внутреннего мира человека, его переживаний.

Во французском переводе встречается и использование существительного неодушевленного при глаголе, употребляющемся обычно с дополнением, указывающим на одушевленный объект. Русской речи это свойственно в меньшей степени: *(Он) стал бранить обеих дочерей... за их медлительность* (Г) – *Il tança la lenteur de ses deux filles* (букв. “бранить медлительность своих дочерей”).

Употребление неодушевленного подлежащего нередко связано с выражением актуального членения – противопоставления темы и ремы. В русском языке, благодаря свободному порядку слов, тема может быть выражена второстепенным членом в начале предложения, во французском языке такая инверсия не всегда возможна (или желательна): тема оформляется синтаксическим подлежащим, рема – дополнением. В подобных случаях русскому инвертированному подлежащему (даже неодушевленному) может соответствовать французское дополнение. Ср: *У него водились книги* (В) – *Il avait des livres*; *Он находил chez lui des livres* (ВМ). Косвенное дополнение – тема в начале фразы – характерная черта русского синтаксиса, почти несвойственная французскому языку; при переводе его обычно заменяет подлежащее: *Адриану лицо его показалось знакомым* (Г) – *Adrien crut reconnaître ce visage*; *Адриану некогда было церемониться* (Г) – *Des cérémonies, Adrien n'avait guère le temps d'en faire*. И также: – *Кому опять до меня нужда?* (Г). – *Qui aurait-il encore besoin de moi?* *Маше все еще не верилось* (В) – *Macha ne te croyait toujours pas*; *Теперь уже поздно противиться судьбе моей* (М) – *Je ne peux plus lutter contre ma destinée*.

Важнейшим аспектом национальной стилистики является степень синтаксической компактности текста. В целом она больше свойственна французскому языку и проявляется в ряде моментов. Первый из них – более частое использование г и п о т а к с и с а, которому в русском тексте соответствует паратаксис. Еще Л. Теньер отмечал большую распространенность гипотаксических конструкций во французском языке по сравнению с латинским и немецким языками [Теньер 1988: 330–334]. Русскому паратаксису также нередко при переводе соответствует французский гипотаксис. Это чисто количественное явление, так как обе структуры возможны в обоих языках.

Эта тенденция обнаруживается на разных уровнях. Прежде всего, в способе выражения м о д у с а высказывания, который в русском языке часто обозначен ввод-

ным словом, тогда как во французском – главным предложением в составе сложного (синтаксические связи здесь все же более жесткие, чем между вводным словом и предложением) или в сказуемом простого предложения: *Кажется, я не соглашался* (В) – *Je crois que je ne consentais pas*; *Ты, верно, вчера угорела?* (М) – *Tu cheminée a dû fumer hier?* В последнем примере эпистемический модус выражен вводным словом порусски и переосмысленным глаголом *devoir* в составе сказуемого по-французски.

Нередко при переводе имеет место стяжение нескольких предложений в одно. Вот характерный пример: *Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки.* (В) – *Sitôt que les invités nous eurent laissés, nous nous sommes assis, Silvio et moi, l'un en face de l'autre et allumâmes nos pipes en silence.* В русском тексте четыре независимых предиката, во французском – три. Два события, описанные в русском тексте двумя предложениями (“гости ушли”, “мы остались одни”), выражаются во французском одним сложноподчиненным (“как только гости нас покинули”). Аналогичный пример: *Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами* (В) – *Mes trois témoins et moi nous nous trouvâmes au point du jour à l'endroit désigné.* Здесь два предложения сливаются в одно. Нередко синтаксическое стяжение сочетается с “синтаксическим анимизмом” – употреблением существительного неодушевленного в качестве подлежащего при переходном глаголе: *Двери отворились и вошел мужчина лет тридцати двух.* (В) – *La porte s'ouvrit et laissa entrer un homme d'une trentaine d'années.* Каузативная конструкция, столь характерная для французского языка, позволяет соединить два предложения в одно и представить субъект первого предиката субъектом второго.

Последний пример показывает еще одно проявление синтаксического стяжения: тенденция к единству субъекта в смежных предложениях. *Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам.* (Г) – *Le marchand de cercueils approchait déjà de sa maison lorsqu'il lui sembla soudain voir quelqu'un devant sa porte.* В русском предложении последовательность семантических субъектов: гробовщик – ему – кто-то, во французском: “гробовщик” – “ему”; третий, “посторонний” субъект преобразован в объект благодаря замене глагола движения глаголом восприятия. Другой пример: *Адриан тотчас же познакомился с ним/Юркой/..., и как гости пошли за стол, то они сели вместе.* (Г) – *Adrien s'empresse de lier connaissance avec cet homme..., et, lorsque les invités se mirent à table, il s'assit à côté près de lui.* Ради сохранения формального единства субъекта описание изменено без ущерба для смысла: вместо *они сели вместе* в переводе сказано: “он сел рядом с ним”. Для сохранения единства субъекта вводятся каузативные глаголы, а также семантически избыточные глаголы восприятия, которые не искажают смысла предложения. Вот еще пример: *Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко.* (Г) – *Le marchand de cercueils atteignit allégrement la porte Nikitskié. Près de l'église de l'Ascension il s'entendit héler par le sergent Yourko* (букв. “он услышал, как его окликнул будочник Юрко”).

Но может быть такое объединение предложений нарушает авторский пушкинский стиль, которому свойственна, как отмечали его исследователи, короткая простая фраза, без стилистических фигур, некоторая суховатость [Винокур 1991:184–185]. У русского читателя французских переводов может сложиться впечатление, что фраза Пушкина в них утяжеляется, несколько метафоризируется. Но одно и то же средство может иметь в разных языках различное стилистическое преломление, производить разное впечатление. Принимая во внимание, что разные переводчики следуют одним и тем же преобразованиям, эти изменения можно относить к специфике национального стиля и не видеть в них искажения идиостиля автора.

Стяжение отдельных предложений или предикатов в одно предложение делает менее выпуклым каждый отдельный элемент или аспект ситуации. На это обращает внимание З.И. Кирнозова, в предисловии к книге [Мериме 1987].

*Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая – в коридор.* (П) – *Hermann passa derrière le paravent, qui cachait un petit lit en fer. Il aperçut deux portes: à droite, celle du cabinet noir, à gauche, celle du corridor.*

Называя этот момент одним из кульминационных в повести, З.Н. Киринова пишет: «Здесь сам ритм авторской речи сообщает душевный настрой Германа – его предельную собранность, остроту взгляда, точно фиксирующего “топографию вражеской местности”» (Mégimée 1987: 15). Повествование Мериме она находит “более ровным”. Но если в начале пассажа два предложения в переводе слились в одно, то позднее выделилось отдельное предложение. Если “острота взгляда” в русском варианте передается последовательностью отдельных предложений, то в французском переводе она выражена эксплицитно: *il aperçut* “он заметил”. Использование этого вводного элемента позволил Мериме сделать описание достаточно энергичным, опустить избыточные предикаты *находилась, ведущая*, повторную идентификацию двери: *(слева) другая*. Эта “топографическая” фраза в обратном переводе с французского дословно звучит так: “Германн пошел за ширму, которая скрывала маленькую железную кровать. Он увидел две двери: справа – в темный кабинет, слева – в коридор”. В первой фразе паратакисис заменен гипотаксисом (*qui cachait...*) с неодушевленным подлежащим. Вторая фраза вводится, как отмечалось, глаголом восприятия. Оба этих преобразования отмечались выше при анализе фраз из других произведений. В переводе Мериме следует видеть не прихоть переводчика, а отражение общих стилистических свойств языка перевода.

Подчеркнем еще раз специфику глаголов восприятия. Восприятие (знание, чувство) в принципе предшествует речи. Человек может говорить и писать только о том, что доступно либо его собственному восприятию, либо восприятию описываемого им персонажа, или каких-либо людей вообще. Нельзя сказать *Раздался звонок*, если нет и не может быть людей, которые могли слышать этот звонок. Фраза *Бежит собака* невозможна, если не предполагается некто, кто бы мог видеть это явление. Конкретное или неопределенное воспринимающее лицо всегда присутствует в глубинной структуре ситуации. Отображение его в поверхностной структуре предложения зависит от выбора говорящего и общих установок соответствующего языка. Французский язык в значительно большей степени, чем русский, отмечает восприятие. Поскольку указание на восприятие, присутствующее в ситуации, часто оказывается семантически избыточным, глаголы восприятия (и вообще – глаголы модуса) могут без ущерба для смысла высказывания включаться в его состав, что позволяет французскому языку решать ряд строевых задач с целью преодоления свойственных ему жестких синтаксических рамок.

Для достижения одного и того же стилистического эффекта разные языки, как мы видели, используют разные средства. Вот еще один пример подобного рода. Германн напряженно ожидает возвращение графини с бала. Стремительность событий, взволнованность персонажа передается в пушкинском тексте краткими отрывистыми фразами. Но вот карета приближается. *Часы пробили первый и второй час утра, – и он услышал дальний стук кареты... В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса.* (П) – *Il entendit sonner une heure, puis, deux heures. Puis, bientôt, le roulement lointain d'une voiture... Grand bruit aussitôt de domestiques courant dans les escaliers, des voix confuses.* Вначале в переводе используется глагол восприятия (*il entendit* “он услышал”), который не может быть повторно употреблен для дословного перевода русского *он услышал*. Крайний динамизм в русском тексте выражен последовательностью глаголов, а во французском – в соответствии с стилистическими традициями этого языка – цепочкой безглагольных номинативных предложений.

Французскому языку свойственна большая зависимость высказывания от текста. Среди многих проявлений этой особенности отметим две. Во-первых, это более широкое употребление местоименной репрезен-

тации, чем в русском тексте, где при кореференции относительно чаще используется прямое обозначение объекта. Пушкин пишет: *Германн отворил дверь* (П). Мериме переводит: *Il ouvrit cette dernière*. Русская фраза семантически является самодостаточной. В ней самой указано, кто и что отворил. Во французской – вследствие местоименных замен – субъект и объект опознаются только благодаря анафорической связи с предыдущими предложениями. Нанизывание местоимений при кореференции – отличительная черта французской стилистики. Русский язык не допускает скопления местоименных замен, но мирится с повтором прямых номинаций (имен собственных и др.).

Другим проявлением большей связи данного высказывания с текстом является употребление префикса *re-*, который может нести и анафорическую функцию. Например: *Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению... Офицер... взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова.* (В) – *Silvio prit la craie, et selon son habitude, rétablit le compte... L'officier... saisit la brosse et effaça ce qui lui paraissait inscrit à tort. Silvio, reprenant la craie, l'inscrivit à nouveau.* Не только стилистика французского языка меньше допускает прямые повторы слов (ср. *взял – взял – взял и prit — saisit – reprenant*; даже если такой повтор был специальным приемом у Пушкина, французские переводчики не стали его воспроизводить), она требует употребления *re-*, когда речь идет о повторном или обратном действии, что не так существенно для русского языка. Этот префикс связывает данное высказывание с предыдущими.

Кроме рассмотренных общих параметров высказывания приведенные примеры показывают целый ряд других, более частных, характерных расхождений между двумя языками. Например, *разговор у них и leur entretien* (французский посевив часто соответствует русскому предложному обороту *у него*); *я с моими тремя секундантами и mes trois témoins et moi* (совокупный субъект не должен по-французски начинаться с местоимения первого лица) и т.п. Как было видно, в выборе средств выражения при переводе большое значение имеют не только лексико-грамматические факторы, но национально-стилистические особенности языка. Галлицизмы в прозе Пушкина – поверхностные явления. Что касается глубинной внутренней формы и национально-стилистических норм русского языка, то язык пушкинской прозы принципиально отличается от норм и тенденций французской речи. Даже там, где можно было бы дословно воспроизводить французские речевые структуры, Пушкин обращается к собственно русским формам организации высказывания. Поэтому переводы русской прозы на французский язык, несмотря на “простоту” и сдержанность пушкинского стиля, постоянно требуют серьезной перестройки лексико-грамматической организации предложений. Аналогичные расхождения обнаруживаются при сопоставлении любых русских и французских художественных текстов. Это свидетельствует о том, что в своей глубокой основе русский язык со времен Пушкина не претерпел существенных изменений, сохранив свою национальную стилистическую основу, и что пушкинская или толстовская проза не имеют признаков “гибридной” речи.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ахматова А. 1986 – Сочинения в двух томах. М., 1986.  
Виноградов В.В. 1980 – Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.  
Винокур Г.О. 1991 – О языке художественной литературы. М., 1991.  
Гак В.Г. 1963 – О национальных стилистических особенностях французского языка // Вопросы романского языкознания. Кишинев, 1963.  
Гак В.Г. 1998 – К проблеме сопоставительного типологического анализа речевого акта и текста // Языковые преобразования. М., 1998.  
Губер А. 1935 – Рукописи Леонардо // Леонардо да Винчи. Избранные произведения в двух томах. М., 1935.

- Гуськова А.Б.* 1995 – “Вятские будни” // Вестник Российской Академии наук. 1995. № 1.
- Лотман Ю.М.* 1994 – Русская литература на французском языке // Русская литература на французском языке XVIII–XIX веков. Wien, 1994.
- Мериме П.* 1987 – Mérimée – Пушкин / Составление и предисловие Кирнозовой. М., 1987.
- Пушкин А.С.* 1949 – Полное собрание сочинений в десяти томах. М.; Л., 1949.
- РПЯ* 1954 – Русские писатели о языке (XVIII–XIX вв.) М., 1954.
- Руссо Ж.Ж.* 1968 – Юлия, или Новая Элоиза. М., 1968.
- Теньер Л.* 1988 – Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
- Томашевский Б.В.* 1960 – Пушкин и Франция. Л., 1960.
- Щерба Л.В.* 1957 – Избранные труды по русскому языку. М., 1957.

© 2000 г. Е.М. ВЕРЕЩАГИН, В.Г. КОСТОМАРОВ

**РЕЧЕ-ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРИТЧИ ПУШКИНА О БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ\***

В воспоминаниях П.И. Миллера о Пушкине имеется запись: «Вскоре по выходе повестей Белкина [середина октября 1831 г.] я на минуту зашел к Александру Сергеевичу; они лежали у него на столе. Я и не подозревал, что автор их – он сам. – “Какие это повести? И кто этот Белкин?” – спросил я, заглядывая в книгу. – “Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно”» (цит. по [Вересаев 1984: 278]).

“Станционный смотритель” из “Повестей Белкина”, безусловно, отвечает критериям простоты и краткости. Вероятно, он отвечает и критерию буквальной ясности: Дуня Вырина сбежала с ротмистром Минским; Самсон Вырин, покинутый отец, пытался вернуть ее домой, но безуспешно; старик начинает заливать свое горе и умирает; Дуня, захав в родные места, уже не застает отца в живых.

Но всё же что стоит за сюжетом? Неужели простодушно рассказан единичный казус – и на этом всё? Консенсус исследователей является ответом: почти все писавшие о “Смотрителе” пытались распознать в истории Авдотьи Самсоновны и ее несчастного отца нечто большее, чем поверхностный смысл<sup>1</sup>. Вырин, конечно, “спился”, но умер-то он, вероятно, всё-таки не от “русской болезни”.

Ниже предпринята попытка применить к тексту повести Пушкина исследовательский аппарат двух концепций – той разновидности концепции текстовых жанров, которая известна под именем Textsortenlehre<sup>2</sup>, и концепции рече-поведенческих тактик.

Таким образом, ряд уже имеющихся догадок о том, что “хотел сказать” Пушкин, переиначив Притчу о блудном сыне, будет пополнен.

Исследование состоит из пяти разделов. В разделе I подытоживаются основные результаты исследований наших предшественников, посвященные “Смотрителю”. В разделе II представлены оценочные рече-поведенческие тактики (далее сокращенно: РП-тактики)<sup>3</sup> шести персонажей повести (Вырина, Минского, хмельного ящика, лекаря-немца, “пивоваровой жены” и “мальчишки” Ваньки). Раздел III имеет пропедевтический характер: в нем рассматривается специфика притчи как Textsorte, содержащего поведенческую парадигму, и затем вводится понятие абстинативной (“воз-

\* Расширенная версия доклада на юбилейной научной конференции “Пушкин и наш язык”, проведенной Научным советом “Русский язык” РАН (19–20 октября 1999 г., Москва). Исследование проведено во исполнение проекта “Язык и культура. Лингвострановедческая концепция коммуникации”, поддержанного РФФИ (грант № 99-06-80315).

<sup>1</sup> Художественное произведение высоких достоинств отличается множественностью разноуровневых смыслов. В “Смотрителе” можно увидеть и занимательный, авантюрный сюжет, и любовную линию, и психологическую драму, и бытописание, и социальный подтекст и т.д.

<sup>2</sup> Изложение концепции см., например, [Hinck (Hrsg.) 1977].

<sup>3</sup> Предпочитаем написание сложного прилагательного через дефис: оно образовано стяжением не атрибутивного термина: *речевое поведение*, а сочинительного: *речь и поведение*.

держательной”) рече-поведенческой тактики. В разделе IV исследуются абстинентивные РП-тактики, которых придерживалась Авдотья Самсоновна, причем на фоне поведенческой парадигмы Притчи о блудном сыне. Эта Притча формировала нормативные ожидания современной Пушкину читающей публики. Здесь же излагается наша точка зрения на замысел Пушкина, который, как мы думаем, перевел этический вектор Притчи из сферы ветхозаветного Закона в область новозаветной Благодати. Наконец, в разделе V кратко рассматривается психологический процесс покаяния в свете возможного отнесения Притчи к жизненной судьбе самого поэта.

Все наши соображения – дискуссионны, и прежде всего мы не настаиваем на доводах, изложенных в пятом разделе.

## I

Многочисленные исследования, посвященные “Станционному зрителю”, распадаются на два направления. Первое – это реконструкция литературной истории и повести, а второе – выяснение авторского замысла.

Мы не ставим перед собой задачи дать и с черпы в а ю щ и й обзор концепций, представляющих первое направление. Важно продемонстрировать несколько характерных подходов, чтобы стало ясно, в каком направлении движется мысль исследователей.

Так, В.Н. Турбин привел – отчасти вслед за своими предшественниками – длинный ряд остроумных сближений пушкинского “Станционного зрителя” с нравоучительной одноименной повестью второстепенного писателя В.И. Карлгофа<sup>4</sup> и с эпизодом на почтовой станции из популярного в 1829–1830 гг. романа Ф.В. Булгарина “Иван Выжигин”<sup>5</sup>. Ученый убедительно показал: Пушкин форсировал содержащиеся в них мотивы (причем внятными для читающей публики 30-х гг. образом). “И непутевый гусар, поступивший праведно; и бредущий пешком в Петербург паломник-отец; и отвернувшаяся от него дочь; и конечное успокоение – все становится очень жизненным именно потому, что повесть сплошь пронизана литературными реминисценциями” [Турбин 1978: 79]. Соответственно главная задача анализа, по Турбину, состоит в том, чтобы “взглянуть на Пушкина археологически” [Там же: 8].

Аналогичные поиски литературных произведений, – в том числе зарубежных, – которые могли повлиять на творчество Пушкина, наблюдаем и у других многочисленных пушкинистов.

Ср. характерные суждения: «“Станционный зритель” Пушкина непонятен вне широкой историко-литературной перспективы, вне Бомарше, Лессинга, Шиллера, вне “Бедной Лизы” Карамзина, с которой в тексте его есть даже любопытные, почти буквальные совпадения» [Гиппиус 1966: 18–19]; «Повесть “Станционный зритель” является примером развития и преобразования Пушкиным художественных достижений лучшей повести Карамзина “Бедная Лиза”» [Богомолец 1960: 104]. Е.Н. Купреянова показала, что “картинки” в “Станционном зрителе” заимствованы в повесть из хроники Шекспира “Генрих IV”

<sup>4</sup> Генерал-майор Вильгельм Иванович Карлгоф (1796–1841), писатель и переводчик, входил в круг петербургских знакомых Пушкина. См.: [Черейский 1989: 184–185]. Повесть “Станционный зритель” Карлгофа была опубликована в журнале “Славянин” в 1827 г. (№ VII) и отдельной книгой вышла в свет в 1832 г. – Общий вывод В.Н. Турбина применительно к повести Карлгофа таков: «“Станционный зритель” Пушкина – негативное отражение повести В. Карлгофа» [Турбин 1978: 70]; «Можно предположить, что Пушкин отвечает Карлгофу с истинно немецким педантизмом. Что он сделал достаточно точный филологический анализ, так сказать, “Станционного зрителя” № 1; рассмотрел его и ничего не просмотрел» [Там же: 77].

<sup>5</sup> Пушкин был отлично знаком с романом “Иван Выжигин”, имевшим большой издательский успех. За подписью “Феофилакт Косичкин” он опубликовал разбор “Ивана Выжигина” и даже содержание “существующего” романа-памфлета “Настоящий Выжигин”.

[Куприянова 1981: 289]. Д.М. Шарыпкин вскрыл близость “Станционного смотрителя” к “нравоучительной повести” Ж.-Ф. Мармонтеля “Лоретта” и даже посчитал ее “основным литературным источником” Пушкина [Шарыпкин 1978: 127–136]. Г.М. Фридендер указывает на стихотворение П.А. Вяземского “Станция”, из которого взят эпитафия к Пушкинской повести и которое, по его мнению, имеет принципиальное значение для генезиса “Станционного смотрителя” [Фридендер 1983: 170–173]. М.В. Разумовская исследовала переключки между повестью Пушкина и “Историей одной деревенской девушки” аббата А.Ф. Прево, а также романом “Векфилдский священник” О. Голдсмита [Разумовская 1986].

Как уже было сказано, имеются и другие исследования по теме. Разброс точек зрения довольно велик.

Что же касается второго направления исследований (выяснение того, “что хотел сказать автор”), то и здесь разногласия велика. Объединяет исследовательский поиск нацеленность на выяснение неочевидных причин трагедии. Сам Пушкин своей точки зрения не заявил и, откровенно говоря, загадал загадку<sup>6</sup>.

Прямая причина гибели Самсона Вырина очевидна: получив “убийственное известие” о бегстве Дуни с гусаром, старый смотритель “не снес своего несчастья”, “занемог сильной горячкой” и в конце концов, говоря словами “жены пивоваровой”, “спился” и “помер”.

Но все же кто виноват в смерти станционного смотрителя? Ни ротмистр Минский, ни Авдотья Касонова, как представляется, не суть исчадия ада. Может быть, тогда виноват сам Вырин? Или безликая социальная среда? (Такой ответ еще лет десять назад был всегда наготове.) Или судьба, которая, как известно, слепа и – “пусть неудачник плачет”?

Ответы ученых на вопрос весьма разошлись между собой. Опять-таки не ставя перед собой задачу исчерпательности, рассмотрим несколько характерных концепций.

М.О. Гершензон считает, что подлинным виновником гибели Самсона Вырина являются... картинки, украшающие “его смиренную, но опрятную обитель”. (Картинки, как известно, иллюстрировали притчу о блудном сыне<sup>7</sup>.) “Дуня, бежав с Минским, вышла на путь своего счастья; Минский действительно любит ее, и она – его, они венчаются, она счастлива, богата, все пошло как нельзя лучше; если бы ложная идея не застилала глаза смотрителю, (...) он был бы счастлив счастьем Дуни”. Но ложная идея поработила его себе, ибо “смотритель непоколебимо убежден, что в немецких картинах изображена универсальная истина, что офицер, сманивший Дуню, несомненно, поиграет ею и бросит, –

<sup>6</sup> Ср. хороший образ: “Станционный смотритель” похож «на те загадочные картинки для детей, когда нарисован лес, а под ним напечатано: “где тигр?”. Очертания ветвей образуют фигуру тигра; однажды разглядев ее, потом видишь ее уже сразу и дивисься, как другие не видят» [Гершензон 1919: 122]. Любое сравнение хромает, и вопреки Гершензону хотелось бы заметить: на реальной загадочной картинке художник действительно изобразил тигра; Пушкин же нарисовал “лес” и, может быть, даже дал задание отыскать в нем “тигра”, но “тигра”-то и не изобразил. Поэтому исследователь А видит полосатую кошку в одной комбинации ветвей, а исследователь Б – в другой. Обычно – и это психологически понятно – ученые склонны абсолютизировать “свои” абрисы; вот и Гершензону представляется, что он безусловно разгадал загадку (“Идея нисколько не спрятана, – напротив, она вся налицо, так что всякий может ее видеть; и однако все видят только лес”). Ученый-не допускает мысли, что вследствие сознательной недоговоренности Пушкинское повествование может по праву иметь множественные интерпретации.

<sup>7</sup> «Стенные картинки о блудном сыне были в 20–40 годах, по-видимому, частой принадлежностью станционной обстановки; может быть, какой-нибудь немецкий коммивояжер развозил по русским почтовым станциям это произведение немецкой художественной промышленности. Гр. В.А. Соллогуб в “Тарантасе” описывает комнату на почтовой станции: “Между окон красуются изображения Малек-Аделя на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова” и т.д.» [Гершензон 1919: 123; выделено автором].

и потому он не видит вещей, впадает в отчаяние и спивается”. «Станционного зрителя сгубила ходячая мораль; сама призрак, ничто, она совершенно реально высасывает кровь из людей; ее тирания – вот мысль, выраженная Пушкиным в “Станционном зрителе”» [Гершензон 1919: 126–127].

Отчасти соглашаясь и отчасти полемизируя с Гершензоном, Н.Я. Берковский отводит от Дуни подозрение в том, что именно она, согласившись ехать с Минском “по своей воле”, явилась причиной гибели отца. Виновником гибели Вырина ученый считает социальные условия сословной России. Отталкиваясь от картинок от блудном сыне, Берковский размышляет: “Блудный сын у Пушкина ушел не от отцовского богатства – он бежал от бедности. Вернуться новому блудному сыну некуда – у зрителя нет тучного тельца, которого он мог бы заколоть”; «“Немецкая” мораль сводится к верности тому, что есть, к неисканию лучшего. Пушкин на стороне искания»; “Ее (Дуни) поступок, ее бегство – необходимость, долг перед собой. Она ушла от узости жизни (...). Дуня хочет вырваться в большую жизнь. (...) Пушкин, не колеблясь, отпускает свою героиню в большой мир”; “Пушкин за большой мир, за ломку в судьбе своей героини, но тот мир, в который она вошла, потому и сомнителен, что он принял дочь и никогда не примет отца” [Берковский 1985: 86–88].

Возражая Берковскому, Р. Поддубная, напротив, отрицает любые социальные причины и считает виновными в трагедии как Минского, так и Дуню. “Человеческое доверие Вырина обмануто и попрано Минским. (...) Он предлагает деньги как эквивалент этических ценностей” [Поддубная 1980: 19]. «Увидев отца в своей петербургской квартире, она (Дуня) не бросилась к нему, а упала в обморок. От стыда? от жалости? от сознания своей вины? Скорее всё-таки от страха, что будет нарушено ее счастье. Для нее вторжение отца так же непрощенно и нежеланно, как и для ее возлюбленного. В столкновении Вырин – Дуня нет социальных оснований, только нравственные. В нем с одной стороны – со стороны “блудной дочери” – достижение собственного счастья за счет обманутого доверия и страданий другого человека. Такое разрешение нравственной коллизии прямо противоположно тому, которое чуть позднее предложил Пушкин в финальной коллизии “Евгения Онегина” (...). Однако Дуня – не Татьяна. (...) Дуня разрешила свой нравственный долг подобно Минскому: дала попу денег и Ваньке пяточок серебром (...); правда, еще на могиле отца поплакала» [Там же: 19].

По мнению Н.Н. Петруниной, станционный зритель считает истинным виновником случившегося – самого себя (поскольку он не сумел ни предвидеть бегства, ни привести домой “заблудшую овечку” свою). «Он (Вырин) не в силах повлиять на ход событий, но прежде чем склониться перед судьбой, пытается повернуть историю вспять, спасти Дуню от того, что представляется бедному отцу гибелью его “дитяти”. Герой осмысляет происшедшее и – более того – сходит в могилу от бессильного сознания собственной вины и непоправимости беды» [Петрунина 1987: 107]<sup>8</sup>. Впрочем, исследовательница не снимает вины и с Дуни: «Мы не знаем, чем обернулся для нее самой (Дуни) выбор, сделанный однажды без особого раздумья, быть может – “по ветрености молодых лет”. Ведомо нам одно: та цена, которую уплатил старый зритель за бездумно эгоистический молодой порыв своего дитяти. (...) И что известно читателю наверняка, ни радости, ни горе не заглушили в душе “прекрасной барыни” сознания дочерней ее вины» [Там же: 107].

Примерно такова же точка зрения М.Г. Бройде: «Дуне выпало испытание богатством. И испытания этого она не выдержала. (...) Завороженная признаниями и посулами гусара (...), Дуня, вероятно, перестала плакать, еще не въехав в Петербург. А там для нее начались радости любви и не изведанная ранее обеспеченная, беззаботная жизнь. Не мудрено, что она так быстро “отвыкла от прежнего своего состояния”. Отвыкла она и от отца, точнее – захотела отвыкнуть. (...) Дуня не могла более любить своего отца – олицетворение

<sup>8</sup> К мнению о виновности старого зрителя фактически примыкает также Г.П. Макагоненко: по его словам, “смирение, как показывает Пушкин, унижает человека, делает жизнь бессмысленной, вытраивает из души гордость, достоинство, независимость, превращает человека в добровольного раба, в покорную ударам судьбы жертву” [Макагоненко 1974: 148].

содянного ею зла» [Бройде 1999: 113–114]. М.Г. Бройде отказывает Дуне и в загробном примирении с отцом: она не специально приехала испросить прощения, а просто “проезжала”; кроме того, “оплакивать мертвых легче, чем жалеть живых: мертвым много не надо, в любви к живым приходится жертвовать многим” [Там же: 114–115].

Такова разногласия в ответах на вопрос “Отчего умер Самсон Вырин?”.

Попытаемся влести в нее и собственный голос, тем более что лингвисты, как кажется, в дискуссии не участвовали<sup>9</sup>. Между тем лингвистический подход способен дать свои результаты, принципиально отличные от тех, которые достигаются в традиционном литературоведческом анализе.

## II

Итак, посмотрим на коллизии глазами лингвиста.

Хотелось бы применить к конкретному художественному произведению методику исчисления рече-поведенческих тактик<sup>10</sup>, развиваемую нами на протяжении ряда лет<sup>11</sup>. Наиболее обстоятельной является публикация [Верещагин, Костомаров 1999]. Указанная методика, хотя и не может быть полностью объективной, все же значительно сокращает объем субъективных суждений исследователя.

С помощью этой методики мы, в частности, специально исследовали проблему д е л и к т а (вины любого рода) и его и з ж и в а н и я<sup>12</sup>, которая, как было показано выше, является центральной для выявления замысла Пушкина. Ниже речь пойдет о распространении на новый материал уже полученных и отчасти опубликованных результатов<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Обращение к Пушкинской тематике не является для соавторов случайным; см.: [Верещагин 1987; Верещагин 1988; Верещагин, Костомаров 1988б; Верещагин 1992; Костомаров 1999].

<sup>10</sup> В близком значении Н.Д. Арутюнова использует термин *речеповеденческий акт* [Арутюнова 1998: 643 и сл.].

<sup>11</sup> Первые попытки авторов совместно разработать лингвистический инструментарий для объективации духовной культуры восходят к началу 70-х гг., когда вышло в свет первое издание монографии “Язык и культура” [Верещагин, Костомаров 1973]. В развернутом виде концепция рече-поведенческих тактик впервые описана нами в статье [Верещагин, Костомаров 1988а: 54–61] и затем в 4-м издании указанной монографии [Верещагин, Костомаров 1990: 218–226]. За истекшее время методом РП-тактик были проанализированы рече-поведенческие ситуации: *актуальные (утешения* [Верещагин, Костомаров 1990: 218–223]; *советования* [Верещагин, Костомаров 1990: 228–230]; *угрозы* [Верещагин 1990: 26–32]; *призыва к откровенности* [Верещагин 1991: 32–43], в том числе в сопоставительном аспекте [Верещагин и др. 1992: 82–93]; *отношения к деньгам* [Vereschagin 1997: 223–233]; *обвинения и оправдания* [Верещагин, Костомаров 1999]) и *пережиточные (обличения светского властителя иерархом* [Верещагин 1995], *жизни в миру-общине* [Верещагин, Костомаров 1990: 223–226], *поведения в очередях* [Верещагин 1996: 15–26]). На материале художественной литературы мы рассматривали также и рече-поведенческую ситуацию *извинения* [Верещагин, Костомаров 1990: 136–140].

<sup>12</sup> Специально культуре деликта посвящена брошюра [Верещагин, Костомаров 1999]. Имеется в виду культура вины, греха и их изживания (т.е. *проступка, преступления, падения* [но также *невиновности, праведности и святости*]; *обвинения, обличения, разоблачения* [но также *наговора и очернения*]; *сожаления, раскаяния, покаяния* [но также *нераскаянности и коснения во зле*]; *извинения, прощения, исповеди* [но также *непримиримости и злопамятности*]; *наказания, страдания, искупления* [но также *ропота и возмущения*]; *жалобы, печалования* и т.д.). Культура деликта находит свое отражение во множестве рече-поведенческих тактик.

<sup>13</sup> Полная публикация предстоит в подготавливаемой монографии (имеется в виду 5-е издание “Языка и культуры”).

Ограничимся сейчас самой краткой, но достаточно общей информацией.

Понятие РП-тактики, противопоставляемое понятию РП-стратегии, определяется через смежные понятия типичной рече-поведенческой ситуации<sup>14</sup> и перлокутивно-цели. РП-тактика – это (в границах определенной рече-поведенческой ситуации) однородная по интенции и реализации линия поведения коммуниканта, входящая в его усилия ради достижения стратегического перлокутивного эффекта. Реализуя одну тактику, говорящий как бы ступает шаг за шагом: он выполняет ряд рече-поведенческих актов, и их сумма, при благоприятном исходе, приводит к успеху. Если же одна конкретная тактика unsuccessful, то применяется вторая, затем третья, четвертая и т.д., потом может иметь место возврат к первой и т.д. Скомбинировав несколько РП-тактик, коммуникант-1 добивается изменений в информированности, эмоциональном состоянии, взглядах и оценках коммуниканта-2 и влияет на его поведение.

Важно заметить, что РП-тактика вычленяется по признаку одного-единственного смысла. Представляя собой конденсированный интегральный смысл-интенцию, РП-тактика сама по себе, т.е. на глубинном уровне, – это *sensus purus*, но на поверхностном уровне она реализуется в вербальных (речевых) и невербальных (поведенческих) актах или, чаще, в их комбинации.

Как правило, РП-тактики социальные, т.е. свойственны всем носителям языка и культуры. На этом их качестве и покоится гипотеза, побудившая нас привлечь методику исчислений РП-тактик к индивидуальному художественному тексту. Если писатель заставляет своих персонажей говорить и действовать в согласии с социальными РП-тактиками, то это означает, что хотя бы часть смыслов индивидуального художественного текста оказывается общенародной и, следовательно, допускает строгую объективацию.

Во избежание терминологической путаницы хотелось бы подчеркнуть, что термин *социальность* (и *социальный*) используется нами в одном-единственном значении, а именно: **массовая распространенность определенной РП-тактики в среде носителей языка и культуры**. *Социальность*, в таком понимании, – это *общенародность*. *Социальная* РП-тактика противопоставляется у нас, с одной стороны, *групповой* (*сословной*, *классовой*, *конфессиональной* и т.д.) и, с другой, *индивидуальной*.

Художественные тексты новейшего времени покоятся на намеренной недосказанности, и читатель как бы приглашается в соавторы, – ибо писатель оставляет поле для домыслов.

Пушкин – наш современник, и социальные РП-тактики, к которым прибегают его персонажи, да и он сам, в своем большинстве не устарели, не утратили своей массовой распространенности и остаются внятными русским людям рубежа XX и XXI веков.

Семь действующих лиц “Станционного смотрителя” – Вырин, Дуня, Минский, хмельной ямщик, лекарь-немец, “пивоварова жена” и “мальчишка” Ванька – так или иначе выражают свое отношение к теме вины-деликта, приведшей к трагедии. Авдотья Самсоновна, правда, после бегства не произносит в повести ни слова и вплоть до своего возвращения на станцию\*\*\* не совершает ни одного поступка, но тем не менее, как будет видно (см. раздел IV), и к ней может быть приложена методика РП-тактик. Восьмой персонаж, присутствующий в повести, – рассказчик (“титularный советник А.Г.Н.”) – оценочных суждений не высказывает, а поступки от него и не могут ожидать.

<sup>14</sup> Типичной РП-ситуацией можно назвать регулярно повторяющийся (итеративный) “фрагмент социальной жизни”: приветствие, просьбу, благодарность, призыв к откровенности, ритуал обсуждения цены при частной покупке, соболезнование, недовольство, плохое самочувствие, говорение комплиментов, демонстрацию дружелюбия (или враждебности), ухаживание, энтузиазм (или сдержанность), приглашение, советование, запрещение (или разрешение) и т.д. Если придерживаться единого критерия при отграничении типичных ситуаций, то их список окажется исчислимым.

Итак, исследуем, как персонажи повести отвечают на вопрос “Кто виноват и в чем именно?”. РП-тактик выявилось много, и соответственно, ради экономии места, мы не можем подтверждать социальную природу (т.е. характерность для языка и культуры) каждой из них. По этой причине ограничимся демонстрацией их социальности только в пунктах 1–3 непосредственно следующего далее исчисления под шапкой “Смотритель”. По части, конечно, можно судить о всем целом.

Подтверждающие социальность РП-тактик речения набраны петитом. О том, как читать исчисления, сказано в сноске<sup>15</sup>.

### **Смотритель**

1. **обвиняет свое злосчастье:** “Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать”<sup>16</sup>.

Социальность, т.е. представленность этой РП-тактики в среде носителей русского языка и культуры, видна в том, что она актуальна и до сих пор<sup>17</sup>; данная РП-тактика реализуется в ряде узуальных (клишированных и полуклишированных) фраз: *Так уж, видно, на роду написано.; Чему быть, того не миновать.; Кому быть повешену, тот не утонет.; От судьбы не уйдешь.; Выше головы не прыгнешь.; Ничего не поделаешь!; Ничего не попишешь!; Такая судьба (планида)!; Что написано на роду, то и будет.* (и т.д.). За приведенными речениями<sup>18</sup>, включая поговорку в устах Вырина, кроется единственный смысл: *в беде виновата судьба.*

<sup>15</sup> Итог исчисления грамматически построен как фраза, фрагменты которой, называющие группу однородных РП-тактик, набраны **полужирным шрифтом**, а фрагменты, называющие сами тактики, – набраны *курсивом*. Так, результат следующего в основном тексте статьи первого исчисления прочитывается следующим образом:

#### **Смотритель**

1. **обвиняет свое злосчастье;**

2. **обвиняет самого себя**, потому что –

- *сам зашел в западню,*
- *не проявил осторожности (и)*
- *оказался глуп;*

3. **смягчает вину Дуни** (отчасти извиняет ее) –

- *ссылкой на свойственную молодости неопытность (и)*
- *упоминанием о том, что деликт совершен с сознанием его греховности;*

4. **обвиняет Дуню** –

- *в глупости,*
- *недальновидности,*
- *сознательном нарушении долга (и)*
- *нераскаянности (и т.д. по аналогии).*

<sup>16</sup> Здесь подспудно – и пронзительно! – звучит мотив Иова Многострадального (“Господь дал, Господь и взял” [Иов 1:21]).

<sup>17</sup> Здесь и повсюду далее речевые реализации, объективирующие определенную современную РП-тактику, даются как перечисление узуальных фраз. Эти фразы печатаются петитом и отделяются друг от друга точкой с запятой. Перед точкой с запятой, в конце речения, ставится тот знак препинания, который необходим (это могут быть восклицательный и вопросительный знаки, а также точка и многоточие). Речения, взятые из картотеки авторов, набираются курсивом; цитаты из художественных произведений печатаются прямым шрифтом и закавычены.

<sup>18</sup> Речение является клишированным, если оно целиком воспроизводится по памяти. Обычно это поговорки, поговорки, итеративные реплики: *Свет не без добрых людей.; До свадьбы заживет!; Дай подую! или Дай поглажу!* (так говорят ушибшемуся ребенку). Речение является полуклишированным, если оно содержит клише (в том числе устойчивое словосочетание) в каком-либо своем фрагменте (*Сам увидишь: свет не без добрых людей*) или состоит из преобразованного клише (*До свадьбы далеко – заживет сто раз*). Узуальные речения, допуская свободное варьирование, обычно бывают полуклишированными. Узуальное речение отвечает оценке “так говорят (имеется в виду: в данной ситуации)”.

## 2. обвиняет самого себя, потому что –

• *сам зашел в западню*: “Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром (...)”; «Дуня стояла в недоумении... “Чего же ты боишься? – сказал ей отец, – ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви”»;

*И кто толкал меня в ту подворотню! Сам сунулся.; Промолчать – так нет, полез с советами.; Знал, что опасно, и всё-таки рискнул! Вот и результат.; Я сам шел навстречу своей гибели* (и т.д.). Сергей Русанов рассказывает, как он потерял Веру Лагутину: “И можно ль поверить нелепости? Михаила (...) я сам подговорил ехать на торжественный бал (...). Глупец! Как было мне не понять, что если сам я им столь зачарован, то как избежать этих чар существу, которому по самой его природе надлежит был плененным силой и мужеством?” (О. Форш, Одеты камнем).

• *не проявил осторожности*: “Бедный смотритель не понимал, (...) как нашло на него ослепление (...)”;

*Все чуяли беду, один я ничего не замечал; И что бы мне не посмотреть сначала?; С открытыми глазами ничего не видел.; Нашло какое-то затмение, настоящий black-out* (и т.д.). “Шелк шелку ведь розь. / Да понадеялся он на русский авось” (Пушкин, Сказка о Балде).

• *оказался глуп*: “Бедный смотритель не понимал, (...) что тогда было с его разумом”;

*И на старуху бывает проруха; Мне и в голову не пришло, что заманивают.; Как не надо – умен, а тут дурак дураком оказался.; Пораскинуть бы умишком, а потом и соглашаться!; Русский человек задним умом крепок* (и т.д.) “Глупый ты бес, / Куда же ты за нами полез?” (Пушкин, Сказка о Балде).

## 3. смягчает вину Дуни (отчасти извиняет ее) –

• *ссылкой на свойственную молодости неопытность*: “Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать”;

*Что с него взять? Молодо-зелено, погулять велено; Шестнадцати еще нет: ветер в голове свистит/гуляет; Молод – исправлюсь.; Напроказил по молодости* (и т.д.). “Ты мог бы, пленник, обмануть / Мою неопытную младость” (Пушкин, Кавказский пленник).

• *упоминанием о том, что деликт совершен с сознанием его греховности*: “Дуня стояла в недоумении.”; “Ямщик, который вез его (Минского), сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала (...)”.

*Соврет – и не задумается.; Поначалу отказывался, но всё же пошел на дело.; Давай по рукам! Чего жмешься?; Не сомневайся – ничего тебе не будет!; Выпей, и забудешь думать!* (и т.п.) “Но так и быть: я сам себе / Противиться не в силах боле; / Все решено: я в вашей

РП-тактики, впрочем, не обязательно являются клишированными; важно, что они отсылают к какому-либо прецедентному тексту (дискурсу, знанию, событию, факту), являясь его “сверткой” или просто символом. Их можно мотивированно назвать *логоэпистемами* (λόγος “слово” и ἐπιστήμη “знание”; таким образом, итоговый смысл термина: “знание, хранимое в единице языка”). Логоэпистемы несводимы к известным лингвистическим категориям: это не слово или словосочетание, не фразеологизм или клише, не метафора или аллегория и т.д.; это знание, «несомое словом как таковым – его скрытой “внутренней формой, его индивидуальной историей, его собственными связями с культурой» [Костомаров, Бурвикова 1997: 17]. Логоэпистемы в принципе подобны Янусу: они принадлежат и языку, и культуре; их “можно назвать символами чего-то, стоящего за ними, сигналами, заставляющими вспомнить некоторое фоновое знание, некоторый текст” [Костомаров, Бурвикова 1999а: 69–76]. См. также [Костомаров, Бурвикова 1999б].

воле, / И предаюсь моей судьбе” (Пушкин, Евгений Онегин, гл. VIII: Письмо Онегина к Татьяне). “Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто” (Пушкин, Метель).

#### 4. обвиняет Дуню –

- в глупости: “Много их в Петербурге, молоденьких дур (...);”
- в недалёковидности: “Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге (...) сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу, вместе с голью кабацкою”;
- в сознательном нарушении долга: “Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою”. *Заблудившийся* – это сошедший с истинного пути помимо своей воли, а *зablудивший* – это *соблудивший*, сошедший с прямой дороги самовольно. В том, что Дуня не была похищена насильственно, смотритель не мог сомневаться, – ямщик сказал ему определенно, что Дуня “ехала по своей охоте”;
- в нераскаянности: “Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы”.

Виновность дочери настолько тяготит смотрителя, что он прибегает к РП-тактике уклонения от тяжелого разговора: «“Здорова ли твоя Дуня?” – продолжал я. Старик нахмурился<sup>19</sup>. “А Бог ее знает”, – отвечал он. “Так, видно, она замужем?” – сказал я<sup>20</sup>. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы<sup>21</sup>».

#### 5. обвиняет Минского в том, что он –

- притворщик: «...он (Вырин) тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная»;
- похититель чужого: «Ваше высокоблагородие! (...) Что с возу упало, то пропало»;
- сластолюбец: «Ведь вы натешились ею»;
- душегуб: «Не погубите ж ее понапрасну»;
- подлежит судебному или административному преследованию: «Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступить». Вырин явно считает, что основания для жалобы по начальству есть, иначе он просто не стал бы и думать. Отступает он только потому, что не верит в возможность добиться правды»;
- низкий человек, желающий откупиться. После разговора с Минским смотритель у себя за обшлагом обнаруживает деньги: «Слезы опять навернулись на глаза его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел». Перед нами знаковое поведение: не просто выбрасывают, а втаптывают в грязь предмет, вызывающий ненависть и презрение. Хотя через какое-то время Вырин одумался и хотел было подобрать ассигнации (да было уже поздно!), он совсем не похож на Мельника, отца еще одной блудной дочери (из незаконченной Пушкинской драмы «Русалка»), который готов удовлетвориться отступным<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> = ему неприятен вопрос.

<sup>20</sup> Рассказчик высказывает правдоподобную догадку: Дуня, выйдя замуж, укатила далеко, так что ежедневные контакты между отцом и дочерью прекратились, – отсюда он не знает, здорова ли Дуня “сейчас”. Рассказчик сделал вид, будто не понял реплики “А Бог ее знает!” (= “не знаю и знать не хочу”).

<sup>21</sup> = Вырин добился своего.

<sup>22</sup> ...ба, ба, ба! какая

Повязка! вся в камнях дорогих!

Так и горит! и бусы!.. Ну, скажу:

Подарок царский. Ах он благодетель!

А это что? мошонка! уж не деньги ль?

Отметим, что в разговоре с Минским зритель не столько *обвиняет* ротмистра, сколько *упрашивает* его. Вырин прибегает к следующим эллиптическим<sup>23</sup> тактикам:

- *увещевание с апелляцией к Богу*: «...он (Самсон Вырин) дрожащим голосом произнес только: "Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!»;
- *осознание невозможности вернуться к доделиктному состоянию*: "Ваше высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу упало, то пропало...»;
- *согласие на хотя бы частичное восстановление доделиктного состояния*: «...отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню».

Ротмистровы тактики *отказа* таковы:

- он не замышляет зла: «...не думай, чтоб я Дуню мог покинуть»;
- объективно лучше не исполнить просьбы: «...она (Дуня) будет счастлива»;
- исполнение просьбы не принесет пользы просителю: «Затем она тебе?»;
- отказ совершается в интересах третьего лица: «Она меня любит, она отвыкла от прежнего своего состояния»;
- в перспективе исполнение просьбы обернется бедой: «Ни ты, ни она – вы не забудете того, что случилось».

Хочется отметить, что противоположно направленные РП-тактики (например, упрашивания и отказа) отнюдь не нарушают Принцип Кооперации Грайса [Грайс 1985: 222 и сл.]. Действительно, в дискурсе соблюдаются все вытекающие из Принципа постулаты – например, истинности и релевантности (связности речи). Что же касается эстетических, социальных и моральных постулатов, то сам Грайс отмечал, что они релятивны и меняются на противоположные в зависимости от обстоятельств.

На этом заканчивается рассмотрение РП-тактик выявления деликта и оправдания, к которым прибегнул бедный отец блудной дочери. На очереди – следующие персонажи повести.

### **Ротмистр Минский**

#### **1. обвиняет самого себя –**

- *эксплицитно признав свою вину*: «...виноват перед тобою...»;
- *понимая, что явился причиной несчастья*: «Что сделано, того не воротить, – сказал молодой человек». Вина, правда, не названа, а всего лишь имплицитно указывается: действительно, за определенным счастливым состоянием X наступило бедственное состояние Y (из которого уже нет пути назад); ergo, человек, разрушивший состояние X и вызвавший состояние Y, – виновен, а если состояние Y оказалась необратимым, то он сугубо виновен;
- *испытывая чувство стыда*: «...сказал молодой человек в крайнем замешательстве»; (при виде Вырина) «Минский {...} вспыхнул». Поскольку Минскому стыдно, он отказывается от дальнейших встреч со зрителем: «...дню через два воротился он (Вырин) к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос»;
- *но одновременно считая свою вину извинительной*: «...и рад просить у тебя прощения...»;
- *потому что берет на себя благородные обязательства*: «...даю тебе честное слово»;
- *потому что прибегает к компенсации*: «Потом, сунув ему что-то за рукав, он (Минский) отворил дверь».

#### **2. обвиняет зрителя (заведомо ложно<sup>24</sup>) –**

- *в том, что тот преследует Минского*: «Чего тебе надобно? – сказал он (Минский) ему, стиснув зубы, – что ты за мною всюду крадешься {...?»;

<sup>23</sup> Упрашивание состоит из эллиптических речевых актов, а его перлокутивная цель заключается в стимулировании некоторого поведения адресата.

<sup>24</sup> Т.е. Минский сам понимает, что его обвинения – ложны.

- *способен его ограбить*: «...крадешься, как разбойник?»;
- *желает лишить его жизни*: «...или хочешь меня зарезать?».

Заведомо абсурдные обвинения-напраслина (в них извращаются внутренние мотивы внешнего поведения облыжно обвиненного), как обычно бывает, служат цели затушевать собственное замешательство и хотя бы для вида сделать виноватым того, перед которым очернитель сам виноват. Эта напраслина позволила Минскому «задрожать от гнева»: «... "Пошел вон!" – и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу».

### Лекарь

**обвиняет Минского –**

- *в притворстве*: «Он (лекарь) уверил зрителя, что молодой человек был совсем здоров (...)»;
- *в злом умысле*: «...уверил зрителя, что (...) тогда еще догадывался он о его злобном намерении»;
- *в готовности к рукоприкладству*: «...догадывался о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки».

### Хмельной ямщик –

1. **возлагает вину на Дуню** (а не на гусара), потому что она

- *действовала по своей воле*: «Наконец, к вечеру приехал он (ямщик) (...) с убийственным известием: "Дуня с той станции отправилась далее с гусаром"»; «Ямщик (...) сказывал, что (...) Дуня (...) ехала по своей охоте».

2. **смягчает вину Дуни**, так как она

- *горевала*: «Ямщик (...) сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала».

### «Жена пивоварова» –

**обвиняет зрителя**: «"Отчего ж он умер?" – спросил я пивоварову жену. – "Спился, батюшка", – отвечала она».

### «Рыжий и кривой» Ванька –

1. (неосознанно<sup>25</sup>) **обвиняет Авдотью Самсоновну** в бесчувствии (потому что та, утратив связь, даже не знала о смерти отца): «...ей сказали, что старый зритель умер...»;

2. (неосознанно) **оправдывает ее**

- *поскольку она все же в конце концов вспомнила об отце*: «Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом зрителе»;
- *горюет об отце*: (узнав о смерти зрителя) «она заплакала и сказала детям: "Сидите смирно, а я схожу на кладбище"»;
- *поминает отца по-церковному*: «А потом барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег». Здесь, вероятно, имеются в виду два смежных, но все же различных события: «призвала священника – значит, пригласила его отслужить панихиду или хотя бы заупокойную литию над могилой (вероятно, в ее присутствии); «дала ему денег» – внесла сумму, достаточную для «вечного поминовения» покойника в сельском храме»;
- *испросила у отца прощения*: «Она легла здесь (на могиле зрителя) и лежала долго». «Лежать на дорогой могиле – черта крестьянская, как выражались современники Пушкина – "простонародная"» [Берковский 1985: 94]. Народное лежание на могиле непременно (и сейчас) сопровождается *про́щей* – испрашиванием у покойника прощения за все прегрешения перед ним, (говоря по-церковному) «вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением».

Такова разногласица персонажей. Каждое суждение отражает личную точку зрения действующего лица. Рассказчик выступает как объективный наблюдатель и фиксирует реплики и мысли, которые, в общем и целом, предсказуемы, поскольку

<sup>25</sup> Мальчик наивно излагает факты, а нравственную оценку им должны дать читатели.

продиктованы логикой развития сюжета и индивидуальностью персонажа (его социальным положением, возрастом, темпераментом, умением проникать в суть происходящего и т.д.).

Едва ли Пушкин передал кому-либо из персонажей свой собственный взгляд. Думать так тем более неосновательно, что поэт заставил каждого из своих героев занять собственную позицию. Их суждения невозможно интегрировать и подвести под общий знаменатель.

### III

Как известно, седьмое действующее лицо «Станционного смотрителя» Авдотья Самсоновна после побега не совершает (по отношению к отцу) поступков, – совсем никаких. Она исчезает для него, причем в земной жизни – навсегда.

По нашему предположению, разгадка замысла Пушкина кроется именно в **бездействии** Дуни после того, как она «по своей охоте» «отправилась далее с гусаром».

Кроме того, мы полагаем, что показательно не бездействие само по себе, а бездействие **на фоне** определенной нравственно-поведенческой **парадигмы**, которая в определенной типовой жизненной ситуации предписывает ряд поступков.

Конкретная парадигма, имеющая прямое отношение к ситуации станционного смотрителя, – **задана** евангельской **Притчей** о блудном сыне, картинки на темы которой украшали «смирненную обитель» станционного смотрителя.

Три предшествующих фразы содержат гипотезу. Она в дальнейшем подлежит верификации. Предварительно, однако, для отчетливого изложения нашей точки зрения необходимо систематизировать ряд общих положений:

во-первых, рассмотреть, в свете Textsortenlehre, признаки **п р и т ч и**, отличающие ее от других нарративов, и, в частности, исследовать притчевую поведенческую парадигму;

во-вторых, ввести понятие **а б с т и н а т и в н о й** (= воздержательной) РП-тактики (в отличие от РП-тактики, которая имеет внешнее выражение) и показать, какая информация сообщается человеком, когда он **не** совершает ожидаемого от него поступка (в том числе речевого);

в-третьих, выявить смысловую, в том числе нравственно-богословскую, специфику Притчи о блудном сыне, как она рассказана в Евангелии и пересказана Пушкиным.

**Притча** (ивр. פֶּסָלָה, греч. παραβολή, лат. parabola) – это нравственно-дидактический жанр нарратива (Textsorte), типизирующий **ж и з н е н н ы е с и т у а ц и и** (т.е. выявляющий сходство между ними) и построенный на приеме **а л л е г о р и и**<sup>26</sup>.

Условимся под **ж и з н е н н о й с и т у а ц и е й** понимать любую коллизию (или конфликт) во взаимоотношениях между людьми. Жизненная ситуация подлежит высшей этической оценке: кто прав, кто виноват. Конкретные жизненные ситуации не совпадают точь-в-точь, но все же путем отвлечения-абстрагирования замечается общее, повторяющееся (т.е. типическое) в тех из них, которые по существенным признакам между собой сходны.

<sup>26</sup> Литература вопроса необозрима. «Устройство» притчи (Gleichnis) наиболее обстоятельно разработано в концепции Formgeschichte (см., например, [Berger 1984]). Энциклопедическую статью с обширной библиографией см. [Peisker 1993: 583–589]. Хороший анализ интересующих нас притч «об утраченном» (Мф 18 : 12–14; Лк 15 : 1–32), в том числе и Притчи о блудном сыне (Лк 15 : 11–32), см. [Linnemann 1975: 70–87].

Литературный прием, когда некоторая умозрительная (например, нравственная) идея выступает в живом образе, известен под именем а л л е г о р и и (иносказания). Аллегория в притче всегда обладает свойством с и м и л я т и в н о с т и: «похожесть» образа и идеи, в том числе и конвенциональная, позволяет осуществить перенос содержания притчи на другие сходные жизненные ситуации. Притча состоит из двух частей: художественно-образной (повествования) и нравоучительно-наставительной (толкования), и даже если вторая часть реально отсутствует (т.е. толкование предоставлено адресату), все же без нее параболический жанр невозможен (притча тем и отличается от других видов нарративов, что не исчерпывается повествованием).

Приведем показательный пример. «В одном городе были два человека: один богатый, а другой бедный; у богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и была для него как дочь; и пришел к богатому странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить [обед] для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему» (2 Цар 12 : 1–4).

Без толкования перед нами – повествование о конкретном, частном происшествии. Если же прибавить обобщающее и типизирующее толкование, то нарратив становится притчей: не раз и не два бывало (есть и будет), что сильный богатый по произволу отбирает у беззащитного бедного его последнее достояние.

Царь Давид, которому пророк Нафан предложил это повествование поначалу без толкования, воспринял рассказ как реальный казус: «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, а за овечку он должен заплатить четверо (...)» (2 Цар 12 : 5–6). И в этот момент пророк открывает перед царем, что он, собственно, имел в виду совсем не каких-то неизвестных людей (богача и бедняка), а людей известных (самого Давида и его верного раба Урию Хеттеянина) и не зарезанную овечку, а красавицу Вирсавию, нынешнюю жену царя, уже успешную родить ему сына. «И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек, [который сделал это]. (...) Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жены» (2 Цар 12 : 7, 9). Здесь необходимо располагать предшествующим фоновым знанием: пророк пришел к царю после того, как тот отнял жену (эту самую Вирсавию) у воина Урии и даже устранил его, приказав поставить в бою на самое опасное место (2 Цар 11 : 2–27).

Рассказ об овечке потребовался пророку только ради дидактической функции, т.е. ради нравоучения. После истолкования Нафана царь и сам увидел в истории произвола богача полную аналогию тому, что совершил, и покаялся перед обличителем, и наложил на себя пост, и с готовностью принял наказание.

Не повторяются ли ситуации самовласти богатых? Мы, несомненно, видим повторение смысла притчи Нафана и в той жизненной ситуации, в которой оказался стационарный зритель: кроме Дуни, у него не было иного достояния; вторгается богач и отбирает эту самую овечку, которая «выросла у него» и которая была для него, в отличие от ситуации ветхозаветного владельца овечки, не «как дочь», а именно дочь.

Из приведенного примера видно, что притча имеет два аспекта – р е т р о - с п е к т и в н ы й (потому что она подытоживает целый ряд ситуаций, имевших между собой общие, повторяющиеся, т.е. типические, черты) и п е р с п е к т и в н ы й (потому что слушатели способны применить содержание притчи к новой конкретной ситуации, в которой оказались). Таким образом, характерной чертой притчи является то, что она панхронически т п и з и р у е т жизненные ситуации – как прошлого, так и настоящего, так и будущего.

Персонажи притчи выступают как субъекты нравственного выбора и соответственно – нравственной оценки. Собственно, притчевый рассказ, отражающий жизненные ситуации, подтверждает сентенцию: (в области человеческих взаимоотношений) «что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1 : 9). Зло из мира неустранимо, но тем не менее: «Уклоняйся от зла и делай добро» (Пс 33 : 15).

Обратим внимание на то, что притча, наряду с функцией типизации жизненных ситуаций, имеет еще одной целью управление поведением адресата. Именно

поэтому притча столь широко используется в богооткровении, особенно через пророков<sup>27</sup>.

Действительно, притча эксплицитно содержит парадигму поведения, т.е. она, притча, описывая реальное поведение персонажей, одновременно этически оценивает его. Притча – тенденциозна: она одобряет или осуждает и, в случае неодобрения, предписывает, как следовало бы вести себя «правильно». Богач, укравший овечку, не покаялся; его поведение «неправильно», и светский правитель осуждает его на смерть. Более того, в свете притчи может быть однозначно оценено и поведение участников новой конкретной ситуации: царь Давид покаялся, и заслужил благоволение божества<sup>28</sup>; с точки зрения притчи, рассказанной Нафаном, ротмистр Минский подлежит осуждению (тем более что он за дни «болезни» в доме Вырина мог убедиться в том, насколько дорога зрителю его Дуня).

Таким образом, притча не только отражает типичные жизненные ситуации, но и задает парадигмы поведения в них. Парадигмы эти бывают позитивными и негативными, они получают этическое одобрение или не получают его.

Сейчас будет введено понятие абстивной рече-поведенческой тактики, но предварительно обратимся к еще одной притче. На сей раз имеется в виду евангельская парабола, на которую Пушкин указывает всего одной фразой, но от этого не менее отчетливо. Между тем в имеющихся в литературе вопросах интерпретациях "Станционного зрителя", даже и серьезных, – *nomina sunt odiosa* – ее отождествляют неправильно.

Фраза "Авось, – думал зритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою" иногда воспринимается как еще одна отсылка к Притче о блудном сыне. Однако, на самом деле эта фраза отсылает к Притче о заблудшей овце (Мф 18 : 12–13, Лк 15: 3–7). Правда, притча о заблудшей овце сопряжена с Притчей о блудном сыне, поскольку они обе входят в цикл притч "об утраченном" (*vom Verlorenen* [Linnemann 1975: 70]), – этот цикл имеется только у ап. Луки<sup>29</sup>.

В Притче об овце представлено поведение Отца небесного и вообще – парадигматически – любого отца в ситуации, когда его чадо утратило ориентиры: "Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся (и шѣдъ ѣцетъ заблудшюу)? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней больше, чем о девяноста девяти незаблудившихся (не заблудшюу). Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих" (Мф 18 : 12–14). Примечательно, что в славянском тексте притчи дважды употреблена лексема (*заблудшюу*), которую Пушкин вложил в помышление Вырина; иными словами, Пушкинская отсылка именно к Притче о заблудшей овце не подлежит никакому сомнению.

Вырин, обосновывая (для самого себя) мотивы ухода в Петербург, – может быть, подсознательно, но всё же совершенно отчетливо – опирается на эту Притчу и поступает в согласии с парадигмой, содержащейся в ней. Его овечка заблудилась, и он, всё оставив, отправляется на ее поиски. Вырин ведет себя так, как продиктовано моралью. Надо подчеркнуть, что предписание, чтобы отец шел на помощь своему дитяти, – это (как бы ни судить о генезисе императива) требование общераспространенной и, в частности,

<sup>27</sup> Ср.: «Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков *употребляя притчи* (= *פֶּתָחַ*; букв. *делал уподобления*)» (Осия 12 : 10). [Так в синодальном русском переводе, восходящем к масоретскому тексту; в славянской Библии, восходящей к Септуагинте, дана другая, менее вразумительная, версия: *и въ рѣкъхъ прорѣческихъ оуподобихсѧ.*] Развернутое обоснование закономерности использования в Свщ. Писании метафор предложил Фома Аквинский (Сумма теологии, часть I, вопрос 1, статья IX). Он же (в следующей, X-й, статье) показал, что слова Свщ. Писания, наряду с «четверичным значением» (имеются в виду смыслы: исторический, или буквальный, аллегорический, аналогический, тропологический, или моральный), в некоторых случаях могут иметь еще пятое значение – именно *параболическое* [Фома Аквинский 1999: 82–86].

<sup>28</sup> Хотя первый ребенок царя от Вирсавии умер, все же именно к браку с Вирсавией восходит родословие Иисуса Христа.

<sup>29</sup> В цикл входит еще и третья притча – о потерянной драхме (Лк 15: 8–10).

вытекающей из православного нравственного богословия морали (см. подробнее [Попов 1901]).

Вторая притча понадобилась нам не только для того, чтобы выявить ее роль в "Станционном смотрителе", но и ради демонстрации рече-поведенческого явления, названного нами абстинативной РП-тактикой.

Представим себе, что Вырин, узнав о бегстве дочери, никак бы не реагировал на него: не слез бы в постель, не отправился бы на поиски дочери, а продолжал бы принимать подорожные и жить своей обычной жизнью. Вследствие распространенности требования "Отец должен спасти свое дитя" подобное поведение было бы воспринято как аномалия. Сторонний наблюдатель отметил бы: *Единственная дочь пропала, а ему хоть бы что!*; *Шагу не ступил (палец о палец не ударил), чтобы вызволить Дуню!*; *Он и не горюет нисколечко!*; *Другой бы всё бросил и кинулся на выручку, а он – нет!*; *Сделал вид, словно ничего не случилось!* и т.д.

В подобных случаях окружающие (обычно безотчетно) отмечают в поведении человека отсутствие некоторых действий, считающихся обязательными, а когда им приходится сообщать о жизненной ситуации, они специально упоминают в сообщении о том, что именно **не** случилось, **не** произошло, **не** имело места. Этим поименным перечислением выявляется, что в коллективной ментальности членов определенной национально-культурной общности есть представление о некотором наборе н о р м а т и в н ы х (=типовых, "обычных", "естественных" "нормальных") реакций в той или другой жизненной ситуации. Когда же "нормальной" реакции не наблюдается, нулевое поведение, в том числе и речевое (молчание), становится знаковым.

Ср. небольшую коллекцию современных реплик:

*Ей ученики в глаза дерзят, а она [учительница] слова не скажет.* Имплицируется: (в нормативной ситуации) учительница обязана пресекать дерзости учеников. Тема сообщения состоит в том, что адресант отмечает отклонение от нормативного поведения, а это отклонение в свою очередь позволяет судить о человеке, который воздерживается от общепринятой тактики (учительница, может быть, молода, неопытна или, может быть, она не обладает характером).

*Ни один мускул не дрогнул на его лице.* Имплицируется: (в нормативной ситуации) на лице должна отобразиться определенная эмоция (страх, горе, радость и т.д.).

Иногда нормативная реакция прямо указывается адресантом: *Мать стойко перенесла удар: не повалилась, не зарыдала.*

В дальнейшем выражение н о р м а т и в н а я с и т у а ц и я записывается аббревиатурой Nm (лат.agma "правило, предписание").

Нормативные ситуации членятся на общепринятые и на социально-групповые. Если перед нами Nm первого рода, то в с е члены определенной культурно-языковой общности обязаны вести себя одинаковым образом; три вышеприведенных примера относятся к культурно-обусловленным нормативным ситуациям.

Напротив, реплика: *Ну, думал, – всё: завтра же донесет. Нет, не донес.* Отражает социально-групповую Nm: общепринятая в русской среде мораль запрещает доноительство, но есть группа лиц, которым оно, видимо, свойственно, – поэтому отмечается, что, прибегнув к абстинативной РП-тактике, конкретный денунциант нарушил поведенческую норму группы, в которую входит. Характерно, что лицо, индивидуальное поведение которого (вследствие его вхождения в группу) в некотором аспекте отлично от общепринятого, получает номинацию по соответствующему категориальному признаку, – *болтун, брызга, доносчик, драчун, забияка, мот, наглец, наркоман, насмешник, нахал, плакса, повеса, попрошайка, пьяница, сквернослов, скупердяя, хулиган, ябедник* и т.д. Иногда адресант называет сообщество людей, к которому принадлежит он сам или третье лицо (о котором идет речь), чтобы обозначить ожидаемое от него поведение: *Как Вы мне не верите? Между прочим, Вы говорите с профессором!* [Nm: на слова профессора можно положиться]; *Не женись на Машке! На лице написано: хищница.* [Nm: хищница способна разрушить брак]; "Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не видя, умереть" (Есенин) [Nm: горький пропойца может неожиданно умереть]. Примечательно, что социально-групповые нормы как правило отрицают общепринятые нормы или, по крайней мере, существенно отличаются от них.

Ср. ряд современных реплик, отражающих абстинативные поведенческие тактики: *Мишка, пьяный, тут же опрокинул соус. Никто даже не взглянул в его сторону.* [Nm: на происшествие обращают внимание]; *Рассказывает – все лежит, а сам не улыбнется ни разу.* [Nm: юморист, рассказав анекдот, смеется вместе со слушателями]; *В глаза врешь и не краснеешь* [Nm: лгущий человек обычно краснеет]; *Хоть бы извинился – куда там!*; *Часами говорит и не запиается ни разу.*; *Что ты стоишь, как вкопанный? Беги скорее!*; *Плюй ему в глаза – для него всё Божья роса.*; *Выпил – и не поморщился.*; *Сделает гадость и не стесняется лезть с поцелуями!*; *Мне бы исчезнуть незаметно, а я остался.*; *Неужели не волнуешься? Ведь решается твоя судьба!*; *Да ты еще улыбаешься! Как ты можешь!*; *Бутылку выпил – и ни в одном глазу!* и т.д. «Сняла решительно пиджак брошенный. / Казаться гордою хватило сил. / Ему сказала я: "Всего хорошего", / А он прощения не попросил» (из песни).

С точки зрения грамматической формы, абстинативные РП-тактики не всегда описываются через конструкции, содержащие отрицание. Тем не менее глаголы и словосочетания с семантикой бездействия типа *промолчал, сдержался, овладел собой, продолжал (сидеть, улыбаться)* легко переводятся во фразы, называющие несостоявшееся действие: *не сказал ни единого слова*<sup>30</sup>, *не вскипел* и *не взорвался*, *не встал*, *не перестал улыбаться* и т.д.

Отсутствие некоторых ожидаемых поступков и реакций обычно тщательно фиксируется в художественной литературе, поскольку оно позволяет судить о внутреннем мире персонажей.

В частности, этот феномен исследован Пушкиным в повести "Выстрел". Сильвио следит за поведением на дуэли графа Б\*\*\*: "Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит?" Во время второго поединка Сильвио вплоть до возвращения графини опять-таки не видит на лице своего противника никакой тревоги: тот даже пытается ускорить свою смерть. Об этом мы знаем со слов самого графа: "Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он (Сильвио) медлил – он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить". Лишь когда в комнату вбежала Маша и Сильвио стал прицеливаться при ней, он, наконец, заметил ожидаемую ("нормальную") реакцию: "...я видел твое смятение, твою робость; {...} с меня довольно"<sup>31</sup>.

Собственно, опираясь на, пусть неотчетливую, общезыковую семантику, сам термин – абстинативные тактики – мы уже ввели (явочным порядком). Теперь, подытоживая, дадим дефиницию. Пусть РП-тактики, согласно которым один из участников жизненной ситуации **не совершает нормативных** (ему предписываемых и ожидаемых окружающими) культурно- или индивидуально-обусловленных **действий**, называются тактиками воздержания или, поскольку для дальнейшего необходимо терминологическое прилагательное, – абстинативными тактиками<sup>32</sup>.

Абстинативные тактики, конечно, отличаются от тактик, получивших внешнее выражение, но в аспекте коммуникации те и другие равнозначны. Отсутствие не-

<sup>30</sup> Ср. в Евангелии: [Христос] "не отвечал ему [Пилату] ни на одно слово, так что правитель весьма дивился" (Мф 27 : 14) [Nm: на обвинения подсудимый обычно отвечает].

<sup>31</sup> Первая глава повести "Выстрел" имеет для Пушкина автобиографический характер. В ней отразились обстоятельства его собственной дуэли в Кишиневе (июнь 1822 г.) с офицером Зубовым. По рассказам, на поединке с Зубовым Пушкин "явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял" [ПСС, VI: 759].

<sup>32</sup> Лат. *se abstinere* "воздерживаться (от какого-либо ожидаемого) действия"; ср. *абстинент*.

которых поступков – это тоже поступок и, в частности, молчание – это, хотя бы и нулевая, но всё же речь. Так, в зависимости от ситуации молчание бывает знаком то согласия, то несогласия, то возмущения, то пораженности, то недогадливости, то робости, то нежелания говорить с кем-либо и т.д.

Абстинативные РП-тактики играют особо важную роль на фоне притчевой морали, ибо она, эта мораль, – при условии ее распространенности в обществе, – диктует одному из участников жизненной ситуации, как себя вести и от какого поведения воздерживаться, и, с другой стороны, формирует поведенческие ожидания-экспектации у сторонних наблюдателей.

Обратимся теперь к Притче о блудном сыне (ПБС).

Пушкин, безусловно, мог бы положиться на память своих читателей. но, видимо, история блудного сына была настолько важна для повествования о судьбе бедной Дуни, что поэт решил, не жалея места, "своими словами" пересказать евангельский текст. Пересказ Пушкина является пунктирным: он пропускает некоторые сюжетные звенья, – стало быть, всё же рассчитывает на фоновые знания тогдашней российской читающей публики.

Заметим кстати, что ПБС интересовала Пушкина и до написания "Станционного смотрителя". Эта последняя повесть сопряжена с начатым раньше ее и не доведенным до конца прозаическим сочинением, известным как "Записки молодого человека". Видимо, отказавшись от мысли когда-либо дописать эти "записки", Пушкин предполагал включить – и действительно включил – в "Смотрителя" несколько фрагментов из покинутой вещи. Так, те картинки, которые рассказчик рассматривает в "обители" Самсона Вырина, в рукописи "Смотрителя" отсутствуют, но на соответствующем месте помечено: "Из записок молодого человека". Этот фрагмент и был перенесён почти слово в слово (в "Записках" он немного пространнее).

Картинок, которые рассматривает "титулярный советник А.Г.Н.", всего четыре.

"В первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами". "В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами". "Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние". "Наконец, представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости".

В "Станционном смотрителе" внимание читателя к картинам привлекается и во второй раз. Рассказчик попадает на ту же станцию через несколько лет: "Лошади стали у почтового домика. Вошел в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына".

Пушкин нигде этого в явном виде не говорит, но столь значительное композиционное место картинок как бы подталкивает приложить их, а с ними и Притчу о блудном сыне, к жизненной ситуации Авдотьи Самсоновны.

#### IV

Сопоставим теперь парадигматичное поведение Блудного сына из Притчи и отклоняющееся от него поведение "заблудшей овечки" (или Блудной дочери<sup>33</sup>) из "Станционного смотрителя". Анализ смысловых компонентов ПБС сочетается у нас с

<sup>33</sup> В пушкиноведческой литературе Авдотью Самсоновну не без оснований обычно именуют Блудной дочерью (последний пример – [Бройде 1999]).

анализом абстинативных РП-тактик, которых держалась Дуня вплоть до своего приезда на могилу отца.

Общее между ними в том, что и Блудный сын и Блудная дочь одинаково покидают любящих отцов и решаются на порочную жизнь. Общее между ними также в том, что и Блудный сын и Блудная дочь – одинаково возвращаются домой и испрашивают у отцов прощения (по христианскому вероучению, покойники – живы; стало быть, Самсон Вырин, пусть и за гробом, знает о раскаянии дочери). Если взять только начальную и конечную точки ПБС и "Станционного зрителя", то они совпадают, и может показаться, что Пушкин, сменив одежды персонажей и приняв меры, чтобы избежать явных повторений, просто-напросто пересказал евангельскую притчу. Может сложиться впечатление, что Дуня в целом следует парадигме Блудного сына: согрешив<sup>34</sup>, она покаялась.

На самом же деле Пушкин вступает в явную полемику с ветхозаветным Законом и далеко отходит от поведенческой парадигмы ПБС.

**Во-первых**, Блудный сын раскаивается под влиянием жизненного **краха**. Остается переменить знаки плюс на знаки минус: под влиянием жизненного **успеха** Блудная дочь **не** раскаивается и **не** возвращается домой.

Поэт лишает Дуню внешнего стимула к покаянию.

В свете пятой заповеди Декалога (Исх 20: 12)<sup>35</sup> лишь почтительному к родителям сыну уготовано земное преуспеяние и долголетие, тогда как непочтительный неминуемо потерпит крах. Эту, довольно прямолинейную, связь наблюдаем в ПБС: Блудный сын *расточѣ ѿмѣнѣ своѣ ѿ начатѣ лишѣтисѧ*; он произносит слова, которые звучат пронзительно не только в оригинале: ἐγὼ δὲ λιμῶ ἀπόλλυμαι, но и в церковнославянском переводе: *ѧзъ же глѧдомъ гѣблю* (Лк 15 : 13–14, 17). Между тем Дуня, бежав с гусаром, совсем не оказывается на улице, и ей не приходится якшаться с "голю кабацкою". Став барыней, Авдотья Самсоновна "ехала в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной москвою".

Поскольку внешний жизненный успех, если взглянуть на него sub specie aeternitatis, совсем не равноценен успешно прожитой жизни, может быть, для нравственности Дуни (и уж определенно для Самсона Вырина) было бы лучше, если бы перспектива гибели от глада заставила Блудную дочь одуматься. Таков, кстати сказать, императив слабой (общепринятой) этики: Бог вразумляет несчастьями и наставляет на путь истинный.

Существует и мотивация в свете сильной (собственно христианской) этики. Если бы Дуня вернулась к отцу на фоне полного благополучия, а не гонимая нуждой, – это был бы поступок, лишенный внешнего мотива, не вынужденный, а свободный, мотивированный не заботой о себе ("некуда деваться"), а исключительно чувством любви к родителю.

Можно думать, что Пушкина интересовал сам феномен деятельной любви к родному дому. Об этом косвенно свидетельствует сделанная им выписка из январского тома Миней-Четии митр. Димитрия Ростовского.

Под 15 января, в Житии преп. Иоанна Кушника, рассказывается о том, как юный монах, ушедший из дома в обитель и хорошо прижившийся там, смертельно тоскует по родителям и в конце концов возвращается в родной дом. Выписка берет за душу, и мы ниже ее воспроизводим (в Пушкинском объеме, но с полным соблюдением всех особенностей церковнославянского печатного текста по изданию 1759 г. [которое и могло быть в распоряжении поэта]):

<sup>34</sup> С религиозной точки зрения, грех – это искажение замысла Бога о человеке, созданном по образу и подобию Божию.

<sup>35</sup> Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе".

Вложи оубо ѣмѣ мысль ѡ родителехъ, ѡкѡ жалостно сокрѣшатиса срѣцѣ ѣгѡ, воспоминающе велико Оца и матре любовь, юже къ немѣ имѣша, и глаше ѣмѣ помысли: что нынѣ творятъ родители твои безъ тебе, колику многую имѣтъ скорѣ, и тѣгѣ, и плачь ѡ тебе, ѡкѡ не вѣдѡщимъ имъ ѡшѣлъ еси: Отецъ плачетъ, мать рыдаетъ, братиа сѣтѡютъ, сродницы и ближнии жалѣютъ по тебе, и весь домъ Оца твоегѡ въ печалии есть тебе радн. Ещѣ же воспоминаше ѣмѣ лѡкавыи богатство и слава родителей, и чѣсть братиѣ ѣгѡ, и различнаа мѡрскаа сѣтствѣа во оумъ ѣгѡ привождаше: день же и ноць непрестанно таковыи помыслими смѣщаше ѣгѡ, ѡкѡ оуже изнемоци ѣмѣ теломъ, и ѣае живѣ бѣгги: Ово во ѡ великагѡ воздержанѣа и иноческихъ подвиговъ, Ово же ѡ смѣщенѣа помысливъ, изше ѡкѡ скудѣа крѣпость ѣгѡ, и плоть ѣгѡ бѣ ѡкѡ трѡсть вѣтромъ колебелема [Книга житѣи 1759: л. сѣа об.].

Как бы то ни было, Блудной дочери любовь к родному дому явно чужда, и в отличие от поступка Иоанна Кушника она не способна действовать с позиции бескорыстной сильной этики. Между тем слабо-этического стимула к покаянию Пушкин ее лишил. Жизненный успех заставил Дуню коснеть в своем прегрешении. Такова первая причина свойственных ей абстинативных РП-тактик.

Во-вторых, – если Блудный сын раскаивается (согрѣшѣхъ на небо и предѣ тобою) и возвращается домой (воставъ иде ко ѡтцѣ своему) еще при жизни отца, т.е. относительно быстро<sup>36</sup>, когда все еще можно поправить, то Блудная дочь не раскаивается настолько долго, что ситуация становится необратимой – такой, когда уже ничего не поправишь. Урок ПБС и "Станционного зрителя" заключается в том, что есть существенная разница между, скажем так, б л а г о в р е м е н н ы м покаянием (в первом случае) и покаянием надолго отложенным, з а п о з д а л ы м (во втором). Конечно, и запоздалое покаяние похваляемо, но в отличие от благовременного оно, вероятно, не ведѣт к полному изглаживанию греха. Время течет только в одну сторону, его нельзя обратить вспять, и то, что унесено временем, – *невозвратимо, unwiederbringlich*<sup>37</sup>. Лежащего в могиле старика-зрителя уже не воскресишь, и он, в отличие от отца Блудного сына, не может порадоваться ни возвращению дочери, ни приезду внучат.

Подчеркнем, что указанная импликация благовременности покаяния – неустранима из ПБС. Что было бы с ее дидактическим потенциалом, если бы Блудный сын раскаялся и вернулся п о с л е смерти отца? – Смысл данной парабола утратился бы полностью! Поэтому важно не просто покаяние Блудного сына, а именно – б л а г о в р е м е н н о е покаяние.

Между тем в "Станционном зрителе" мы наблюдаем покаяние – з а п о з д а л о е.

Срок после бегства Дуни вплоть до смерти ее отца действительно прошел большой<sup>38</sup>. Старый человек и без пристрастия к кабаку вполне мог бы за это время уме-

<sup>36</sup> Правда, абсолютные временные рамки в тексте Притчи не указаны. Тем не менее можно судить с позиции здравого смысла: обычно даже большое именование проматывается за короткий срок.

<sup>37</sup> Немецкое слово стало крылатым и приобрело интенсивные эмоциональные обертоны в семантике после выхода в свет (1891) одноименного популярного романа Теодора Фонтана. Впрочем, семантически очень близко рус. наречие *невозвратимо*. Ср.: "Гадает старость сквозь очки / У гробовой своей доски, / Все потеряв невозвратимо" (Пушкин, Евгений Онегин, V. 7).

<sup>38</sup> Пушкин не дает точных временных рамок действия. Лишь во время второго заезда "титularного советника А.Г.Н." на станцию\*\*\* отмечено, что бегство Дуни случилось "три года тому назад, однажды, в зимний вечер".

реть. Что это так, мы узнаём от рассказчика, "титулярного советника А.Г.Н.", который, в третий раз направляясь на станцию\*\*\*, делает соответствующее предположение: «На вопрос мой: "Жив ли старый смотритель?" – никто не мог дать мне удовлетворительного ответа». Для подобного вопроса, несомненно, имелись основания, причем рассказчик, безусловно, ничего не знал о пагубном пристрастии смотрителя. Прибавим к этому, что Дуня вернулась не сразу после кончины отца, а еще позже – тем летом, когда он уже "с год как помер".

Таким образом, если иметь перед глазами поведенческую парадигму ПБС, то перед нами коллизия: (Nm) ты должен раскаяться «во благовремении»<sup>39</sup> ⇔ Дуня раскаялась запоздало.

И это запоздание восходит исключительно к отсутствию чувства раскаяния. После того, когда ее положение определилось и упрочилось, Дуня могла поступить так, как поступил блудный сын в евангельской притче. «Въ себѣ же пришѣдъ, (...) (сын) воставъ иде ко отцѣ своему. (...) Рече же имъ сынъ: Отче, согрѣшихъ на нѣо и предъ тобою, и оуже нѣсмь достоинъ нарециса сынъ твои» (Лк 15 : 17, 20–21)<sup>40</sup>. А что смотритель раскрыл бы дочери свои объятия, нет никакого сомнения, – ведь он был готов принять ее в том двусмысленном состоянии, в котором она находилась, проживая на содержании.

В-третьих, феномен запоздалого покаяния осмыслен Пушкиным в свете многовариантной новозаветной этики. Дерзнув, можно высказать догадку, что поэт устанавливает этическую закономерность, которая хорошо согласуется с Новым Заветом, но входит в решительное противоречие с Ветхим.

С точки зрения прямолинейных ветхозаветных представлений, потерпеть крушение в этой жизни должен коснеющий во грехе блудный сын, и только он один, тогда как праведник обязательно процветет<sup>41</sup>. Новозаветная этика воздаяния не отрицает такой возможности, но одновременно она не отвергает и возможности земного преуспевания грешника и бедствования праведника вплоть до скончания их дней (ибо воздаяние в таком случае переносится в загробный мир).

Действительно, в «Станционном смотрителе» знак плюс меняется на минус: в этой жизни терпит крушение добродетельный отец! Блудная дочь, вопреки закону прижизненного воздаяния, благоденствует, а влачит свои дни и затем погибает – опять-таки в противоречии с Моисеевым законом – человек, ничем не заслуживший своей плачевной судьбы.

Настенные картинки дважды – и притом одинаково – изображают отца: когда сын уходит, мы видим «почтенного старика в колпаке и шлафроке»; когда сын возвращается, его встречает тот же «добрый старик в том же колпаке и шлафроке». Уезжая, Дуня покидает «человека лет пятидесяти, свежего и бодрого». Получив известие о бегстве Дуни, «бедняк занемог сильной горячкою». Когда рассказчик во второй раз встретился со смотрителем, он «не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика». В конце концов, лишь на поверхностный взгляд Вырин «спился», – на самом деле он умер от сердечной тоски:

<sup>39</sup> Терминологическая калька *благовремение* (εὐκαιρία; oportunitas) и калькированное словосочетание *благо время* имеют библейское происхождение. Они не означают всего лишь «хорошее (доброе) время». В сочетании с предлогом *во* они означают «во время благопотребно», т.е. именно тогда, когда нужна того требует (см. подробнее [Гильтебрандт 1898: 17]). Действование «во благовремении» – атрибут Бога; Бог никогда не опережает события и не опаздывает.

<sup>40</sup> Цитируем по синодальному изданию славянского Евангелия. – подобный текст мог быть в руках Пушкина.

<sup>41</sup> Эта убежденность в воздаянии грешнику и в вознаграждении праведнику именно на земле наиболее выпукло выражена в знаменитом 1-м псалме «Блажен муж». Праведник «будет яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елико аще творит, успеет». Совсем иная судьба грешника: «но яко прах, егоже возметает ветр от лица земли, (...) и путь нечестивых погибнет».

«А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь, уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье?» Когда же Авдотья Самсоновна, наконец, вновь приезжает в родное село Н., то находит лишь «грудку песку, в которую врыт был черный крест с медным образом». Читатель с ужасом наблюдает за процессом разрушения праведного отца, а читательское чувство справедливости обмануто, поскольку в финале, несмотря на возвращение Дуни, порок не наказан и добродетель не восторжествовала<sup>42</sup>.

Иными словами, Пушкин заострил теолого-правственную насыщенность притчи ПБС. Грех блудного «дитяти» не непременно ведет его к жизненному краху. Своевольно согрешающий вовлекает во зло окружающих людей, в том числе сын или дочь оказываются способны погубить родителя. Следовательно, грешник ответствен за проступок не только потому, что он губит самого себя, но и потому, что он оказывается причиной жизненного краха других людей. Отменив ветхозаветную связь греха/праведности с жизненным благополучием/крахом, Пушкин ввел в Притчу о блудной дочери новозаветный теологумен, – «твой грех губит другого человека».

Парафрастичность «Станционного зрителя», конечно, неочевидна. Относительно справедливости нашей попытки богословской интерпретации можно судить поразному. Тем не менее если жизнь и тем более смерть человека – это мерило всех ценностей, кончина Самсона Вырина объективно обвиняет непосредственную виновницу его смерти – Дуню. Блудный сын, по ветхозаветному Закону, не мог стать причиной краха своего отца; новозаветная этика, с ее благодатным обетованием неочевидного и загробного воздаяния, усиливает понятие греха, заставляя подпадать под его воздействие как самого грешника, так и окружающих его людей. Обернув другой стороной ветхозаветную заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» (= *Возлюби себя и возлюби ближнего*), в новозаветных этических понятиях можно было бы сказать: «Не губи ближнего своего» (= *Не губи себя и не губи [этим] ближнего*).

Такое этико-богословское содержание, которое можно извлечь из «Станционного зрителя», если абстинативные РП-тактики Блудной дочери рассматривать на фоне нормативных РП-тактик Блудного сына.

Другие абстинативные РП-тактики Блудной дочери имеют периферийное значение, и мы перечислим их весьма кратко.

### Дуни

• *не остаётся в воле родителя* (Нп: дети должны быть послушными). Так, непослушание и, в частности, выходы или отлучки из дома без ведома родителей запрещены уже в Ветхом Завете<sup>43</sup>: *и́ли не жéзэл рýки нáшея ёсть, вnéгдá вхóдити е́мь [сыну нашему] и́ и́схóдити прéд' нáми* (Тов 5, 18); *Кóль хýленъ встáвлáаи отцá, и́ прóклатъ ё́демъ рáзражáаи мáтерь свою*

<sup>42</sup> Вопреки Гершензону, зритель не мог быть «счастливым счастьем Дуни», потому что Дуня – абстинативно – ничего не сообщала ему о себе.

<sup>43</sup> Обычно, когда необходимо представить ветхозаветную этику взаимоотношений детей и родителей, то ссылаются на наставления Иисуса сына Сирахова (3 : 1–16). Здесь читается: «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою – как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почитит отца и, как владыкам, послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека – от чести отца его, и позор детям – мать в беславии. Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей вспомняешься о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои. Оставляющий отца – то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою» (Сир 3 : 1–16).

(Сир 3 : 16). Заповедь послушания чад родителям присутствует и в Новом Завете, и при этом примечательно, что эксплицитно подтверждается преемство: **Чада, посажайте своих родителей в Господь: сие во есть праведно. Чти Отца твоего и мать: яже есть заповедь первая во вѣствованіи** (Еф 6 : 1–2)<sup>44</sup>. Эта и подобные ей (следующие ниже) прописные истины ходячей морали были в России всем известны, потому что они входили в основы всеобщей социализации детей согласно религиозной морали<sup>45</sup> (см. подробнее: [Возвращение 1999: 61–62]). Заповедь почитания детьми родителей обосновывается узми благодарности, связывающими тех и других<sup>46</sup>;

• **не даѣт отцу знать о себе** (Nm: дети должны постоянно оставаться в контакте с родителями). Авдотья Самсоновна могла поступить так, как в аналогичной ситуации поступила Марья Гавриловна Р\*\*, героиня «Метели», также вошедшей в состав «Повестей Белкина». Решившись тайно венчаться с Владимиром Николаевичем, она прибегла к РП-тактикам разъяснения мотивов своего деликта: в письме к родителям она «прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшей минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей». Абстинативная тактика Дуни в свете сказанного такова: она **не** послала с ямщиком отцу никакой вести и **не** сказала о своих намерениях<sup>47</sup>. Действительно и через три года бедный отец на вопрос о здоровье Дуни отвечает: «А Бог ее знает». Три года оставаясь в неизвестности, он терпит душевные муки, предполагая, что Дуню постигла обычная судьба соблазненных беглянок<sup>48</sup>, и даже желает ей смерти: «Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согресишь, да пожелаешь ей могилы».

Собственно, если в «Метели» ожидание читателей подтверждается, то в «Станционном смотрителе» оно не оправдывается<sup>49</sup>. Не исключено, что Дуня, став барыней, стала стыдиться своего простого отца<sup>50</sup>;

<sup>44</sup> За непочитание родителей в Ветхом Завете полагалась смертная казнь: «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти» (Исх 21 : 17).

<sup>45</sup> Ср. настойчивое повторение заповеди беспрекословного послушания: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей» (Притч 1 : 8); «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол 3 : 20).

<sup>46</sup> «Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они тебе?» (Сир 7 : 29–30).

<sup>47</sup> «Девочка лет четырнадцати» оказалась лицемеркой, и ее лицемерие стало даже сугубым грехом: Дуня совершила обман в святой воскресный день, да еще сделала вид, что собирается к обеду. Богопротивный поступок она представила как богоугодный.

<sup>48</sup> Она отражена, например, в городском романсе «Когда б имел златая горы»:

– Преси у сердца ты совета,  
Страданьем тронута моим.  
И веря святости обета,  
Беги с возлюбленным своим.  
– Но как же, милый, я покину  
Семью родную и страну?  
Ведь ты заедешь на чужбину  
И бросишь там меня одну.

Умчались мы в страну чужую,  
А через год он изменил.  
Забыл и клятву роковую,  
Когда другую полюбил.

А мне сказал, стыдясь измены:  
«Ступай обратно в дом отца.  
Оставь, Мария, мои стены». —  
И проводил меня с крыльца.

<sup>49</sup> Читатель может (вместе с Р. Поддубной; см. выше) подумать, что Дуня эгоистически строит свое счастье «за счет обманутого доверия и страданий другого человека». Читательские экспектации обмануты: читатель никак не может осмыслить мотивы поведения девушки, которую, бывало, «всякий похвалит, никто не осудит».

<sup>50</sup> Религиозная мораль осуждает этот ложный стыд: «Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож» (Сир 23 : 17).

• не отдаёт родителю последнего долга. Между тем, последний долг чада перед родителями состоит в погребении их. Эта заповедь особенно остро звучит в Ветхом Завете: ср. завет Товита сыну: **Чáдо, ѓце оўмрѣ, погрѣвї ма** (...). **ѓгда оўмреть** [мать твоя], **погрѣвї ю** (Тов 4 : 3–4). Она же воспринята и в Новом.

Таким образом, если в евангельской притче говорится о возвращении блудного сына, то в «Станционном смотрителе» рассказано о не возвращении. Тем не менее притчевый характер сюжетной линии «бегство дочери – невозвращение – гибель отца» выражен вполне отчетливо: с формальной точки зрения, он ничем не отличен от линии «уход сына – возвращение – радость отца». По содержанию, как видим, поэт переменял притчевые знаки «плюс» на знаки «минус», и если в Притче дана парадигма одобряемого поведения сына (с триумфом в финале), то в «Станционном смотрителе» дана парадигма поведения неодобряемого (с трагедией в финале).

Сейчас будет произнесено суждение, способное показаться психологически неприемлемым, – тем не менее над ним стоит поразмышлять. *Дуня повинна в отцеубийстве!* Естественно, не в прямом<sup>51</sup>, а в том самом, которое некогда имел в виду праотец Иаков: **свѣдѣте стáрость мою съ печáлю во ѓдъ** (под *адом* понимается могила; Быт 42 : 38)<sup>52</sup>.

Обиходный язык подсказывает реальную возможность смерти тоскующего человека; ср.: *убиваться, убит* горем, *горевать/печалиться до смерти, умер* от тоски/от печали. Ср. также: *спился с горя*.

## V

В заключение, уже отвлекаясь от Авдотьи Самсоновны, несколько общих слов по теме покаяния, которой завершается «Станционный смотритель». *Возвращение* блудного сына – это (в переносном смысле) *покаяние*, т.е. возврат к состоянию до совершения греха. Метафорическая связь между возвращением и раскаянием наиболее отчетливо выражена в иврите: глагол **בָּשׁוּ**, как он употребляется в Танахе, означает: 1) «возвращаться, приходить на то место, откуда вышел» и 2) «раскаиваться» [König 1931: 486–488]. Отглагольное имя **בְּשׁוּת** также имеет два значения, но переносное («покаяние») уже выходит на первый план [König 1931: 559]. Богословские обертоны глагола **בָּשׁוּ** и имени **בְּשׁוּת** (покаяния как возвращения) рассмотрены в [Jeppí, Westermann II 1984: 884–891]. Мотивировки греч. понятия *μετάνοια* (букв. «поворот ума, перемена мыслей») и слав. **покаѣннѣ** – другие.

Синкретичная сопряженность возвращения-покаяния психологически точно отражена в ПБС. Покаяние, которое затем приведет к возвращению, начинается с осознания губительности своего греховного состояния, и блудный сын, действительно, заключает: «А я умираю». Затем кающийся обязан признать, исповедать свои грехи, и младший сын говорит о них дважды: «Отче! я согрешил против неба и пред тобою». Кроме того, обязателен стыд, а также смирение и самоосуждение; сравните: «Уже недостойн называться сыном твоим». Далее необходима готовность принять заслуженное наказание и понести его: «Прими меня в число наемников твоих». И наконец,

<sup>51</sup> В общем, даже для Ветхого Завета прямое отцеубийство – редчайший случай; один лишь Авессалом покушался на жизнь своего отца Давида.

<sup>52</sup> Речения взято из контекста, когда Иаков должен был отпустить в опасный путь своего младшего и самого любимого сына Вениамина. «И сказал им [другим детям] Иаков, отец их: вы лишили меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, – все это на меня! И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его тебе. Он сказал: не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб» (Быт 42 : 36–38).

предполагается не одно лишь намерение, а действие, реальное возвращение на праведный путь. Так и поступает блудный сын: «Встал и пошел к отцу своему».

В свое время Притчу о блудном сыне применяли и к Пушкину: «...несомненно то, что в последних годах совершался в нем нравственный переворот, переворот глубокий, но медленный и тяжелый» [Никанор 1996: 197]).

Знал ли сам Пушкин чувство покаяния? Вопрос риторический! Достаточно обратиться к хрестоматийному «Воспоминанию» («Когда для смертного умолкнет шумный день»), написанному за неделю до дня рождения поэта (19 мая 1828 г.) и как бы подводящему жизненные итоги. По белой рукописи стихотворение кончается так:

В бездействии ночном живей горят во мне  
Змеи сердечной угрызенья:  
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток:  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалеюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

В черновой рукописи «Воспоминание» продолжается:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,  
В безумстве гибельной свободы,  
В неволе, бедности, изгнании, в степях  
Мои утраченные годы.  
Я слышу вновь друзей предательский привет  
На играх Вакха и Киприды.  
Вновь сердцу моему наносит хладный свет  
Неотразимые обиды...

Перед нами самый настоящий покаянный псалом – столь же пронзительный, как 50-й псалом осознавшего свое падение царя Давида<sup>53</sup>. Лишь предположив неискренность и отбросив черновое продолжение, можно допустить, что фраза «Но строк печальных не смываю» истолковывается как «не желаю смыть» (т.е. дорожу своими памятливыми грехами). Нет, у Пушкина было как раз жгучее желание изгладить грехи, но он не видел в себе сил остановиться. М.О. Гершензон весьма тонко уловил такое психологическое состояние: «Пушкин хорошо знал чистое чувство греховности, то настроение, когда человек говорит себе: пусть я не властен не согрешать, но мне больно и стыдно, что я так далек от совершенства».

А второй пушкинский покаянный псалом – связан как раз с образом блудного сына. На исходе 1829 г. Пушкин вернулся к форме стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» (1814), того самого, прочитанного в Лицее в присутствии Державина. Удержав для нового стихотворения старое название и старую строфику, частично сохранив и прежнее содержание, все же в первых двух строфах Пушкин сознает себя совершенно по-другому, и доминанта раскаяния нашла адекватное выражение в ассоциативном пространстве знаменитой евангельской притчи:

<sup>53</sup> Псалом «Помилуй мя, Боже» царя Давида имеет два надписания: **внегда внити къ нему нафанъ пррѣкъ** (т.е. после того, как пришел к нему пророк Нафан и рассказал свою притчу); **егда вниде ко вирсави женѣ оуриевѣ** (т.е. когда он [царь] вошел к Вирсавии, жене Урия [Хеттеянина]). Да, да! Самое знаменитое покаянное поэтическое произведение было создано после гибели Урии и похищения Вирсавии.

Воспоминаньями смущенный,  
Исполнен сладкою тоской,  
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный  
Вхожу с поникшей головой.  
Так отрок Библии, безумный расточитель,  
До капли истощив раскаянья фиал,  
Увидев наконец родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал.  
В пылу восторгов скоротечных,  
В бесплодном вихре суеты,  
О, много расточил сокровищ я сердечных  
За недоступные мечты.  
И долго я блуждал, и часто, утомленный,  
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,  
Я думал о тебе, предел благословенный,  
Воображал сии сады.

Прямые отождествления, которые, впрочем, в рациональном анализе могут иметь вместо, просты и очевидны: *отрок Библии* – это, конечно, косвенное (аллюзивное) именование Блудного сына из притчи. Перед нами перечисление едва ли не всех признаков истинного покаяния: сознание гибельности греха («предчувствуя беды»); исповедание прегрешений («О, много расточил сокровищ я сердечных»); обязательность стыда («главой поник»). Очень характерен глагол *блуждать* («И долго я блуждал») – в переносном смысле – совершать неправильные поступки<sup>54</sup>.

Обратите внимание на то, что во второй строфе Пушкин явно отделяет себя от уже обратившегося к добру блудного сына. Он лишь уподобляет себя ему, но не отождествляет себя с ним.

Отождествил же себя поэт с блудным сыном, по мнению архиеп. Никанора, только в момент кончины: “Умирая в тяжких муках на своем кресте, раб Божий Александр, мы верим, только в эту минуту воззвал к милосердию Отца Небесного решительным гласом блудного сына: *Отче! согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин нарецися сын Твой. Но приими мя якоже единого от наемник Твоих.* А говорим мы все это, чтобы выяснить себе и другим, что величайший наш поэт был действительно любимый сын Отца Небесного, был в жизни сын заблуждающийся, а в тяжелой смерти сын кающийся; что он родился христианином, жил полухристианином и полуязычником, а умер христианином, примиренным со Христом и Церковью”. [Никанор 1999: 207, 212]. Знаменитый архиепископ в заключение прилагает к Пушкину парафраз строки из Притчи о блудном сыне: *Веселитися и возрадоватися подобаше, яко сей сын Отца Небесного мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретеса* [Там же: 212].

\* \* \*

Подведем итоги.

1) Лингвистический анализ вносит некоторую объективность в решение вопроса об авторском замысле.

Конечно, Пушкин имел в виду разные интерпретации – в зависимости от персонажей. Каждый из семи героев повести “Станционный смотритель” обладает прав-

<sup>54</sup> ПБС – это призыв к покаянию *par excellence*. Не случайно, в согласии с церковной традицией, именно ее прочитывают в тех случаях, когда необходимо вызвать покаянное чувство. Так, она читается во второе приговорительное воскресенье к Великому посту, в так называемую Неделю о блудном сыне. Интересно, в частности, что в старое время перед этапированием преступников (в Сибирь) им в качестве напутствия читалась 15-я глава Евангелия от Луки, содержащая ПБС.

дой, но – **своей**. Если Евгений Онегин – не столько живой человек, сколько “вешалка для разных масок”, то в “Станционном смотрителе” – герои живые, действующие по собственной логике. Здесь Пушкин куда больше реалист, он вплотную подошел к идее независимости героев от автора художественного произведения, поскольку это последнее способно приобрести самостоятельную инерцию развития.

Тем не менее авторская позиция – есть! Есть и авторская оценка. Есть **высшая** Правда. Пушкин не декларировал ее, – что противоречило бы природе художественного произведения, – а выразил через специально пригодную для нравочужения притчевую форму. Столкнув Притчу о блудном сыне со своей собственной Притчей о блудной дочери, он на фоне первой притчи (и вполне внятно для читателей [его современников]) представил свою собственную поведенческую парадигму. Она может быть сформулирована во множестве сентенций, – например: “твой грех губит другого человека”; “не губи ближнего своего”. Поэт совершил переход из ветхозаветного царства Закона воздаяния в область новозаветной Благодати, т.е. в область (возможно, и не наказуемой при жизни) полной свободы человека в выборе добра или зла. Человек, действующий “по своей охоте”, берет на себя ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу любящих его людей. Если покаяние сверх всяких пределов затягивается, то обычно бывает трагедия.

Пушкинский текст еще раз убеждает в реальности, социальности и устойчивости РП-тактик. Отсюда общее заключение: их описание и анализ могут быть одним из путей к пониманию национальной русской ментальности.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.В. 1998 – Язык и мир человека. М., 1998.
- Бартенев П.И. 1925 – Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым в 1851–1860 гг. М., 1925.
- Берковский Н. [Я.] 1960 – О “Повестях Белкина” (Пушкин 30-х гг. и вопросы народности и реализма) // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. Сборник статей. М.; Л., 1960.
- Берковский Н.Я. 1985 – О “Повестях Белкина” // Н. Берковский. О русской литературе. Сборник статей. Л., 1985.
- Богомолец В.К. 1969 – “Бедная Лиза” Карамзина и “Станционный смотритель” Пушкина (тезисы доклада) // Проблемы стиля, метода и направления в изучении и преподавании художественной литературы. М., 1969.
- Бочаров С.Г. 1969 – Пушкин и Гоголь (“Станционный смотритель” и “Шинель”) // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969.
- Бройде М.Г. 1999 – История блудной дочери: испытание сокровищами земными (“Станционный смотритель”) // М.Г. Бройде. Читая Пушкина. М., 1999.
- Вересиев В.В. 1984 – Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1984.
- Верещагин Е.М. 1969 – Эстетика макаронизмов: мотивированность выбора языковых знаков при билингвизме // Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. Л., 1969.
- Верещагин Е.М. 1987 – К счастью, явился Пушкин // РР. 1987. 5.
- Верещагин Е.М. 1988 – “От Пушкина до наших дней” // РР. 1988. 1.
- Верещагин Е.М. 1990 – Тактико-ситуативный подход к речесовому поведению. (Поведенческая ситуация “Угроза”) // Rissistik. Русистика. 1990. № 1.
- Верещагин Е.М. 1991 – Коммуникативные тактики как поле взаимодействия языка и культуры // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. – Всесоюзная научная конференция. Москва, 20–23 мая 1991 г. Доклады. Ч. 1. М., 1991.
- Верещагин Е.М. 1992 – “...читал и любил читать Евангелие”. Что входит в состав российской словесности? // Русский язык в СНГ. 1992. № 10–12.

- Верещагин Е.М.* 1995 – Один случай семантико-поведенческой парадигмы: ἐλέγχειν и обличати // Филологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова. М., 1995.
- Верещагин Е.М.* 1996 – Из лингвострановедческой археологии. Ключевое советское слово очередь // Сборник научных трудов Московского гос. лингвистического университета. Вып. 426. М., 1996.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* 1973 – Язык и культура. М., 1973.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* 1980 – Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* 1988а – Приметы времени и места в идиоматике речемыслительной деятельности // Язык: система и функционирование. М., 1988.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* 1988б – “Языковое представление варьируется от языка к языку” // Вопросы философии. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 6–7. Ереван, 1988.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* 1990 – Язык и культура. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 1990.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* 1999 – В поисках новых путей лингвострановедения: концепция рече-поведенческих тактик. М., 1999.
- Верещагин Е.М. и др.* 1992 – Е.М. Верещагин, Р. Ратмайр, Т. Ройтер. Речевые тактики “призыва к откровенности”. Еще одна попытка проникнуть в идиоматику речевого поведения и русско-немецкий контрастивный подход // ВЯ. 1992. № 6.
- Возвращение 1999 – Возвращение блудного сына. Родители и дети: взаимоотношения. Составитель Галина Громова. М., 1999.
- Гершензон М.О.* 1919 – “Станционный смотритель” // М. [О.] Гершензон. Мудрость Пушкина. М., 1919.
- Гильтебрандт П.* [А.] 1898 – Справочный и объяснительный словарь к Псалтири, составленный Петром Гильтебрандтом (Рязанским). СПб., 1898.
- Гиппиус В.В.* 1966 – Повести Белкина // В.В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М. – Л., 1966.
- Грайс Г.П.* 1985 – Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
- Книга житий – *Кни́га житі́й сѣ́йхъ на трѣ́ мѣ́а вторы́а.* М., 1759.
- Костомаров В.Г.* 1999 – Пушкин и современный русский литературный язык // Русский язык за рубежом. 1999. № 2.
- Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д.* 1997 – Современное состояние русского языка и проблемы обучения ему иностранцев // Русский язык как государственный. Материалы международной конференции (Челябинск, 5–6 июня 1997 г.). М., 1997.
- Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д.* 1999а – Пространство современного русского дискурса и единицы его описания // Русский язык в центре Европы, 1. Банска Бистрица, 1999.
- Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д.* 1999б – Единицы семиотической истемы русского языка как предмет описания и освоения // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. Братислава, 1999. Доклады и сообщения российских ученых. М., 1999.
- Купреянова Е.Н.* 1981 – А.С. Пушкин // История русской литературы в 4-х тт. Т. II. Л., 1981.
- Макагоненко Г.П.* 1974 – Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л., 1974.
- Никанор (Бровкович), архиеп.* 1996 – Беседа в Неделю блудного сына, при поминовении раба Божия Александра (поэта Пушкина), по истечении пятидесятилетия со смерти его // А.С. Пушкин: путь к Православию. М., 1996.
- Петрунина Н.Н.* 1987 – “Станционный смотритель” // Н.Н. Петрунина. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987.
- Поддубная Р.* 1980 – Творчество Пушкина Болдинской осени 1830 г. как проблемно-художественный цикл. Сентябрь. Статья первая // Stidia rossica posnaniensia, zesz. XII – 1979. Poznań, 1980.
- Попов Евгений, прот.* 1901 – Грехи детей в отношении родителей // прот. Евгений Попов. Общенародные чтения по православно-нравственному богословию. СПб., 1901.
- ПСС – А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. (“Малое академическое”) 2-е изд. М., 1957–1958.

- Разумовская М.В.* 1986 – К вопросу о некоторых литературных традициях в “Станционном смотрителе” // Русская литература. 1986. № 3.
- Турбин В.Н.* 1978 – Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978.
- Тюпа В.И.* 1983 – Притча о блудном сыне в контексте “Повестей Белкина” как художественного целого // Болдинские чтения. Горький, 1983.
- Фома Аквинский* 1999 – Сумма теологии (перевод с латыни) // Покров. Альманах российских католиков. Вып. 2. М., 1999.
- Фридлиндер Г.М.* 1983 – Поэтический диалог Пушкина с Вяземским // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983.
- Черейский Л.А.* 1989 – Пушкин и его окружение. Л., 1989.
- Шарынкин Д.М.* 1978 – Пушкин и “Нравоучительные рассказы” Мармонтеля // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978.
- Austin J.L.* 1961 – A Plea for Excuses // J.L. Austin. Philosophical Papers. Oxfors, 1961 (2-nd ed. 1970).
- Berger K.* 1984 – Formgeschichte des Neuen Testaments. Heidelberg, 1984.
- Hinck* 1977 (Hrsg.) – Textsortenlehre – Gattungsgeschichte / W. Hinck (Hrsg.) Heidelberg, 1977.
- Jenni, Westermann* 1984 – Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Hrgb. von Ernst Jenni unter Mitarbeit von Claus Westermann. Bd. I–II. München; Zürich, 1984.
- König E.* 1931 – Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament. Leipzig, 1931.
- Linnemann E.* 1975 – Gleichnisse Jesu. Einführung und Auslegung. Göttingen, 1975.
- Peisker C.H.* 1993 – Gleichnis // Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament / Hrsg. von L. Coenen, E. Beyreuter, H. Bietenhard. s.l., 1993.
- Rathmayr R.* 1996 – Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur. Köln; Weimar; Wien, 1996.
- Vereščagin E.M.* 1997 – Wandel traditioneller Rede- und Verhaltenstaktiken von Russen unter Bedingungen des freien Marktes // Dialog und Divergenz. Interkulturelle Studien. Frankfurt/M, 1997.

© 2000 г.

А.В. ЦИММЕРЛИНГ

**АМЕРИКАНСКАЯ ЛИНГВИСТИКА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  
ГЛАЗАМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВЕДОВ**

В последние десятилетия лингвисты всего мира все в большей степени вынуждены согласовывать свои выступления в дискуссии – устной и письменной – с метаязыком, принятым в модных доктринах. Синтаксиста не поймут правильно, если он не будет обсуждать "цепочки", "максимальные проекции" и "минимальные области". Интонолог должен анализировать "просодические кластеры", а от специалиста по семантике ожидают, что он будет ежеминутно рассуждать о "λ-конверсии" и "плавающих кванторах". Специалисту по прагматике рекомендуется называть себя "когнитивистом", а также исследовать "структуру дискурса". Типолог может рассчитывать на понимание, если покажет, как "кодируются грамматические категории" и введет ту или иную "иерархию функциональных признаков".

Слияние с традицией, или хотя бы приспособление к ней, требует немалой подготовительной работы. Чтение словарей современных лингвистических терминов<sup>1</sup> является необходимой ее частью, но не избавляет от всех трудностей, поскольку за новой терминологией обычно стоит новая постановка проблемы и новые приоритеты исследования. Нужны не только справочные и реферативные, но и концептуальные материалы, где показываются плюсы и минусы данной научной доктрины и ставится вопрос о том, что ей могут противопоставить другие научные школы. Для нашей науки роль моста между отечественным и зарубежным языкознанием в течение почти тридцати лет играли тематические выпуски серии НЗЛ ("Новое в зарубежной лингвистике"), выходившей с 1961 по 1989 гг. В период выхода выпусков НЗЛ в СССР всегда существовал узкий круг лингвистов, группировавшихся вокруг переводчиков и составителей данных выпусков, которые работали в русле реферируемых концепций. Многие из культивировавшихся в нашей стране в 1960–1980 гг. направлений – модель "Смысл ↔ Текст", логический анализ, анализ лексических концептов [Гладкий, Мельчук 1969; Апресян 1974; Мельчук 1974; Падучева 1974] – не только были отголоском развивавшихся на западе доктрин, но по ряду признаков опередили их.

В последние годы наметились негативные сдвиги: бесспорные достижения отечественной лингвистики создали ощущение ее самодостаточности, что проявляется либо в отсутствии интереса к исканиям западных ученых, либо в снисходительном отношении к ним. В этой связи наше внимание привлекла изданная в 1997 г. Московским Государственным Университетом книга "Фундаментальные направления современной американской лингвистики", которая является плодом совместного творчества 15 видных отечественных и зарубежных ученых и освещает активно развивающиеся направления американской лингвистики [ФИСАЛ 1997]. Поскольку упомянутое издание весьма репрезентативно, воспользуемся им в качестве путеводителя по современной американской лингвистике в первой части нашей статьи, после чего можно будет обсудить некоторые из поднятых проблем более подробно.

Лейтмотив книги задан уже в Предисловии редакторов, где отмечается, что в

<sup>1</sup> В 1990-е гг. отечественный читатель уже получил два таких словаря, ср. [Баранов, Добровольский 1993], [Баранов. 1996].

последние годы разрыв между российской и мировой лингвистикой растет, и что российские и западные лингвисты "нуждаются в общем языке, на котором они могут обсуждать общие проблемы". Авторы книги надеются, что она продолжит традицию, созданную выпусками НЗЛ. Программная цель издания, согласно Предисловию, – способствовать активизации научного диалога между российскими и западными лингвистами и хотя бы частично компенсировать разрыв, сложившийся между ними (с. 9). Важность поднятой проблемы трудно переоценить. Теоретическая новизна и самобытность сами по себе не гарантируют успех научного построения – необходимо, чтобы оно было доведено до сообщества ученых в соответствующей форме. Между тем, попадая за рубеж, российские языковеды – специалисты в своих областях – в последние годы зачастую не понимают ни постановки проблем, ни метаязыка изложения. Это тем более обидно, что многие постулаты модных доктрин нельзя назвать совершенно новыми. Если апологеты данных доктрин иной раз сами стремятся определить свое отношение к традиции (ср. рассуждения Н. Хомского об отличии его теории от структурализма [Chomsky, Lasnik 1993: 517]<sup>2</sup>), то их молодые коллеги этого обычно уже не делают. Поэтому задачу, поставленную авторами обсуждаемой книги, – активизировать диалог между отечественными и зарубежными учеными – лучше решать прямо сейчас, пока на западе окончательно не возобладали поколение, для которого отсчет лингвистической мысли идет с Н. Хомского и Т. Веннемана.

Обилие авторов, представляющих разные, порой конфликтующие, точки зрения, не приводит к разногласию: концепция книги и ее композиция хорошо продумана, авторы стремятся свести повторы и общие места к минимуму, при необходимости в основной текст включены отсылки к другим главам. В связи с этим нужно отметить большую подготовительную работу редколлегии (А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А. Секерина). Книга снабжена предметным указателем и указателем языков (составлены Н.В. Исакадзе), в конце даны краткие сведения об авторах.

Значение многих глав выходит за рамки реферативных материалов: в особенности это относится к главам "Исследование синтаксических ограничений в генеративной грамматике" (К.И. Казенин, Я.Г. Тестелец) и "Функционализм" (А.А. Кибрик, В.А. Плунгян), содержащих ряд оригинальных идей и теоретических обобщений. Данные главы, посвященные концептуальным основам двух господствующих не только в США, но и во всем мире, научных парадигм – генеративизма и функционализма – можно считать кульминацией всей книги. Бросается в глаза, что большая часть разделов книги отведена синтаксису: методы и принципы синтаксического анализа обсуждаются в четырех первых главах книги, а также в публикуемой в приложении статье американского слависта Дж. Фаулера "Грамматическая релевантность актуального членения". Различные проблемы синтаксической теории в неравном объеме затрагиваются и в других главах, поэтому легче указать разделы, где синтаксис не упоминается вовсе, – это очерк о генеративной фонологии, написанный Е. Зубрицкой и очерк "Семантика в когнитивной лингвистике" (автор А. Ченки). Авторы книги предпочли разбить ее на три части: в первых двух рассматриваются различные приложения порождающей грамматики, в третьей – негенеративные (функциональные и когнитивные) концепции. Упомянутая выше работа Дж. Фаулера по своей ориентации примыкает к первой части, которая открывается главами Дж. Бейлина "Краткая история генеративной грамматики" и К.И. Казенина и Я.Г. Тестельца "Исследование синтаксических ограничений в генеративной грамматике". Хотя объект рассмотрения – эволюция доктрины Хомского – в данных главах общий, они не повторяют, а скорее дополняют друг друга. Очерк Дж. Бейлина носит информативный характер; автор поясняет логику изменения доктрины Хомского в период между "Синтаксическими структурами" (1957 г.) и "Минималистской программой" (1995 г.)

<sup>2</sup> Ссылки на традиции европейского структурализма характерны и для корректного стиля авторов обсуждаемой книги, ср. замечания Е. Зубрицкой (с. 168) и А. Ченки (с. 344).

Читателю предлагаются дефиниции ключевых терминов, кратко описываются основные модули Универсальной Грамматики Хомского в версиях 1980–1990 гг. – X-штрих теория (X-bar theory), Теория перемещения ( $\alpha$ -movement), Теория управления (Government theory), Теория падежа (Case theory), Тета-теория ( $\theta$ -theory) и Теория Связывания (Binding theory). Если статья Дж. Бейлина чужда полемики и адресована скорее начинающим, то статья К.И. Казенина и Я.Г. Тестельца носит дискуссионный характер и обращена прежде всего к читателю, интересующемуся типологией линейных отношений и ищущему оптимальный способ их описания. Слово "типология" не случайно вынесено в подзаголовок одного из подразделов данной главы (единственный раз во всей книге!), так как основной объект внимания К.И. Казенина и Я.Г. Тестельца – адаптация принципов универсальной грамматики к языкам мира и создание объяснительной теории синтаксических ограничений (Bounding Theory). Авторы подробно рассматривают виды инверсий (в терминах излагаемой теории "перемещения лексических категорий") и разновидности анафорического повтора<sup>3</sup>, подчеркивая новизну идей, выдвинутых генеративистами в данных областях. Более узкий объект изучения у авторов двух следующих глав. Н. Кондрашова излагает точку зрения генеративного синтаксиса на языки со свободным (нефиксированным) порядком слов. Программа, из которой исходит Н. Кондрашова (так называемая теория скрэмблинга) является частичной альтернативой классической теории инверсии как перемещения лексических категорий, которая обсуждается в главах, написанных Дж. Бейлиным, К.И. Казениным и Я.Г. Тестельцом. Поскольку русский язык не имеет фиксированного порядка слов, статья Н. Кондрашовой может заинтересовать читателя-русиста: статья завершается попыткой формализовать представление о том, что категории актуального членения – явления супрасинтаксического яруса, наслаивающиеся на собственно синтаксическое членение предложения<sup>4</sup>. Вместе с тем, решение, предлагаемое Н. Кондрашовой, не является единственно возможным: тему и рему можно трактовать не только как компоненты семантической структуры высказывания, но и как формальные составляющие, что успешно доказывает на материале русского языка Дж. Фаулер, статья которого публикуется в Приложении<sup>5</sup>. Глава, написанная Н.В. Исакадзе и И.М. Кобозевой, посвящена проблемам морфосинтаксиса. В ней показано, какие возможности для анализа русского падежа и вида открывает введение в схему предложения узлов так называемых функциональных категорий, при этом вершины последних трактуются как собственные позиции Вида, Падежа, Согласования и прочих нелексических категорий. Авторы обстоятельно реферируют недавние славистические работы Л. Бэбби и С. Фрэнкса<sup>6</sup>.

Статьи во второй части книги посвящены специальным приложениям генеративной грамматики. При этом полного внутреннего единства между главами нет. Если генеративная семантика (автор обзора Р. Изворская) и, особенно, генеративная фонология (автор обзора Е. Зубрицкая) представляют собой автономные области исследования, имеющие минимальные пересечения с синтаксической доктриной Хомского и предполагающие значительную специализацию ученых – большинство генеративных фонологов не занимается синтаксисом и наоборот – то теория усвоения языка (автор обзора С. Аврутин) и психолингвистика (автор обзора И. Секерина) – прикладные теории,

<sup>3</sup> В статье К.И. Казенина и Я.Г. Тестельца анализируются формальные аспекты анафорических отношений. Логико-семантические аспекты анафоры обсуждаются в главе "Формальная семантика", написанной Р. Изворской.

<sup>4</sup> "...перемещение, называемое скрэмблингом, напрямую взаимодействует со структурой фокуса в предложении, и по-видимому, мотивируется принципами, относящимися к строению специального уровня FF (функциональной формы), на котором и формируется фокус" (с. 139).

<sup>5</sup> Статья Дж. Фаулера впервые опубликована на английском языке в 1987 г. Русская версия подготовлена специально для обсуждаемого издания.

<sup>6</sup> Имена данных для лингвистов хорошо известны нашему читателю; заметим, что ни того, ни другого нельзя причислить к наиболее ортодоксальным хомскианцам.

призванные объяснить, как происходит обработка информации и распознавание слов и синтаксических структур и как действуют механизмы, обеспечивающие усвоение словарной и грамматической информации детьми. Тем самым, несмотря на свой специализированный характер (ср. тематические подборки из журналов "Behavioral and brain sciences", "Journal of psycholinguistic research", "Journal of memory and language" в списках литературы, приводимых И. Секериной и С. Аврутиным в соответствующих главах), генеративная психолингвистика и теория усвоения языка не являются замкнутыми по отношению к грамматике Хомского: напротив, между ними имеет место интенсивный обмен идеями. Для многих теоретиков механизмы распознавания предложения служат аргументом, подтверждающим онтологическую реальность постулированной структуры. Довод подобного рода выдвигается и против ранних версий доктрины Хомского (Standard Theory), где грамматика любого конкретного языка выстраивалась в виде списка лингвоспецифичных трансформаций, применяемых в строго заданной последовательности. Такой способ описания, как указывает в обсуждаемой книге Дж. Бейлин, оставляет без ответа вопрос о том, как усваивается родной язык, поскольку распознающее устройство оказывается неоправданно сложным, и главное, невыводимым из принципов Универсальной Грамматики (с. 24). На новом этапе перед американскими психолингвистами ставится задача дать такую интерпретацию распознающих устройств, которая не только допускает легкую формализацию, но и претендует на эмпирическую адекватность. Сопоставление языков с разными синтаксическими параметрами и работа с информантами в ряде случаев позволяет проверять гипотезы о восприятии непроективных конструкций (с. 249–250), параметра нулевых подлежащих (с. 269), сужении или расширении сферы действия рефлексивизатора (с. 270). Вместе с тем, степень приближения к языковой интуиции не стоит переоценивать. Судя по изложению И. Секериной и С. Аврутина, главным стимулом совершенствования универсалистских моделей обработки и усвоения информации остается не воссоздание когнитивной реальности, а устранение контринтуитивных следствий прежних интерпретаций.

Третья, заключительная, часть книги отведена обзору функциональных и когнитивных концепций. Авторы главы "Функционализм" А.А. Кибрик и В.А. Плунгян с основанием отмечают, что несмотря на явное преобладание формальной грамматики в США игнорировать меньшинство, объясняющее языковую форму ее функциями, было бы неверно, так как "основное разнообразие американской лингвистики приходится как раз на ее меньшую часть – функционализм" (с. 276). Такое положение едва ли удивительно, поскольку, как указано в данной главе, за ярлыком "функционализм" стоит не столько устоявшаяся научная школа, сколько индивидуальные искания тех ученых, которые отвергают чисто формальные объяснения в грамматике (с. 279). Собственные интересы данных ученых, как видно из очерка, лежат в разных областях – морфологической (Дж. Николс, Дж. Байби) и синтаксической типологии (Дж. Хокинс, Т. Гивон, М. Драер), типологии предикатно-аргументных отношений (Р.Д. Ван Валин), структуре дискурса (У. Чейф, С. Томпсон). Как подчеркивают А.А. Кибрик и В.А. Плунгян, американские функционалисты редко выдвигают глобальные концепции языка. Главное исключение составляет Референциально-Ролевая Грамматика, пропагандируемая Р.Д. Ван Валином и его сторонниками; данная теория подробно освещена в очерке (с. 283–293). О соотношении формальных и функциональных объяснений в книге можно найти две полярные точки зрения. Одну из них с позиций генеративистов озвучивает Дж. Бейлин: форма языка автономна, языковая компетенция (competence) существует независимо от языковой деятельности (performance), т.е. отдельных употреблений языковых форм в конкретных случаях. Поэтому генеративная грамматика как теория "компетенции" и функциональная лингвистика как теория "деятельности" не исключают, а дополняют друг друга (с. 15). С другой стороны, А.А. Кибрик<sup>7</sup> полагает, что функционализм – не довесок к формальной

<sup>7</sup> Цитируемый раздел главы 9 принадлежит А.А. Кибрику.

лингвистике, а ее конкурент; объект изучения у них общий, поэтому перспектива "мирного сосуществования" двух данных научных парадигм маловероятна (с. 330). Эта оценка подкрепляется, в частности, тем, что ученые, стремящиеся примирить формалистов и функционалистов, становятся все более маргинальной группой и дружно преследуются как эклектики обеими сторонами. Читатель обсуждаемой книги вправе решить сам, какая из оценок ближе к истине. Отметим, что "образ врага" (грамматики Хомского) с завидным постоянством всплывает в каждой из трех глав последнего раздела книги (с. 279, 309, 346, 366, 386), в то время в восьми главах, написанных генеративистами, полемика с функционализмом отсутствует вовсе – мишенью для критики оказываются другие формальные теории, например, Генеративная семантика и Модель "Смысл ↔ Текст", ср. (с. 26, 72). Трудно отделаться от впечатления, что здесь проявляется свойство, которому многие функционалисты придают фундаментальное значение, а именно "иконизм", т.е. неслучайное соответствие между формой и функцией (в данном случае, между объектом изучения – грамматическими концепциями и метаязыком реферативных материалов). К сожалению, дискуссионная проблематика иконичности знака, заданная классическими работами Ч.С. Пирса и У. Морриса и вновь введенная в оборот благодаря Дж. Хэйману и Дж. Дю Буа, лишь вскользь упомянута в обсуждаемой книге (с. 282, 344). Между тем, современные функционалисты, прибегающие к модному термину "иконичность", часто не поясняют, какие языковые объекты они имеют в виду – элементарные знаки или фигуры из языковых знаков, синтагматические или парадигматические сущности, форму языка как таковую или стратегии обработки информации. Даже в такой, казалось бы близкой к внеязыковой действительности области анализа как порядок слов, исследователь то и дело сталкивается с формальными ограничениями, ставящими под сомнение прямую мотивированность порядка слов параметрами денотативной ситуации. Ввиду этого избыточность, например, в программных сборниках функционалистов [IS 1985; WOD 1995]<sup>8</sup> утверждения об иконичности порядка слов в некотором языке вообще или иконичности тех или иных линейных преобразований, например, выноса глагола или дополнения в начало фразы, помещения клитик в спад фразы и т.п., зачастую выглядят легковесными, особенно применительно к экзотическим и мертвым языкам, где подобные утверждения заведомо не могут быть верифицированы обращением к языковой интуиции. Делая данное замечание, автор статьи отдает себе отчет в том, что разбор относящихся сюда проблем потребовал бы значительно более пространный изложение, возможно, добавления дополнительного раздела. Большинство теорий, описываемых А.А. Кибриком и В.А. Плуныгом в данной главе, активно развиваются. Следует особо выделить линию диахронической типологии, воссозданную благодаря работам Дж. Николс и Дж. Байби. При этом у исследователей разных подходов к проблеме, хотя они обе выходят за рамки сравнительно-исторической реконструкции и в той или иной мере объединяют синхронно-типологическую классификацию грамматических категорий с эволюционными импликациями. Дж. Николс пытается восстановить естественный ход языкового развития за последние 100 000 лет (!) с опорой на понятие "ареальной стабильности"; под последней понимается сохранение общих черт грамматического строя внутри языкового союза независимо от генетического родства между языками. В качестве параметров берутся а) ролевое оформление; б) морфологическая сложность; в) вершинное/зависимостное маркирование; г) порядок слов; д) повышение/понижение переходности; е) наличие инклюзива/эксклюзива; ж) наличие неотторжимой принадлежности; и) наличие именных классов (с. 299). Дж. Байби идет от семантики к форме и ищет повторяющиеся механизмы грамматикализации лексических категорий. Многие тезисы Байби – о наличии переходной зоны между словоизменением и словообразованием, отсутствии резкой грани между грамматикой и словарем, системной мотивированности морфологически редких явле-

<sup>8</sup> Полные выходные данные обоих сборников приводятся в библиографии к главе "Функционализм". См. также список литературы ниже.

ний – выглядят в изложении В.А. Плунгяна<sup>9</sup> поразительно созвучными идеям, разработавшимся в отечественной лингвистике.

Последние две главы посвящены так называемому когнитивному подходу к языку, при котором исследователь заранее декларирует, что для него язык не является самодостаточным объектом изучения и берет на себя обязательство (*cognitive commitment*) "согласовывать свои объяснения человеческого языка с тем, что известно об уме и мозге как других дисциплин, так и [из лингвистики]" (с. 340<sup>10</sup>). При междисциплинарном подходе классические объяснения структуральной лингвистики недостаточны; нужны объяснения и методы нового типа, разработкой которых заняты теоретики направления – М. Джонсон, Л. Талми, Дж. Лакофф, Р. Лангакер. Пожалуй к когнитивным теориям в большей степени, чем к функциональным, приложимо представление Дж. Бейлина о взаимодополнительности генеративной и негенеративной лингвистики. Правда, расхожее мнение о когнитивной лингвистике состоит в том, что это не лингвистика вообще, но это передежка: многие из рассматриваемых авторами обзоров А. Ченки и Е.В. Рахилиной идей о структуре значения, культурных концептах, проблеме инварианта и семантических прототипах имеют весьма давнюю традицию в лингвистике, правда, как остроумно замечает А. Ченки, не в американской (с. 344). А. Ченки начинает разбор с классической теории категоризации, созданной Аристотелем и властвующей над языкознанием в течение большей части XX в. Главной мишенью критики являются представления о бинарности признаков, о четких границах категорий, функционально-истинностный подход к значению высказывания и принцип композициональности значения сложного выражения. В качестве альтернативы выдвигается теория значения, воплощенного (*embodied*) в семантических концептах или в так называемых образных схемах (*image schema*): последнее понятие определяется М. Джонсоном как "повторяющийся динамический образец наших процессов восприятия и наших моторных программ, который придает связность и структуру нашему опыту". Отражение образных схем в языке составляет объект когнитивной семантики, что требует разработки нового метаязыка. Один из его вариантов предлагает теория Р. Лэнгакера, где в качестве элементарных берутся пространственные понятия: ключевую роль играет понятие выпуклости (*salience*) или рабочего участка, на базе которого формируется концепт и понятие когнитивной области, в рамках которой данный концепт существует, так концепт **гипотенуза** является выпуклым элементом (= "профилем") концептуальной области **прямоугольный треугольник**. В формат толкования входит также оппозиция подвижного элемента или "траектора" и неподвижного элемента или "ориентира"; понятия перспективы и субъекта-наблюдателя производны от выше названных. Может встать вопрос, чем русский концепт **"гипотенуза"** или **"идти"** отличается от соответствующего английского. Когнитивисты усматривают специфику языка в том, что он "просцирует" мир; варьировать могут механизмы преобразования сложных образных схем, в том числе, устроенные по принципу метафоры. По такой логике, метафора *Любовь – это игра в бейсбол* (с. 355), вероятно, диагностирует не только американские и русские, но и американские и английские концепты любви (бейсбол относится к популярным видам спорта в США, но не в Европе). Примерно тот же круг работ и идей освещается в главе, написанной Е.В. Рахилиной; автор очерка кратко обсуждает также проблемы прототипов, полисемии и упоминает так называемую грамматику конструкций Ч. Филлмора, отвергающую постулат Г. Фреге о композициональности языкового значения. Тон обеих глав доброжелателен и вместе с тем, полемичен, авторы явно стремятся к диалогу с читателем. В порядке дискуссии можно заметить, что тотальное оттачивание от багажа докогнитивной семантики не везде продуктивно. Вполне понятно, что пионеры концептуального анализа должны были отстаивать наличие категориальных значений, не имеющих жесткой бинарной структуры. Но непонятно, почему

<sup>9</sup> Автором цитируемого раздела главы "Функционализм" является В.А. Плунгян.

<sup>10</sup> А. Ченки цитирует в данном месте работу Дж. Лакоффа.

выделение лексического концепта ИДТИ или когнитивной схемы ЛЮБОВЬ заставляет делать глобальные утверждения о том, что все виды значений в языке устроены одинаково и что бинарных категорий вообще нет. Неясно также, почему выделение концептов несовместимо с функционально-истинностной оценкой высказывания. Несомненно, что при помощи методов логического анализа нельзя исчерпать всю информацию, заложенную, например, в высказывании *Если он узнает, что вечером придет Катя, он уйдет в кино, потому что не любит принимать гостей*; можно считать пропозициональную форму (Logical Form) лишь одним из уровней репрезентации предложения, как это принято в генеративных исследованиях, ср. обзор Р. Изворской в настоящей книге (с. 208). Однако невероятно, чтобы логическая форма приведенного выше выражения, будем ли мы анализировать его как фрагмент дискурса, или как манифестацию грамматического шаблона сложноподчиненного предложения, была внеположна его значению. Более того, по отношению к данному выражению нет видимых оснований отвергать принцип композициональности, так как логическая форма целого выводится из логической формы образующих его пропозиций при помощи простых правил. Попутно напомним, что функционально-истинностный подход не обязательно предполагает бинарную оценку: во второй половине XX в. во всем мире, в том числе в США, успешно разрабатывают многозначные логики (Г.Х. Фон Вригт, С. Крипке, Р. Монтегю, Я. Хинтиikka), позволяющие формализовать значительно большее число языковых явлений, чем это было возможно в рамках стандартной двузначной логики<sup>11</sup>. В то же время для многих задач, обсуждаемых в обзорах А. Ченки и Е.В. Рахилиной, двузначной логики вполне достаточно, в то время как применение более мощных математических средств лишь затемняет картину. Это признает и сама Е.В. Рахилина в разделе, посвященном проблеме прототипов. Со ссылкой на А. Вежбицкую и Р. Джэкендоффа автор пишет, что статистический подход к определению прототипических значений неприемлем. Хотя родовые категории, например, предметное значение "ПТИЦА", предполагают наличие признаков, позволяющих установить, может ли референт того или иного выражения быть признан птицей или нет, нельзя сказать, что сокол или пингвин квалифицируются языковым сознанием как птицы, в силу того, что они удовлетворяют 98% или 70% признакам родовой категории – "пингвин не является на 71% птицей, а на остальные 29% чем-то еще. Он просто птица, несмотря на свою периферийность и нетипичность" (с. 374). Такой подход равносителен гипотезе о том, что правила категоризации опираются не на полноту выборки признаков, а на **знание** о том, что высказывание *Пингвин – птица* истинно. Тем самым, двузначная логика и представление о жестких границах категорий здесь к месту.

Авторы большинства глав делают типологические обобщения и иллюстрируют реферируемые теории примерами из разных языков (полный список дан в Приложении); лишь в когнитивных главах все примеры взяты из английского языка. Впрочем, отсутствие обзора о лингвоспецифичных концептах в языках мира не фатально, так как данное направление исследований активно практикуется в нашей стране в последние десятилетия<sup>12</sup> и не является для русского читателя новым. Формат изложения реферируемых теорий не везде дает повод обсудить их подробно, поэтому остановимся лишь на нескольких дискуссионных идеях в области синтаксиса и фонологии. Поскольку автор сам не является адептом какой-либо из доктрин, освещаемых в книге, ниже следующие соображения следует расценивать как взгляд лингвиста-практика, а не как апологию или разнос.

<sup>11</sup> К данной группе явлений относятся, в частности, иллокутивные и коммуникативные характеристики речевых актов и речевых действий, индексальные выражения, пресуппозиции и модальности. Ср.: [СМИЛ 1981; Степанов 1985: 242–257; Арутюнова, Падуцева 1985: 32].

<sup>12</sup> См., прежде всего, коллективные монографии серии "Логический анализ языка", выходящей под общей редакцией Н.Д. Арутюновой.

Уместно начать с проблематики порядка слов, поскольку, как представляется, именно в этой области в 1970–90 гг. был достигнут прорыв. Классический подход к антиномии структурного и линейного порядка предполагает существование функции, переводящей иерархическое представление предложения (дерево зависимостей или дерево составляющих) в линейную последовательность. В "Аспектах теории синтаксиса" Н. Хомского иерархическое представление предложения отождествлялось с его семантической интерпретацией – Глубинной Структурой, а линейное представление – с Поверхностной Структурой, которая получается из Глубинной путем циклического применения формальных операций [Хомский 1972: 20]. При такой постановке вопроса правила порядка слов играют роль фильтра, отсеивающего цепочки словоформ, не встречающиеся в языке L. Очевидно, что если не ввести в описание языка L перечень присущих ему синтаксических конструкций (конфигураций), правила порядка слов сведутся к чистой комбинаторике; при этом вопрос о допустимости тех или иных цепочек придется решать для каждого высказывания языка L отдельно. Такой итог для грамматической теории плачевен. Поэтому в Стандартной Теории Хомского сведения о синтаксической конфигурации включают в себя сведения о порядке ее развертывания. Тем самым, Хомский был вынужден трактовать разные линейные расположения элементов как разные конструкции, ср. правило, сдвигающее в английском языке косвенное дополнение вправо *John wrote for us a new play* → *John wrote a new play for us*<sup>15</sup>. На основе иерархии линейных порядков строится иерархия конструкций языка L – контекст введения данной трансформации образует некоторая другая конструкция и линейный порядок, которые, в свой черед, должны быть введены трансформационным правилом<sup>14</sup>. Подход, при котором парадигматика языка представлена в виде иерархии (алгоритмизованного списка) контекстно-зависимых правил, имеет плюсы и минусы. Неудачно то, что иерархия конструкций разрушается при изменении порядка применения трансформаций: "ранг", т.е. порядковый номер трансформаций пассива, вставки косвенного дополнения и т.д. невыводим из принципов общей грамматики.

Первичной реакцией отечественных лингвистов на Стандартную Теорию Хомского было неприятие постулата о том, что каждая конструкция характеризуется единственным порядком элементов и стремление отделить механизмы, выстраивающие дерево составляющих, от правил линеаризации [Гладкий, Мельчук 1969: 110]. Это заявка была реализована в модели "Смысл ⇔ Текст", где на одной из начальных стадий порождения вводятся неупорядоченные деревья [Мельчук 1974: 270]<sup>15</sup>. С другой стороны, сложилось убеждение, что язык Глубинных Структур, в том виде, в котором он был предложен Хомским, плох как инструмент семантической интерпретации; поиски нового метаязыка привели к выделению семантики в самостоятельную область исследования, в значительной степени автономную от синтаксиса. Поскольку новый взгляд на проблему грамматического значения и на компетенцию семантики мог быть формализован лишь в рамках глобальной теории, несовместимой с исходными принципами Хомского, синтаксическая доктрина Хомского была попросту отброшена и расценена как пройденный этап лингвистической мысли не только отечественными лингвистами-традиционалистами, и но и "формалистами". Как нам видится, в конце 60-х гг. оба обвинения в адрес Хомского – в недостаточности Глубинных Структур как единственной интерпретирующей системы и в ущербности

<sup>15</sup> Эмпирические основания для постулирования трансформации в указанном направлении обсуждаются Б. Парти [Partee 1979: 56].

<sup>14</sup> По меткому замечанию Е.В. Падучевой, в грамматике подобного типа трансформация пассива [и любая трансформация вообще. – А.Ц.] и есть способ введения конструкция пассива в описание языка L [Падучева 1974: 12].

<sup>15</sup> Близкие идеи значительно ранее выдвигались европейскими структуралистами (Э. Драх, Ж. Фуркэ, П. Дидериксен), которые предлагали различать "реляционную" и "позиционную" структуру предложения и для исчисления последней вводили пустые клетки. Превосходный обзор концепций подобного рода дает С.Н. Кузнецов: [Кузнецов 1984: 66–77].

процедуры исчисления парадигматики на основе контекстуально-зависимых правил – были большей частью справедливы. Вместе с тем, снисходительное отношение к доктрине Хомского в нашей науке – и здесь мы солидаризируемся с К.И. Казениным и Я.Г. Тестельцом (с. 72) – сыграло отрицательную роль и не позволило отечественным ученым уловить решительный поворот в идеях западных генеративистов: вместо строгой последовательности лингвоспецифичных правил были сформулированы универсальные ограничения на применение единственной (!) трансформации – передвижения элемента из позиции, где он порождается, в некоторую другую позицию (так называемый  $\alpha$ -move). Элиминация контекстуально-зависимых правил равнозначна устранению понятия конструкции из инвентаря грамматики, что подчеркивают Н. Хомский и Г. Лэсник, ретроспективно оценивая эволюцию генеративизма [Chomsky, Lasmik 1995: 512]. Можно спорить, является ли это безусловным плюсом с точки зрения философии языка (соблюдение/несоблюдение принципа композициональности значения), как это делает Е.В. Рахилина в другой главе обсуждавшейся выше книги (с. 386)<sup>16</sup>, но несомненно, что данное решение создало новую область исследования – формальную теорию синтаксических ограничений, где в качестве интерфейса выступают линейные отношения (предшествование, смежность, анафора и т.д.), проясняющие связи элементов по вертикали. Тем самым, генеративная грамматика парадоксальным образом повернулась лицом к проблемам, которые раньше было принято относить к поверхностному синтаксису. Этапы дискуссии, приведшей к данному итогу, увлекательно освещаются Дж. Бейлиным, К.И. Казениным и Я.Г. Тестельцом в первых двух главах обсуждавшейся выше книги. Подчеркнем лишь технически важные моменты:

1) Сохранение постулата о фиксированном порядке элементов. Мысль о том, что словоформы кодируют в предложении те или иные классы слов, лексические категории, не нова; вместе с тем, при отказе от понятия конструкции, роль постулата о фиксированном порядке категорий предложения возрастает, поскольку оказывается возможным определить собственное место той или иной категории в парадигматике безотносительно к наличному составу высказывания.

2) Постулат о сохранении структуры: принимается, что трансформации не создают позиций, а лишь заполняют их.

3) Теория следов: принимается, что при перемещении элемента (категории) по дереву составляющих в исходной позиции остается нулевая категория. Тем самым, можно трактовать перемещение элемента как бинарное отношение между двумя входящими элемента в начальную и конечную позицию ( $\alpha$ , t), где  $\alpha$  – произвольная синтаксическая категория, а t (trace) – "след" ее пребывания в исходной позиции<sup>17</sup>.

4) Принимается постулат Р. Фиенго о том, что перемещение возможно лишь по дереву составляющих вверх, т.е. справа налево. Тем самым, постулируется сходство между следами линейных преобразований и анафорическими местоимениями, так как след всегда стоит правее своего антецедента.

Универсальная грамматика состоит из принципов-ограничений (conditions, constraints), формулировка которых должна не только отвечать дедуктивным критериям, но и пройти проверку на адекватность. Для этого нужно, чтобы принципы-ограничения, во-первых, блокировали неправильно построенные структуры, во-вторых, пропускали все правильно построенные структуры. Эта задача оказалась непростой: как показывают К.И. Казенин и Я.Г. Тестелец, для ее решения пришлось пойти на серьезное усложнение первоначального аппарата – ввести различие аргументных и неаргу-

<sup>16</sup> В цитированном месте Е.В. Рахилина обсуждает так называемую грамматику конструкций Ч. Филлмора, подчеркивая ее преимущества по сравнению с традиционными подходами в грамматике.

<sup>17</sup> Математически след интерпретируется как связанная переменная, а  $\alpha$  – как оператор, ее связывающий. Лингвистически след интерпретируется как нулевая словоформа с некоторыми свойствами анафорического местоимения, а  $\alpha$  – как антецедент данной словоформы.

ментных позиций, ввести представление о блокирующих узлах (барьерах), допустить перемещения, не имеющие внешнего выражения и т.д. С одной стороны, эти допущения снижают объяснительную силу теории, с другой – расширяют ее эмпирическую базу и позволяют адаптировать ряд понятий традиционной лингвистики. Среди важных результатов нужно выделить формализацию понятия инверсии и учение о нулевых категориях. Упомянутая выше теория следов Р. Фиенго эксплицитно реализует идею о том, что при линейных преобразованиях  $XY \rightarrow YX$  перемещается лишь один, "активный", элемент  $X$ , в то время как место  $Y$ -а относительно границ фразы меняется лишь в силу перемещения  $X$ -а. Такой подход имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пониманием инверсии как одновременной замены одной последовательности словоформ ( $XYZ$ ) другой последовательностью ( $ZXY, XZY, \dots$ ) и основанным на данном понимании терминологическим различием между "прямым" и "обратным" порядками. Так, образование общих вопросов в германских языках разумно, вопреки школьной грамматике, описывать не как операцию перестановки подлежащего и сказуемого ( $SV \rightarrow VS$ ), а как операцию выноса глагола в начало фразы ( $\# \dots V \rightarrow \# V \dots$ ) – место подлежащего само по себе константой преобразования не является. В тех языках, где финитный глагол в утвердительном предложении занимает второе место, это очевидно непосредственно: так, в немецком языке вопрос *#Kam er gestern?* в равной мере относится к предложению с препозитивным подлежащим *#Er kam gestern* и к предложению с постпозитивным подлежащим *#Gestern kam er*. Некоторые апологеты функционализма и когнитивизма поспешили отнести теорию следов и применение нулевых категорий к числу запрещенных приемов, ср. мнение А. Ченки в обсуждавшейся выше книге (с. 366). И зря. Функциональному подходу соответствует представление о том, что свое означаемое имеют не только единицы, но и операции. Перемещение активного элемента бинарной группы (в нашем примере – финитного глагола) есть операция, имеющая свое означаемое, в иных терминах – цель, изменение местоположения пассивного элемента (в нашем примере – подлежащего) своего означаемого не имеет<sup>18</sup>. Автор менее всего склонен призывать к механическому соединению функциональных и формальных объяснений. Смысл приведенной иллюстрации в том, что эвристическую ценность моделей полезно оценивать независимо от аксиоматических допущений тех теорий, в рамках которых они были выдвинуты. Что касается следов, то одно из преимуществ их введения состоит в том, что они формализуют представление о векторности, асимметричности, линейных преобразований, что является шагом вперед по сравнению с концепциями европейских структуралистов, где в схему описания вводились пустые клетки (эквивалент хомскианского постулата о сохранении структуры), но обходился вопрос о сущностях, которые их заполняют.

Распространение на нулевые элементы различия анафорических и дейктических местоимений позволило выделить внутри рубрики Пустая Категория (Empty Category, *e*) четыре разных синтаксических сущности.

Комбинации признаков [+ анафора, + местоимение<sup>19</sup>] соответствует нулевой субъект вставленной предикации в высказываниях с формой активного залога: *John<sub>i</sub> expected [e<sub>i</sub> to hurt himself]*, ср. *John<sub>i</sub> expected [Bill<sub>j</sub> to hurt himself]*. Для данного класса элементов используется нотация PRO. Традиционная грамматика говорит в этом случае об эллипсисе или об устранении кореферентной составляющей в позиции повторной номинации.

Обратной комбинации признаков – [–анафора, –местоимение] соответствует след ИГ, устрояемой в позиции повторной номинации. На английском материале данный

<sup>18</sup> Принципиально разным в данной модели инверсии является и способ задания расстояния. Координаты активного элемента  $X$  определяются относительно  $Y$ -а (слева/справа), в то время как координаты  $Y$ -а определяются не только по отношению к левому и правому вхождению  $X$ -а, но и отношению к некоторым  $Z, U$ , упорядоченным по отношению к  $X$ -у.

<sup>19</sup> Редакторы книги обзоров предпочли передать термины для данных признаков калками "анафор" и "прономинал".

класс нулевых элементов иллюстрируется, главным образом, пассивными высказываниями: *John<sub>i</sub> was expected [e to hurt himself]*. Главное отличие от предыдущего класса состоит в том, что ИГ *John* не "контролирует" свой след в том смысле, что она не является семантическим субъектом глагола *be expected*, и "наследует" роль подлежащего лишь по кореферентности опущенному субъекту глагола *hurt* из вставленной предикации [Chomsky, Lasnik 1991: 519]. Аналогично анализируется пара примеров *Your friends<sub>i</sub> hoped [PRO<sub>i</sub> to finish the meeting happy]* "Ваши друзья, надеялись [PRO<sub>i</sub> закончить прием удачно]" vs. *Your friends seemed [t to finish the meeting happy]* "Ваши друзья, казалось, закончат прием удачно", букв. "Ваши друзья казались [t закончить прием удачно]". В первом случае подлежащее *Your friends* "Ваши друзья" является семантическим субъектом глагола *hope* "надеяться", а нулевой элемент (PRO) – семантическим субъектом глагола *finish* "заканчивать"; тем самым нулевой элемент контролируется ИГ *Your friends*. Во втором случае глагол *seem* "казаться" не приписывает никакой семантической роли своему подлежащему, значит, нулевой элемент не контролируется, т.е. является следом.

Традиционная грамматика не разграничивает контролируемые и неконтролируемые нулевые элементы в позиции повторной номинации. Обращает на себя внимание, что векторность синтаксических связей диагностируется в поздних версиях генеративной грамматики при помощи не только синтаксических, но и семантических критериев. Тезис о том, что неопределенно-личные подлежащие типа англ. *one*, нем. *man*, фр. *on* составляют поверхностные аналоги PRO [Chomsky, Lasnik 1993: 521], остается спорным. Сам же принцип единообразно описывать внешне выраженные и нулевые элементы перспективен.

Комбинации признаков [– анафора, + местоимение] соответствует **нулевое местоимение** (*pro*). Класс *pro* обобщает случаи опущения неанафорического субъекта. Языки относятся либо к типу *pro-drop*, если они допускают *pro*, либо к типу *non pro-drop*, если они требуют заполнения позиции субъекта в неанафорических контекстах. Английский язык принадлежит к типу *non pro-drop*, высказывания типа *The people that *pro<sub>i</sub>* taught admired John<sub>i</sub>*; "Люди, которых *pro<sub>i</sub>* учил, обожали Джона<sub>i</sub>," неграмматичны. Русский, итальянский, исландский относятся к типу *pro-drop*. Нулевые местоимения не являются контролируемыми элементами и в этом смысле близки к следам [Chomsky, Lasnik 1993: 518], [Franks 1995: 288].

Выделение *pro* является формализацией идеи, широко обсуждавшихся в рамках традиционной грамматики в начале XX в., ср. тезис Г. Пауля о двусоставности любого предложения и поиске структурных эквивалентов "безличного *es*" в древних индоевропейских языках [Brugmann 1917], [Канцельсон 1936]. Недостатком теории Хомского является то, что она не рассматривает эксплетивные местоимения типа англ. *it*, нем. *es* как поверхностные аналоги, *pro*, ср. [Chomsky, Lasnik 1993: 523, 539] и уклоняется от изучения связи между эллипсисом и элиминацией субъекта: остается необъясненной возможность порождения безличных высказываний типа др.-исл. *sá skip<sub>j</sub>*-вин.п. "корабля<sub>j</sub> – вин.п. не было видно" букв. "*pro<sub>i</sub>*; не увидел корабль<sub>j</sub>". В работах европейских генеративистов этот пробел частично восполнен, ср. формулировку параметра "нулевого субъекта" у Кр. Платцака [Platzack 1987], учитывающую как отсутствие эксплетивного местоимения, так и факультативность субъектной составляющей<sup>20</sup>. Кроме того, первоначальная формулировка Хомского неприемлема в том отношении, что она ограничивает дистрибуцию *pro* позицией подлежащего и игнорирует наличие нулевых дополнений – ср. [Rögnvaldsson 1990: 374].

Наконец, четвертая комбинация признаков [–анафора, –местоимение] соответствует упомянутым следам **линейного перемещения** элементов (place holders), ср. *Whoi*

<sup>20</sup> Мнение И.А. Мельчука о том, что понятие нулевого субъекта у хомскианцев не имеет ничего общего с его теорией нулевой лексемы [Мельчук 1995: 204] заслуживает специального разбора, а его утверждение, будто "нулевой субъект у генеративистов никоим образом не является особой лексемой со своими ...собственными синтаксическими свойствами" [Мельчук 1995: 204], неадекватно.

*did he say [that Bill saw t<sub>i</sub>]* букв. "Кого<sub>i</sub> он сказал, [что видел Билла t<sub>i</sub>]". Как указывалось выше, след выступает в роли логической переменной, а его антецедент *Who<sub>i</sub>* играет роль операторного слова. Место следа определяется однозначно, ср. неграмматичное предложение с тем же набором позиций в другом порядке: *Who did he say [that t<sub>i</sub> saw Bill]* букв. "Кто он сказал, [что t Билл видел]".

Следы перемещений в подобных примерах повторяют свойства тех элементов предложения (имен, глаголов и т.п.), которых они замещают, и в этом плане противостоят другим нулевым сущностям, которые близки по свойствам к местоимениям; тем самым, аналогия между местоимениями и следами перемещения в формализме Хомского не является полной. В поздних версиях правила употребления местоимений задаются постулатами Теории Связывания, а правила перемещения – Принципом Пустой Категории (Empty Category Principle), который гласит, что каждый след должен "жестко управляться" своим антецедентом<sup>21</sup>. Тем не менее, граница между двумя группами явлений проходит скорее внутри класса Пустых Категорий, нежели между пустыми и поверхностными элементами, ср. обзор К.И. Казенина и Я.Г. Тестельца (с. 91).

Введение в описание нулевых категорий ставит типологов-генеративистов перед непростым выбором. Дело в том, что придерживаясь исходной схемы из 4 классов синтаксических нулей, нельзя описать многие релевантные различия между языками. В то же время, если ввести дополнительные признаки (надежная роль, позиция, референтный статус и т.д.) и по мере надобности санкционировать все новые и новые виды нулей, например, "референтный нулевой местоименный субъект", "генерический нулевой местоименный объект", то количество нулей будет рассчитано столь же трудно, как и количество ларингалов, реконструируемых индоевропейцами для того, чтобы закрыть "дыры" в соответствиях, предположительно ведущих к праязыку. Сходная картина с классификацией эксплетивных местоимений, но здесь благоприятным фактором служит то, что эксплетивные лексемы, по-видимому, встречаются в меньшем числе языков, чем нулевые лексемы. Такая практика может отвлечь часть лингвистов от нулевых сущностей в синтаксисе или, по крайней мере, побудить использовать лишь те нулевые категории, которым приписано особое означаемое, например, "мир", "локус", "люди"<sup>22</sup>. Аналогично, можно подвергать сомнению термин "формальное подлежащее" или доказывать, что англ. *it* в *It rains* и в *It is peculiar that she did not send her contribution* имеет некоторый план содержания. По нашему мнению, подобные шаги уводят в сторону от проблем синтаксической репрезентации, для решения которых нулевые категории были введены. Так, при сопоставлении английского, итальянского и исландского предложений англ. *The nice weather induces e* [PRO to stay ит. *Il bel tempo involgia e a* [PRO restare] исл. *\*Þetta góða veður hvetur e til* [að PRO stoppa] "Хорошая погода побуждает *e* остаться" можно сколько угодно считать, что у категории, помеченной символом *e*, есть означаемое "ЛЮДИ", но это не помогает понять, почему ИГ с соответствующим значением может быть восстановлена в английском (*The nice weather induces people* [PRO to stay]) и итальянском, но не в исландском языке. Введение параметра, дифференцирующего виды нулевых сущностей, позволяет нащупать объяснение: английский и итальянский разрешают опущение генерических объектов, в то время как исландский разрешает лишь нулевые объекты с конкретной референцией<sup>23</sup>. Вообще, для анализа большинства грамма-

<sup>21</sup> Дефиницию понятия жесткого управления (proper government) читатель может найти в обсуждаемой книге в статье Дж. Бейлина (с. 43).

<sup>22</sup> Именно по такому пути пошел И.А. Мельчук, который в духе Р. Якобсона анализирует русские предложения *Улицу засыпали песком* и *Улицу засыпало песком* как содержащие нулевые лексемы  $\emptyset^{People}$  и  $\emptyset^{Elements}$  соответственно [Мельчук 1995: 180].

<sup>23</sup> Читателю-структуралисту, который скажет, что эллипсис – факт речи, а не языка, следует напомнить, что к компетенции формальной грамматики относится не сам эллипсис, а правило (или принцип), стирающее непустую категорию XP. Опущение элемента естественно трактовать как формальную операцию  $XP \rightarrow \emptyset$ , контролируемую некоторыми ненулевыми элементами (словоформами, категориями) YP ( $XP \rightarrow \emptyset$ ).

тических функций, требующих заполнения или незаполнения валентностей предиката, вопрос о наличии у эксплицитных слов или у постулируемых нулевых лексем своего означаемого, представляется второстепенным, поскольку ответ на него диктуется скорее аксиоматической конвенцией, чем логикой рассуждения.

Автор далек от мысли, что доктрина Хомского, как и любая другая дедуктивная теория, является отмычкой, разом снимающей все проблемы синтаксиса. Внимание, уделенное выше моделям порядка слов и нулевых категорий, объясняется тем, что они заставляют задуматься над тем, какую альтернативу в данных областях может предложить так называемая традиционная грамматика. Обе модели доказали свою плодотворность и получили типологическую обкатку. Модель инверсии с выделением подвижного элемента (теория  $\alpha$ -перемещений) выглядит более фундаментальной. Если учение о нулевых категориях и свойствах нулевых лексем все-таки зависит от избранного способа порождения грамматики с наложением разноуровневых репрезентаций, то теория перемещений в качестве модели линейного синтаксиса не имеет ясной альтернативы: отказ от нее равнозначен отказу от изучения топологии предложения как системного явления. Более того, представляется, что априористские установки Хомского не везде способствуют реализации потенциала новых идей. Данная тема заслуживает специального разбора. Укажем лишь на два момента. Во-первых, аналогия следов перемещения с анафорическими местоимениями неудачна. Запрет на перемещения слева направо означает, что при анализе альтернатив предложений, исходным местом элемента всегда будет признано *более правое* из двух. Это ограничение контринтуитивно и противоречит накопленным фактам. Во-вторых, выбор подвижного элемента часто вызывает нарекания, поскольку он основывается на априорной "иерархии подвижности". Так, по отношению к европейским языкам принимается, что финитный глагол более подвижен, чем его аргументы. Неудивительно, что при таком подходе порой возникают тупиковые ситуации, когда направление преобразования не восстанавливается. Так, в недавней статье [Williams 1998: 198] с грустью констатируется, что учение Хомского дает примерно столько же аргументов выводить порядок место немецкого и нидерландского глагола в главном предложении SVO из порядка SOV и придаточном (#...OV...#  $\rightarrow$  #...VO...#), сколько в пользу обратного преобразования #...VO...#  $\rightarrow$  #...OV...#. Но отсюда не следует, что нужно тут же отбросить формальный критерий и заменить его функциональным, например, ввести иерархию **главное предложение > придаточное предложение**. Произвольность приносится в описание не метаязыком, а неверным выбором подвижного элемента в бинарной группе OV ~ VO: если признать подвижным элементом в парах типа нем. *Ich diene Euch ja für mein Brot ~ Er sagt, daß er Euch für sein Brot dient* не глагол, а его дополнения, шансов определить вектор трансформации будет больше. Приоритетная задача теории перемещения в описаниях конкретных языков, по нашему убеждению, должна состоять не в доказательстве тех или иных постулатов универсальной грамматики, а в выявлении топологических констант и подвижных элементов. Впрочем, четкое размежевание сопоставительно-типологической и универсалистской линий в хомскианстве на сегодня едва ли возможно.

Перестройка грамматики Хомского повлияла на фонологическую доктрину генеративизма. Резюмируя эволюцию последней в обсуждавшейся выше книге, Е. Зубрицкая пишет, что на смену традиционной линейной фонологии [Chomsky, Halle 1968], описывавшей звуковые изменения в терминах контекстно-зависимых правил<sup>24</sup> и сохранявшей многие положения пражского структурализма (фонема как неупорядоченное множество дифференциальных признаков, бинаризм признаков, гипотеза об ограниченном числе признаков в языках мира), пришли теории, ориентированные на "выяс-

<sup>24</sup> Детальный разбор монографии Н. Хомского и М. Халле "Звуковой строй английского языка" можно найти в [Кодзасов, Кривнова 1981: 3–80]. Книга С.В. Кодзасова и О.Ф. Кривновой дает также обзор фонологических идей, выдвинутых в американской лингвистике в 1970-е гг.

нение универсальных структурных характеристик фонем и супrasegmentных единиц" (с. 203). В так называемой теории оптимальности (optimality theory) принципы фонологии понимаются как фильтры, исправляющие дефектные просодические структуры. Параллелизм в развитии фонологической и грамматической теории в США не абсолютен, и дело здесь не только в большем числе фонологических школ, ни одна из которых не имеет авторитета, сопоставимого с авторитетом грамматики Хомского, но и в сопротивлении материала. Как видно из очерка Е. Зубрицкой, одной из причин неудовлетворенности линейной фонологией Хомского – Халле было то, что она не обеспечивала перехода от сегментного к суперсегментному уровню. Новые, конфигурационные, модели фонемы как многоярусной структуры или иерархии признаков понадобились не столько для фонематики, сколько для освоения неохваченных генеративным подходом явлений – тонов, слоговых и словесных просодий, слогаделения, сингармонизма, дистантных ассимиляций, законов чередований. Примечательно, что фонологическая доктрина развивалась "вверх" и явно дрейфовала в 1970–1990 гг. в сторону просодики, в то время как синтаксическая доктрина не в меньшей мере, чем 30 лет назад, остается теорией предложения; относительно новыми областями, покрываемыми особыми модулями (автономными процессорами), являются морфосинтаксис, предикатно-аргументные отношения, функциональные категории<sup>25</sup>. Универсальность синтаксического членения не дискутируется: напротив, добавлен постулат об изоморфности всех полных составляющих (Extended Projection Principle). Экскурсы за пределы монопредикатного единства (прономинализация, рефлексивизация) производятся не для моделирования структуры дискурса, а для идентификации синтаксических позиций внутри предложения<sup>26</sup>.

Тенденции развития американской лингвистики косвенно свидетельствуют против декларированного на заре структурализма тезиса об изоморфизме звукового и грамматического строя, плана выражения и плана содержания. Нарисованная Е. Куриловичем картина параллелизма правил порядка слов и правил фонотактики – просодический комплекс складывается из фонем так же, как предложение из синтаксических единиц низшего уровня – видимо, мало вдохновляет современных формалистов. И это неудивительно. Дискретность, вычленимость элементов структуры, составляет специфику синтаксиса. Напротив, просодика имеет дело с интегральными сущностями – слогом, интонационным контуром, ударением, при этом, например, слог как сегмент многосложного слова вряд ли существует вне вторичных экспериментов с речевой цепочкой, что не лишает его функциональной значимости. Ввиду этого одинаковые решения в моделях синтаксиса и фонологии мы вправе оценить по-разному. Так, снятие промежуточных уровней репрезентации и различение лишь двух стадий обработки информации – входа (input) и выхода (output) – по нашему мнению, плюс для фонологии. В то же время аналогичное решение, принятое в Минималистской программе Хомского [Chomsky 1995], более спорно, так как снятие различения между Глубинной и Поверхностной структурами обедняет репертуар объяснений<sup>27</sup>. Доктрина минимализма утверждает, что все процессы в грамматике обязательны, ср. обзор Дж. Бейлина (с. 52), в то время как предсказания Теории оптимальности не

<sup>25</sup> Общий обзор данных модулей см. в очерке Дж. Бейлина (с. 32–40). О генеративной теории падежа см. также в главе, написанной И.М. Кобозевой и Н.И. Исакадзе (с. 143–158).

<sup>26</sup> Ср. интересные тесты, приводимые Я.Г. Тестельцом в разделах о Теории связывания (с. 90, 106).

<sup>27</sup> Данный вывод отражает личное мнение автора статьи; авторы глав книги обзоров занимают осторожную позицию и избегают оценок, так Дж. Бейлин заключает свой очерк словами "Пройдет немало времени, прежде чем эта новая теория приобретет определенный и устоявшийся статус, который позволит рассмотреть более критически все ее слабые и сильные стороны" (с. 55). Вместе с тем, настороженное отношение к минимализму со стороны западных синтаксистов является довольно распространенной реакцией, ср. [Franks 1995: 17]. Резкая критика минималистских объяснений содержится в рецензии Э. Уильямса на книгу Й. Зварта [Williams 1998].

категоричны и предусматривают возможность конфликта так называемых принципов гармонии. Тем самым, гармонические фильтры теории оптимальности соответствуют не столько **принципам** Универсальной грамматики, сколько **признакам**, допускающим межъязыковое варьирование. При этом успех процедуры зависит от того, какой вес приписан принципам, составляющим фонологический фильтр. Так, применение фильтра, включающего Принцип нарастания сонорности в инициации слога и Принцип открытого слога к слогаделению в русском языке позволяет, как показывает С.В. Князев в недавней статье в "ВЯ", выделить из множества разбиений *зав-тра, завт-ра за-втра* вариант *зав-тра*, но лишь при условии, что Принципу нарастания сонорности придается большая значимость, чем Принципу открытого слога; если поменять эти принципы местами, то процедура даст вариант *за-втра* [Князев 1999: 100]<sup>28</sup>.

Подведем итоги. Обсуждаемая книга дает богатую перспективу современной американской лингвистики, уровень и содержание книги полностью отвечает поставленной цели – активизировать диалог между русской и зарубежной наукой. Молодых лингвистов хотелось бы призвать к вдумчивому чтению, с тем чтобы форма изложения не заслоняла от них сути проблем. Препятствием, к сожалению, может стать небольшой тираж – всего 1000 экземпляров, явно меньше потребностей вузовского обучения.

Полемическая переключка многих разделов книги – переключка, в которую частично включился и автор данной статьи – объективно отражает современное состояние науки о языке с многообразием подходов и открывающихся возможностей интерпретации. Не все аспекты данной полемики могли быть затронуты в нашем материале. Наиболее фундаментальными представляются две проблемы: проблема мотивированности языковой формы и проблема автономности (модулярности) либо взаимообусловленности языковых подсистем. Было бы наивно предлагать готовое решение. Кажется, однако, что история американской лингвистики и история ее рецепции помогает извлечь определенные уроки:

1) Создание новой глобальной доктрины не является лучшим средством борьбы с издержками другой глобальной теории. Тотальное отталкивание от накопленных ранее объяснений непродуктивно, а единообразное описание всех доступных интуиции или эрудиции исследователя языковых фактов неизбежно обнажает слабости строго монистического подхода.

2) Ценность моделей нужно оценивать независимо от аксиоматических посылок теорий, в рамках которых они были предложены. Иначе легко проглядеть становление новой области исследования или, напротив, не увидеть близости решений, предлагаемых разными доктринами. Важно уметь отделять объяснения, те которые заранее приписывают лингвистическому объекту определенную структуру – их можно было бы назвать **конструктивными** – от тех, которые описывают объект без предвзятых соглашений<sup>29</sup>.

3) Складывается впечатление, что конфронтация взглядов на компетенцию грамматики обнажает слабости сторон. Формалист (сторонник Хомского) видит сущность грамматики в автономности вычислительной системы от употребления. Современный концептуалист (ныне называющий себя функционалистом) видит в грамматике инструмент, позволяющий отразить или даже воплотить (модное слово: **кодировать**) те или иные сущности плана содержания – денотативные реалии, когнитивные стратегии. Вне

<sup>28</sup> Понятно, что ранжирование принципов в Универсальной грамматике Хомского невозможно из-за требования о рекурсивном задании грамматики: поскольку все принципы а priori равно обязательны, приписывание им разной силы равносильно требованию об алгоритмизированном порядке.

<sup>29</sup> Представление о перемещении элементов по вертикали и представление о нулевых категориях конструктивны, представление о перемещении элементов влево-вправо не является конструктивным, но становится им, если добавить запрет на перемещение в одном из направлений.

сомнения, такие взгляды имеют право на существование. Протест вызывает желание полемистов исчерпать двумя данными точками зрения все многообразие современных подходов. Между тем, обе точки зрения имеют общий изъян: языковая форма, от чего бы ее не отрывали, и с чем бы не сопоставляли, берется обеими сторонами как данность, статично. Альтернативу образует динамический подход, в соответствии с которым компетенция грамматики – механизмы, **демотивирующие** языковую форму, освобождающие ее от зависимости по отношению к плану содержания. Последовательное применение такой программы позволит выявить ее плюсы и минусы.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1984 – Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. 1985 – Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1993 – Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами). М., 1993.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., Романова О.И. 1996 – Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. М., 1996.
- Гладкий А.В., Мельчук И.А. 1969 – Элементы математической лингвистики. М., 1969.
- Кацнельсон С.Д. 1936 – К генезису номинативного предложения. М.; Л., 1936.
- Князев С.Н. 1999 – О критериях слогоделения в современном русском языке: теория волны сонорности и теория оптимальности // ВЯ. 1999. № 1.
- Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. 1981 – Современная американская фонология. М., 1981.
- Кузнецов С.Н. 1984 – Теоретическая грамматика датского языка. Синтаксис. М., 1984.
- Мельчук И.А. 1974 – Опыт теории лингвистических моделей Смысл ↔ Текст. М., 1974.
- Мельчук И.А. 1995 – Русский язык в модели Смысл ↔ Текст. Москва; Вена. 1995.
- Падучева Е.В. 1974 – О семантике синтаксиса. М., 1974.
- СМИЛ 1981 – Семантика модальных и интенциональных логик. 1981 – М., 1981.
- Степанов Ю.С. 1985 – В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
- ФНСАЛ 1997 – Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров. М., 1997.
- Хомский Н. 1972 – Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- Brugmann K. – 1917 – Der Ursprung des Scheinsubjektes "es" in den germanischen und romanischen Sprachen // Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Hf. 5. Leipzig, 1917.
- Chomsky N., Halle M. 1968 – Sound pattern of English, New York, 1968.
- Chomsky N., Lasnik H. 1993 – Syntax in generativen Grammatik // Syntax: An international handbook of contemporary research / J. Jacobs, A. von Stechow, W. Sternfeld, T. Venneman (Eds.). Berlin; New York, 1993.
- Chomsky N. 1993 – A minimalist program for linguistic theory // The view from building 20. / Hale K., S.L. Keyser (Eds). Cambridge (Mass.), 1993.
- Franks S. 1995 – Parameters of Slavic morphosyntax. New York; Oxford, 1995. IS 1985 – Iconicity in Syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam, 1985.
- Partee B.H. 1979 – Subject and object in modern English. New York; London, 1979.
- Platzack C. 1987 – The Scandinavian languages and the null-subject parameter // Natural language and linguistic theory. 5. 1987.
- Ross J.R. 1967. – Constraints on variables in syntax. Ph. D Diss. Cambridge (Mass), 1967.
- Rögnvaldsson E. 1990. – Null objects in Icelandic // Modern Icelandic syntax. New York, 1990.
- Williams E. 1998 – The journal of comparative Germanic linguistics. V. I. 1998 – Rec: Jan-Wouter Zwart. The morphosyntax of verb movement: A minimalist approach to Dutch syntax. WOD 1995 – Word order in discourse. Downing, 1995.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

*H. Birnbaum, J. Schaeken. Das altkirchenslavische Wort: Bildung – Bedeutung – Herleitung. Altkirchenslavische Studien I. München: Sagner, 1997. 190 S. (Slavistische Beiträge; Bd. 348).*

Один из ведущих современных славистов, американский ученый Хенрик Бирнбаум, которого нет необходимости представлять российскому читателю (см., в частности, [Бирнбаум 1987]), и голландский исследователь сравнительно молодого поколения, Йос Схакен (известный основательной монографией о Киевских листках [Schaekel 1987]), издали книгу “Старославянское слово. Образование – значение – этимология. Старославянские исследования I”. И название, и избранный авторами язык изложения свидетельствуют, как кажется, о возвращении к добрым традициям славистики, для которой немецкий является языком классическим, а широковебательные подзаголовки типа “A new interpretation” никогда не были характерны; весьма показателен – и может только приветствоваться – неоднократно декларируемый отказ от новомодных концепций и трактовок в пользу традиционных, общепризнанных положений (см., например, с. 16, 84). Из предисловия явствует, что Х. Бирнбаум и Й. Схакен задумали целую серию разысканий о древнейшем письменном языке славян, отражающих современный уровень палеославистики: за первой книгой должна последовать монография “Письменная культура старославянского языка: Памятники языка и их культурно-исторический фон”, а далее – тома о фонетике и морфологии.

Рецензируемая книга состоит из пяти глав (обозначенных буквами – от А до Е). В главе А – “Общие предварительные замечания” – вкратце рассматриваются способы словообразования, присущие ст.-слав. языку, перечисляются его письменные источники, характеризуется состояние исследований в избранной области и формулируются цель и задачи работы. Здесь хотелось бы отметить несколько обстоятельств. Авторы,

пожалуй, впервые учитывают в обобщающем труде не только так называемые канонические ст.-слав. рукописи, но и недавно обнаруженные памятники, долженствующие пополнить канон. Фактологическая полнота работы сопровождается стремлением к описанию всех аспектов “учения о слове, за исключением морфологии” (с. 15). Преимущественное внимание уделяется, однако, словообразованию, наименее изученному и нуждающемуся в новом синтетическом описании.

В предварительных замечаниях к главе В – “Словообразование” (“Wortbildung”) – констатируется богатство и сложность ст.-слав. словообразования и подчеркивается, что авторы стремятся обрисовать лишь его основные черты, без попыток дать материал в полном объеме. На первый план при этом выдвигается диахронный подход, позволяющий проследить происхождение словообразовательных типов.

В образовании существительных авторы выделяют три способа: аффиксацию (Ableitung), в том числе суффиксацию и префиксацию, а также сложение и удвоение. Суффиксы разделяются на флекссионные и сложные (комплексные), а флекссионные, в свою очередь, – на вокалические (-o-l-jo-, -ā-l-jā-, -i-, -u-, -ī-) и консонантные (-men-, -en-, -ent-, -es-, -er-). Список ст.-слав. слов, иллюстрирующих флекссионные суффиксы, в одном случае желательно было бы дополнить: при перечислении \*i-основных существительных (с. 27–28) оказались неучтенными дѣти, хотя далее, по другому поводу, об отнесенности этого существительного к \*i-склонению упоминается (с. 33).

Для методических целей очень важными представляются нередкие указания на количество слов, образованных с помощью того или иного суффикса (resp. принад-

лежащих к определенной основе): так, среди имен на *-men-* фигурируют три masculina и семь neutra, среди образований на *-en-* – пять masculina, к *-ent-* основам причислены семь ст.-слав. существительных и т.д. Вечный дискуссионный вопрос о количестве *-и-* основных имен решается в монографии следующим образом: “несомненными” (*gesicherte*) старыми образованиями по основе на *-и-*, зафиксированными в ст.-слав. памятниках, признаны *волъ, врѣхъ, домъ, медъ, полъ*, “вероятными” (*wahrscheinlich*) – *гроздъ, грѣхъ, ледъ, садъ, ѡдъ*; особо оговорены формы с суф. *-nui/-nei-*: *санъ, станъ, сынъ, чинъ* (хотя тюркизм *санъ* включен в этот ряд, кажется, напрасно) – а также *сжкъ* (с. 29–30).

Мелкие замечания, возникающие при чтении данного раздела, таковы: непонятно, что должен означать апостроф в транслитерации русск. *roves'nik* (с. 35); греческую параллель к ст.-слав. *братръ* следовало бы дать в виде *φράτρ*, а не *φράтер* (с. 36).

Сложными считаются суффиксы, у которых вторая часть является одним из флекссионных суффиксов. Они анализируются в монографии в алфавитном порядке, в соответствии с традиционным принципом – по конечному консонантному элементу, который предшествует флекссионному суффиксу, например: *-b-* – *-oba* (*зълѡба*), *-ьba* (*дальба*), *-qb-* (*голѣбъ*), *-gb-* (*крѣбъ*); *-d-* – *-do* (*стадо*), *-dal/-zda* (*стыгда, оузда*, ср. *об-оу-ти*), *-oda* (*агода*), *-ьda* (*правьда*), *-dъ* (*плѣдъ*), *-ѣдъ* (*чѣлѣдъ*) и т.п. Это тщательное перечисление позволяет наглядно представить суффиксальное разнообразие ст.-слав. существительных с диахронической точки зрения, поскольку синхронно во многих случаях суффикс уже не вычленяется. Правда, квалификация существительных *овличик, поморик, загорик* как образований от предложно-надежных сочетаний (*об лице, по море* [почему не *по морю?*] – с. 39–40) кажется небеспорной: на наш взгляд, здесь имеет место префиксально-суффиксальный способ словообразования (кстати, *подъгорик* и *прѣдъдворик* на с. 53 рассматриваются как префиксальные дериваты, см. об этом ниже). Не вполне понятно, почему *златъ* (\**zoltъ*) – это образование с нулевой ступенью корневого гласного (с. 40).

Самое существенное замечание к разделу о суффиксации, дающему весьма подробную информацию о ст.-слав. суффиксах,

вызывает необъяснимое отсутствие в перечне формантов ряда образований на *-v-* (типа *дрѣжава, молнѣва, пнѣво, съставѣ, рывнѣвъ*); единственный словообразовательный тип с предфлекссионным *-v-* – существительные на *-ство* – помещен среди суффиксов с элементом *-t-* (с. 48).

Небольшой раздел о префиксации существительных (с. 51), в отличие от раздела о суффиксах, практически не содержит этимологической информации. Основным же его недостатком является то, что в большинстве примеров, квалифицируемых как случаи префиксации, выступают совершенно другие способы словообразования:

суффиксальный (так, *достоннѣство* образовано не от \**стоинѣство*, а с помощью суф. *-ство* от *достоннѣ*, *развоинникъ* – посредством суф. *-никъ* от *развоин*, *сжпрѣникъ* [на с. 53 ошибочно *сжпрѣникъ*] – от *сжпрѣ*; *вѣлазъ, вѣпросъ* – это не производные от \**лазъ* или \**просъ*, а отглагольные образования с нулевым суффиксом<sup>1</sup>, *вѣскрѣшеник*, *оврѣзаник*, *начало* – не префиксальные дериваты от \**крѣшение*, \**рѣзание*, \**чало*, а суффиксальные – от *вѣскрѣсити*, *оврѣзати*, *начати*; то же относится к *ицѣлитель*, *исповѣдъ*, *отатник* и мн. др.);

префиксально-суффиксальный (в частности, *везбожьство* образовано не с помощью приставки *без-* от *вожьство*, а посредством присоединения префикса *без-* и суф. *-ство* к производящей основе *вог-*, аналогично – *вештѣдник*, *подъгорик* и т.д.);

сложение с суффиксацией (так, *сжпроти-вовѣтрик* – это не образование с приставкой *сж-*, а сложение именных основ *сжпротив-* и *вѣтр-* + суф. *-ик*, причем наличие соединительного *-о-* явно свидетельствует именно о его композитном характере);

аблаут (в корне и/или приставке) с нулевой суффиксацией (*пророкъ* – от *прорешти*, *съборъ* – от *събрати*, *сжпржгъ* – от *съпрашти*).

Смешение морфемного и словообразовательного анализа, демонстрируемое в данном разделе, приводит к тому, что реальные префиксальные дериваты типа

<sup>1</sup> Например, для *вѣлазъ* может быть выстроена следующая словообразовательная цепочка: *лѣсти* → *лазити* → *вѣлазити* → *вѣлазъ*.

неволя, немощь, неправда, прѣмъдрость, правдѣтъ тонут среди существительных, которые следовало бы поместить в других разделах, к сожалению, отсутствующих в книге. Это смешение тем более досадно, что в непревзойденном до сих пор описании ст.-слав. языка – “Руководстве” А. Вайана [Вайан 1952: 228–234; Vaillant 1964: 206–212] – соответствующие явления описаны вполне корректно.

Краткий раздел о словосложении содержит полезные сведения об этимологии синхронно немотивированных композитов – **господь, потьвѣга (потьпѣга), медвѣдь, гоумно, чловѣкъ** (с. 54; ср. новейшую этимологию последнего слова [Patri 1995]). Среди сложных слов авторы выделяют образования с первым членом – именем существительным (**вогороднца**), прилагательным (**чръноризьць**), местоимением (**всьсвладыка**), числовым обозначением (**дъводоушик**), наречием (**пакыгытик**), предлогом (**междоурѣчик**) [в тексте, видимо, вследствие опечаток, **междоуречик** – с. 56, 136]), глаголом (**неысуть**). И здесь материал дает возможность для более подробного и точного описания словообразовательной системы, для выделения, наряду с достаточно редкими случаями чистого сложения (**врътоградъ, всьсвладыка, прьвожченикъ**), такого смешанного способа словообразования, как сложение с суффиксацией (**вогородица, вельможа, дрѣводѣла, жестоколѣганьникъ**), и для отнесения ряда примеров к другим способам: так, **вѣльвѣпта, цѣломждрик** – это суффиксальные дериваты от **вѣльвѣпъ** и **цѣломждръ** (не зафиксированного ст.-слав. рукописями, но известного из древнерусской письменности), а производные от неизменяемых частей речи (наречий и/или предлогов), равно как и образования с первой частью – падежной формой, являются либо сращениями (**пакыгытик**), либо сращениями с суффиксацией (**пжтьшьствик, ржковать, междоурѣчик**), в том числе нулевой (**вратоучадъ**).

Анализ субстантивных способов словообразования завершают редкие случаи удвоения – полного (**глаголь, клаколь, баба**) либо неполного, с усеченным вторым членом (**одежда < \*o-de-d-ja, тжтънь**).

Раздел об а д ъ к т и в н о м словообразовании открывается обзором именных прилагательных, причем особое внимание обращено на те лексемы, которые обра-

зованы, в отличие от большинства адъективов, не с помощью флексивных суффиксов *-o-* или *-ѣ-* (геср. в мужском и среднем и в женском роде), а посредством *-i-*, *-и-*, *-ѣ-*, *-и-*. Перечисляются все реликтовые *-i-*основные образования, которые в ст.-слав. языке уже не склоняются и обнаруживают функциональное сходство с наречиями (**исплънь, разлнчъ**) либо совершенно адвербиализовались (**влизь, оудобъ**)<sup>2</sup>. К этимологически *-и-*основным прилагательным отнесены **младъ, вѣдръ, сыръ, остръ**, к производным от основ на *-и-* – образования с расширением **-къ** (например, **гладъкъ**), а к производным от этимологических *-ѣ-* и *-и-*основных прилагательных – существительные жен. рода, иногда с расширением: **любьѣ, старнца, чръннца, простъѣни** (правда, аргументы в пользу такой трактовки не приведены). Думается, что в связи с вопросом о субстантивации следовало бы отметить общий генезис прилагательных и существительных, развивавшихся из прежде единой категории имени, с реликтами которой мы встречаемся и в ст.-слав. языке (ср. в [SJS] две статьи **прѣлюводѣи** – существительное и прилагательное).

Кроме того, возражения вызывает отнесение к числу непроемных (*das Simplex*) таких образований на *-j-*, в которых этот *-j-*, очевидно, является не основообразующим суффиксом-детерминативом, а словообразовательным формантом: **чловѣчь, кънажь**.

<sup>2</sup> С учетом значения церковнославянских памятников как источников по истории ст.-слав. языка здесь уместно привести недавно зарегистрированный нами пример склонения *i-*основного прилагательного, свидетельствующий о том, что несклоняемость изначально отнюдь не являлась конститутивным признаком подобных образований. В раннедревнерусской рукописи гимнографического содержания из собрания РГАДА, Тип. 131, которую Е.М. Верещагин предложил называть “Ильиной книгой”, зафиксирована форма род. пад. мн. числа *неишми* (ошибочно вместо *неишии*) от *\*-i-*основного имени *неимь* “необузданный, дикий”, до сих пор известного (в форме вин. пад. ед. числа *неемь*) только из перевода Хроники Георгия Амартола (*быкъ неемь* [Сл XI–XVII, II: 110]), ср.: ты бо множество *неишмии* - посѣче оучителю стѣ - 130об (канон Кириллу Философу, см. [Верещагин, Крысько 1999: 12]).

Неправильным представляется и написание **везоумль** (с. 58), которое игнорирует реальные примеры с **ь** в ст.-слав. текстах (см. хотя бы **везоумьльнъ**, **везоумьлю** в [ССС: 81]) и не учитывает того, что наличие в этом имени суф. **-ьл'** (а не **-j-**) доказывається однотипным церковнославянским образованием **овидьль** [Вайан 1952: 233; Vaillant 1964: 211; 1974: 561–562] (см. также [Соболевский 1900: 401; Diels 1932: 132]).

Разбор сложных суффиксов прилагательных проведен в рецензируемой монографии в целом столь же добросовестно и тщательно, как и анализ суффиксов существительных. Эти адъективные суффиксы разделены авторами на три группы. К первой – продуктивным односоставным (einfachkomplexe) – относятся **-ovъ/-evъ**, **-ьjъ**, **-ьskъ** (расцениваемый как германо-балто-славянская изоглосса), **-ьнъ**, **-инъ**, **-итъ**, **-атъ**, **-ѣнъ**, **-авъ**, **-ивъ** и **-ливъ**, **-тъ**. Вторая группа – продуктивные двусоставные суффиксы (zweifachkomplexe) – включает, в зависимости от второй части, образования трех видов: а) со вторым элементом **-jъ** – **-ьль**, **-ѣль** и **-ѣльнъ** (**въчерашьнъ**, **въчераштьнъ** – причем специально указано на несколько странный для славянского словообразования агглютинативный характер данных суффиксов), **-инъ**, **-ль** (от заимствованных имен: **авианьнъ**), **-ниць** и **-иць** (впрочем, с не вполне надежными примерами, из которых первый – **блазньничъ** – почти наверняка является дериватом на **-j-** от случайно незасвидетельствованного **\*блазньникъ** [но не от **\*blaznikъ** – с. 65], ср. **блазньно**, **блазньныи**, **блазньнѣ** в русско-церковнославянских памятниках [СДРЯ; I: 228]); б) со вторым элементом **-ьнъ** – **-овьнъ/-евьнъ**, **-ицьнъ**, **-иньнъ**, **-ивьнъ**; в) со вторым элементом **-ьskъ** – **-овьskъ/-евьskъ**, **-иньskъ**, **-ницьskъ**. Третью группу образуют непродуктивные суффиксы (среди которых есть и синхронно невычленяемые): **-въ** (**живъ**, **лѣвъ**, **сѣдравъ**), **-дъ** (**блѣдъ**, **радъ**, **сѣдъ**), **-лъ** (**драхлъ**, **топлъ**, **милъ**, **цѣлъ**), **-гъ** (**мждръ**, **старъ**), **-тъ** (**сватъ**, **чистъ**), **-ькъ/-ъкъ** (**горькъ**, **сладъкъ**), **-екъ/-окъ** (**высокъ**, **далекъ**), **-къ** (**великъ**).

С отдельными аспектами приведенной классификации согласиться трудно. Во-первых, неясно, почему к числу односоставных отнесены суффиксы **-ьн-атъ** (**перьнатъ**) и **-l-ivъ** (причем его вариант в постконсонантной позиции **-ьl-ivъ** вообще

не оговорен<sup>3</sup>). Во-вторых, едва ли можно признать исторически обоснованной характеристику суф. **-тъ** (**невидимъ**, **видомъ**) как изначально причастного: напротив, залоговая функция кристаллизовалась у него лишь постепенно, в процессе грамматикализации залоговой оппозиции актив : пассив (см. [Крысько 1997: 371]). В-третьих, кажется неоправданным включение в группу продуктивных таких суффиксов, которые сами же авторы считают малоупотребительными (**-инъ**, **-ль**, **-ниць**, **-иць**, а также **-ицьнъ**, **-иньнъ**, **-ивьнъ** – “совершенно единичные, эфемерные образования” – с. 65). В-четвертых, непонятно, почему к непродуктивным причислен суф. **-ъкъ**, весьма продуктивный на всем протяжении славянской языковой истории (ср. позднейшие русск. **ковкий**, **плавкий**, **шаткий**, **веский** и т.п.). Наконец, констатируя синхронную невычленяемость ряда непродуктивных суффиксов, выявляемых лишь на индоевропейском фоне, авторы, вопреки принятой в монографии и заслуживающей всяческого одобрения практике постоянного соотнесения старославянского материала с индоевропейским, никак не аргументируют производный статус таких, например, прилагательных, как **лѣвъ**, **хощъ**, **бѣлъ**, **храбръ**, **сватъ** и др.

Старославянские адъективные композиты разделяются в книге, согласно классификации Р.М. Цейтлин [Цейтлин 1977: 193], на единичные (с малоупотребительным первым элементом, типа **четверъногъ**, **звѣроадимъ**) и групповые (с высокочастотным первым элементом: **благообразьнъ**, **доброразоумивъ**, **иночадъ** и др.) – хотя, конечно, такое подразделение весьма условно, поскольку базируется лишь на данных ограниченного круга канонических текстов. Как реликт редупликации отмечено прилагательное **гжъгънивъ**.

Раздел о прилагательных завершается кратким рассмотрением местоименных (членных) форм и сравнительной степеней.

Переходя к местоимениям, авторы вынужденно изменяют своему до сих пор достаточно строго соблюдавшемуся принципу – разграничивать словообразование и этимологию, поскольку образование местоимений, особенно личных, можно проследить лишь в сравнительно-истори-

<sup>3</sup> Параллельный сложный суффикс со вторым элементом **-av-** – **-ьl'av-** – наличествует в ц.-слав. **течьльава** “распутная” [Верещагин, Крысько 1999: 12].

ческом плане. Впрочем, и в этих рамках удержаться не удается, так как при анализе отдельных падежных форм приходится выходить за пределы и словообразования, и этимологии и обращаться к чисто морфологическим вопросам. Дискуссионными в данном разделе представляются лишь отдельные положения: вряд ли стоило объединять формы дат. и твор. пад. мн. числа **намъ** и **нами** общим обозначением “DI-Formen” (с. 74) – ведь упоминание об энклитике **ны** сразу создает неверное впечатление о существовании такой энклитической формы не только в дative, но и в инструменталисе; излишне и предположение о возможности объяснения сравнительно позднего аккузатива **васъ** не только из род. пад., но и из исконной формы вин. пад. \**udъ* (с. 75).

Анализируя ч и с л о в ы е с л о в а под традиционным обозначением “Das Zahlwort” (“Числительное”), авторы совершенно справедливо указывают, что соответствующие лексемы не образуют единой части речи, но относятся либо к существительным, либо к местоимениям, либо к прилагательным. В данном разделе синхронно-словообразовательный подход по очевидным причинам также заменен этимологическим.

Раздел о г л а г о л е содержит беглый, но достаточно полный обзор различных классов глагольных основ и нефинитных форм глагола. В отдельных случаях авторы несколько модернизируют соотношение презентной и инфинитивной основ, подравнивая инфинитив под формы наст. вр.: так, для презенса **доушж** инфинитив по системным соображениям и с учетом церковнославянских данных лучше восстановить в виде **дъхати**, а не **дыхати** (с. 88, см. [Вайан 1952: 302; Vaillant 1964: 275; 1966:316]), для **лижж** – **льзати**, а не **лизати** (с. 93, см. [Вайан 1952: 301; Vaillant 1964: 274], ср. также имперфект **льзашу** в русско-церковнославянском Прологе 1383 г. [СДРЯ, IV: 447])<sup>4</sup>. Кроме того, огорчает отсутствие собственно словообразовательного описания глагольной системы.

Заключительный раздел главы о словообразовании посвящен н е и з м е н я е м ы м частям речи. К краткому, но вполне

<sup>4</sup> Русско-церковнославянские источники позволяют расширить этот аблаутный подкласс глаголом (*раз*)**гъбати**, (*раз*)**гоублю**, ср.: *разгъбавъ* (διήνοξας) Ильина книга, 48об, *гъбати* СбТр к. XIV, 185об [СДРЯ, II: 406] – *разгублють* (ἀναπτύξουσιν) Пятикн., 149, XIV в. [Сл XI–XVII, 21: 177].

исчерпывающему перечислению словообразовательных типов наречий хотелось бы добавить лишь небольшой и не претендующий на окончательное решение вопроса комментарий, касающийся загадочного мультипликативного суф. *-šьdi/-šьdy /-šdi /-šti* (с. 99). На наш взгляд, наличие в древнерусских памятниках вариантов **-шьды** (например, *многашьды*, *тришьды* в Изборнике 1076 г., Выголексинском сборнике конца XII в., Успенском сборнике XII/XIII вв. и мн. др.), **-шьда** (*кшшьда* в Ефремовской кормчей XII в., 1776 [СДРЯ, III: 209])<sup>5</sup>, *иношьда* в Троицком сборнике XII/XIII вв., 177, см. [Крысько 1998: 201], *трижда* в Сильвестровском сборнике втор. пол. XIV в., 106б, *елижда*, *колижда*, *дважда*, *многожда* в Словах Григория Богослова конца XIV в., 71б, 84в, 91в, 136а, *четырижда* в Софийском сборнике XIV/XV вв., 11в [по СДРЯ и Картотеке СДРЯ] и др., см. [Срезн., s.v. *многижда*, *трижьда*; Соболевский 1913: 387–388; Tangl 1954: 144–145]) и **-шьдъ** (недавно обнаруженного в новгородской берестяной грамоте № 752 конца XI в.: *тришьдъ*, ср. [Зализняк 1995: 231], – и зафиксированного нами в Пандектах Никона Черногорца по списку перв. пол. XIV в., ГИМ, Муз. 3449: *многошьдъ* 21в, *тришьдъ* 47б) подтверждает догадку П.С. Кузнецова о причастном происхождении **-шьды** [Борковский, Кузнецов 1963: 309], а точнее – позволяет интерпретировать эти форманты как восходящие герср. к действительному причастию наст. вр. (в южнославянской огласовке – *šьdy*, в восточнославянской – *šьda*) и действительному причастию прош. вр. (*šьдъ*) от глагола, который, по-видимому, правомерно реконструировать с аблаутом – в виде \**sisti* < \**s'eidtei* < \**xeid-*: \**šьdq* < \**xid-* (ср. \**čisti* : \**čьtq*, \**cvisti* : \**свьtq*, см. [Vaillant 1966: 148, 149, 176]) – и который являлся таким же производным для итератива *ходити* и девербатива *оушидь* “беглец”, как *нисти* (< \**neiz-*) : *нъзоу* (< \**niz-*) – для *-нозити* и *обнизь*, *пронизь* (ср. [Pjinskij 1913: 13–14; Diels 1932: 94; Трупицко 1947: 15–16; Vaillant 1966: 411]). На фоне широкой синонимии глаголов движения сосуществование этой лексемы с *ити*, так же как и позднейшая (хотя и дописываемая) контаминация их парадигм (*ити*, *ьdq* – *šьдъ*, *šьdlъ*), не вызывают удивления. В сочетании с

<sup>5</sup> У А.И. Соболевского [Соболевский 1913: 387] – по всей видимости, вследствие опечатки – *влишьда*.

обстоятельственным винительным или родительным ед. [Крысько 1997: 63, 68, 158] в форме ед. (*ino* – вин., *sedmi* – род.), дв. (*dъva*) или мн. числа (*tri*, *tъnoga*) и с наречиями (*koli*, *jeli*) причастные формы глагола \**sisti* образовывали конструкции с семантикой типа "много (два (раза)<sup>6</sup>, три (раза)...) ступив, пройдя / ступая, идя"<sup>7</sup>. Универбация этих словосочетаний привела к превращению глагольных форм в аффиксы, а контаминация генетически отглагольного форманта -*шьды* с наречным суф. -*шти* (см. [ЭССЯ, 5: 187, 193]), особенно вероятная после падения редуцированных, обусловила возникновение гибридных написаний -*шьди* (вместо -*шьды*), -*шди* (вместо -*шти*). Тем самым применительно к ст.-слав. материалу кажется резонным говорить только о двух суффиксах счетных наречий: -*шьды* и -*шти* – и об их вторичных вариантах -*шьди* и -*шди*<sup>8</sup>.

Глава С – "Семантика" ("Wortbedeutung") – включает сведения о синонимике, а также списки различных групп лексики: из сферы повседневной жизни, природных явлений, христианско-религиозной области, правовой и политико-административной сферы.

Глава D – "Этимология" ("Wortherleitung") – продолжает и венчает этимологические экскурсы, в обилии рассеянные по предыдущим главам. Авторы разделяют

<sup>6</sup> Ср. использование вин. и род. пад. от счетных имен в мультипликативном значении без определяемого существительного: *кланъкъщюса три десѣти* (Синайский патерик XI в., 129об [Крысько 1997: 66]), *двою* "дважды" [Сл XI–XVII, 4: 195]), *рѣша же три десѣте* "тридцать раз" в ц.-слав. рукописи XV в. [Соболевский 1913: 387].

<sup>7</sup> О вторичном характере наречий типа *однажды*, *единожды* см. [Tangl 1952: 214]; *многжды*, *одишжды*, *стижды*, судя по всему, отражают аналогическое обобщение *-и-* (ср. [Tangl 1954: 139]).

<sup>8</sup> Другие варианты суффикса: -*шьду* (*тришьдоу* [Соболевский 1913: 387; Карский 1913: 475]), -*ждѣ* (*многаждѣ* в Пандектах Никона Черногорца конца XIV в., 326 [по Картотеке СДРЯ]), также, очевидно, связаны, как справедливо полагал Ю. Трыпучко, с "многообразием" (*wielopostaciowość*) наречий [Труцко 1947: 27], с влиянием различных по происхождению формантов (ср. *-у/-ю* в *дъвощюу*, *дъвократию*, *къдиною*, -*ѣ* в *дъвоичѣ* [СДРЯ]).

ст.-слав. лексику с точки зрения проис-хождения на и с к о н н ы е (унаследован-ные) слова (Erbwörter), в том числе общеславянские, праславянские, балтославянские и индоевропейские, н е о л о г и з м ы (Neuschörfungen), обязанные своим возникновением языковому гению Константина-Кирилла и языковому чутью его соратников, к а л ь - к и (Lehnprägungen), трудно отделимые от неологизмов (*градъникъ* – *πολίτης*, *добръговѣинъ* – *εὐλαβής*), и з а и м с т в о - в а н и я – либо морфологически освоенные, т.е. склоняемые (Lehnwörter – *богъ*, *кънась*, *кънигы*), либо грамматически не освоенные (Fremdwörter – *авва*, *серафимъ*). Недочетом данной главы является, по нашему мнению, отсутствие примеров собственно неологизмов, которые, хотя и выделены в самостоятельную группу лексики, в тексте никак не ограничены от калек.

Если разобранные выше главы монографии, при всей оригинальности подачи материала и широте использованной литературы, все же в значительной своей части являются синтезом уже известного, то последняя глава (E) – "Приложение: Лексика новонайденных рукописей и надписей" – вводит читателя в потерянный и обретенный мир лишь недавно открытых и даже еще не полностью опубликованных текстов. Правда, некоторые из этих памятников (например, Енинский апостол или Боянский палимпсест) знакомы российским исследователям благодаря публикациям болгарских коллег, вполне доступным в прежние годы, большинство же если и известны у нас, то главным образом понаслышке. В рецензируемой монографии вкратце охарактеризованы (с прибавлением достаточно подробных сведений о словарном составе) следующие новонайденные источники (далее указываем их публикации, порой вышедшие уже после сдачи рецензируемого труда в печать): *глаголические* – Санкт-Петербургский октоих (частично опубликован: [Lunt 1958]), Зографский палимпсест [Добрев 1971], Боянский палимпсест [Добрев 1972], Синайский отрывок [Altbauer, Mareš 1980], новая часть Синайского евология (факсимиле – [Tarnanidis 1988: 219–247], наборный глаголический текст – [Schnitter, Miklas 1993: 163–218]), новая часть Синайской псалтыри [Mareš, ed. 1997], Псалтырь Димитрия (из 145 листов опубликованы отдельные отрывки: [Tarnanidis 1988: 91–100, 192]), Синайская минья (несмотря на небольшой объем сохранившегося фрагмента 2 листа, издана лишь частично: [Tarnanidis 1988: 196–197; 1990]), Синайский миссал

(описан, но не опубликован: [Tarnanidis 1988: 103–108]), к и р и л л и ч е с к и е – Енинский апостол [Мирчев, Кодов 1965], Софийская триодь [Кодов 1966], Ватиканское евангелие [Кръстанов и др. 1996]<sup>9</sup>; кроме того, упомянуты некоторые лексемы, почерпнутые из вновь открытых древнеболгарских надписей (см. сводные издания [Смядовски 1993; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994]).

Заслугой Х. Бирнбаума и Й. Схакена следует признать не только сведение воедино всей доступной ко времени написания книги информации о перечисленных памятниках, но и, в особенности, составление полных списков лексем, отсутствующих в текстах ст.-слав. канона и лишь частично отраженных в старославянской лексикографии. В отдельных случаях, однако, представляется необходимым уточнить приводимые начальные формы. Так, последовательность [дл] в *мьдль* или *мьдливъ* (Енинский апостол; с. 140–141) – т.е. в позиции, не испытывавшей, в отличие от *длань*, метатезы плавного, – до эпохи падения редуцированных в ст.-слав. языке невозможна, и раннедревнерусские тексты однозначно свидетельствуют в пользу [дъл] – тогда как корень правильное было бы передавать через *ъ*: *мьдъливъ* [Крысько 1996: 28]. Аккузатив *рѣдоковъ*, зафиксированный в медицинском приложении к Псалтыри Димитрия (с. 147), естественнее возводить не к *ἀπαξ λευόμενον* \**рѣдоковъ* (\**o*-masculinum?), а к хорошо известному из церковнославянских памятников \**й*-femininum (с вокализмом корня, колеблющимся по отдельным языкам) *рьдыкы* / *редькы* [Фасмер 1996, III: 460] – в данном случае, видимо, в огласовке *рѣдыкы* (род. пад. *рѣдыкъве*, вин. пад. *рѣдыкъвь*, с отражениями процесса падения редуцированных – *рѣдоковъ*). Другое название растения из того же фрагмента, *чрѣмошь*; ввиду русской параллели *черемша* также правомернее изобразить в нормализованной форме с редуцированным: *чрѣмъшь*. Напротив, *кдинодоушьвьнъ* (Синайская миная; с. 149) лучше было бы передать в виде *кдинодоушьвьнъ*.

Достойным завершением обобщающего труда двух ученых являются монументальный список литературы (с. 153–170), охватывающий почти всю релевантную литературу по палеославистике, особенно после-

военного периода, и подробнейший указатель слов, упоминаемых в книге (с. 171–190). Иногда, впрочем, этот указатель может дезинформировать читателя, поскольку демонстрирует под одной леммой омонимы (так, существительное *дѣти*, встречающееся на с. 33, помещено среди отсылок к глаголу *дѣти*<sup>10</sup>, а существительное *небо* объединено с союзом *небо*, разбираемым на с. 109) либо, наоборот, разбивает одну лексему на две (для *plurale tantum* *кънѣгы* приведены леммы *кънѣга* и *кънѣгы*).

В целом монография Х. Бирнбаума и Й. Схакена должна быть оценена как весьма полезный труд, соединяющий полноту обзора с современными трактовками, глубину освещения материала с доступностью и традиционностью – в лучшем смысле этого слова. Нет сомнения, что она станет настольной книгой для всех интересующихся славянской языковой историей (и, приходится добавить, читающих по-немецки). Остается лишь пожелать авторам продолжить их сотрудничество в соответствии с тем впечатляющим планом, который намечен в предисловии<sup>11</sup>, а российскому читателю – увидеть перевод монографии на русский язык, естественно, с устранением отмеченных недочетов<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Заметим, что на с. 22 для этого глагола ошибочно указано 1-е л. ед. числа наст. вр. (*дѣждж*), хотя в других случаях приведена правильная форма *деждж* (с. 86, 93, 133).

<sup>11</sup> Во время редакционной работы над рецензией вышла в свет вторая часть "Старославянских исследований" – "Старославянская письменная культура: История – Звуки и письменные знаки – Памятники языка (с отрывками из текстов, глоссарием и образцами словоизменения)" [Schaeken, Birnbaum 1999], имеющая, насколько можно судить по предварительному просмотру (обе части доступны в компьютерном варианте), более справочный и методический характер.

<sup>12</sup> Рецензия написана в период стажировки автора в Упсальском университете, субсидированной Шведским фондом интернационализации высшего образования и исследований (STINT). Материал "Ильиной книги" исследовался в рамках работы по проекту "Лингвистическое исследование и подготовка к изданию архаичного источника – Ильиной книги" (грант РФНФ № 99-04-00102а).

<sup>9</sup> Более подробный обзор указанных источников см. в недавней публикации одного из соавторов [Schaeken 1998].

- Бирнбаум Х.* 1987 – Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
- Борковский В.И., Кузнецов П.С.* 1963 – Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Вайан А.* 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Верецагин Е.М., Крысько В.Б.* 1999 – Наблюдения над языком и текстом архаичного источника – Ильиной книги // ВЯ. 1999. № 2.
- Добрев И.* 1971 – Палимпсестовите части на Зографското евангелие // Константин-Кирил Философ: Доклады от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. София, 1971.
- Добрев И.* 1972 – Глаголическият текст на Боянския палимпсест: Старобългарски паметник от края на XI век. София, 1972.
- Зализняк А.А.* 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Карский Е.Ф.* 1913 – Архангельское Евангелие 1092 г. // РФВ. 1913. Т. 69.
- Кодов Х.* 1966 – Фрагмент от старобългарски ръкопис с глаголическа приписка // Климент Охридски: Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София, 1966.
- Кръстанов Т. и др.* 1966 – *Кръстанов Т., Тотоманова А.-М., Добрев И.* Ватиканско евангелие: Старобългарски кирилски апракос от X в. в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502. София, 1996.
- Крысько В.Б.* Маргиналии к "Старославянскому словарю" // ВЯ. 1996. № 5.
- Крысько В.Б.* 1997 – Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. М., 1997.
- Крысько В.Б.* 1998 – Поправки к I–IV томам *Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)* // RЛing. 1998. V. 22. № 2.
- Мирчев К., Кодов Х.* 1965 – Енински апостол: Старобългарски паметник от XI в. София, 1965.
- СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–IV – М., 1988–1991–.
- Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–24–. М., 1975–1999–.
- Смядовский С.* 1993 – Българска кирилска епиграфика, IX–XV век. София, 1993.
- Соболевский А.И.* 1900 – ЖМНП. 1900. Ч. 327 – Рец.: *Щекин В.Н.* Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899.
- Соболевский А.И.* 1913 – Редкая форма местного падежа // РФВ. 1913. Т. 69.
- Срезн. – *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка (репринт. изд.). Т. I–III. М., 1989.
- ССС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994.
- Фасмер М.* 1996 – Этимологический словарь русского языка: В 4-х томах. СПб., 1996.
- Цейтлин Р.М.* 1977 – Лексика старославянского языка. М., 1977.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 1–25–. М., 1974–1999–.
- Altbauer M., Mareš F.V.* 1980 – Fragmentum glagoliticum Evangelii palaeoslovenici in codice Sinaitico 39 (palimpsestum) // Anz. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. 1980. Bd. 117. Hft. 6.
- Diels P.* 1932 – Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
- Ijinskij G.A.* 1913 – Die Reduktionsstufe in den Wurzeln ohne Sonanten in den slavischen Sprachen // AfslPh. 1913. Bd. 34. Hft. 1.
- Lunt H.G.* 1958 – On Slavonic palimpsests // American contributions to the Fourth International congress of slavists, Moscow, September 1958. 's-Gravenhage, 1958.
- Mareš F.V., ed.* 1997 – Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). Wien, 1997.
- Patri S.* 1995 – Une mutation lexicale en slave commun: les noms de l' "homme" // Slavia. 1995. Roč. 64. Seš. 4.
- Popkonstantinov K., Kronsteiner O.* 1994 – Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. Salzburg, 1994. (Die slawischen Sprachen; Bd. 36).
- Schaeken J.* 1987 – Die Kiever Blätter. Amsterdam, 1987.
- Schaeken J.* 1998 – Palaeoslovenica. Würdigung, neuentdeckter Handschriften // Dutch contributions to the Twelfth International congress of slavists, Cracow: Linguistics. Amsterdam; Atlanta, 1998.
- Schaeken J., Birnbaum H.* 1999 – Die altkirchenslavische Schriftkultur: Geschichte – Laute und Schriftzeichen – Sprachdenkmäler (mit Textproben, Glossar und Flexionsmustern). Altkirchenslavische Studien II. München, 1999 (Slavistische Beiträge; Bd. 382).
- Schnitter M., Miklas H.* 1993 – Kyrillomethodianische Miscellen // Anz. für slav. Philologie. 1993. Bd. 22/1.
- SJS – Slovník jazyka staroslověnského. 1–52. Praha, 1958–1997.
- Tangl E.* 1952 – ZfsIPh. 1952. Bd. 21 – Rec.: Трупској. Słowiańskie przysłówki liczebnikowe typu stesł. *dvašdi, trišti.* Uppsala, 1947.

- Tangl E. 1954 – Zur Bildung der Multiplikativa auf -šdy, šdy // ZfslPh. 1954. Bd. 22.
- Tarnanidis I.C. 1988 – The Slavonic manuscripts discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988.
- Tarnanidis I.C. 1990 – Glagolitic canon to Saints Peter and Paul (Sin. Slav. 4/N) // Filologia e letteratura nei paesi slavi. Roma, 1990.
- Трупуцко Ј. 1947 – Słowiańskie przysłówki liczebnikowe typu *stęst. dwašdy, trišti*. Uppsala, 1947.

- Vaillant A. 1964 – Manuel du vieux slave. T. I: Grammaire. P., 1964.
- Vaillant A. 1966 – Grammaire comparée des langues slaves. T. III: Le verbe. P., 1966.
- Vaillant A. 1974 – Grammaire comparée des langues slaves. T. IV: La formation des noms. P., 1974.

V.B. Крысько

**Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность.** СПб.: "Наука", 1996. 264 с.

Вышла из печати очередная и – не побоимся сказать об этом сразу же – одна из лучших монографий в серии "Теория функциональной грамматики" (ТФГ). Читатель, который внимательно следит за развернувшимися с 1987 года исследованиями функционально-семантических полей, "объединяющих средства выражения основных семантических категорий грамматики" [ТФГ 1996: 3], теперь может познакомиться с проблематикой качественности и количественности в интерпретации авторов, разделяющих основополагающие теоретические позиции лингвистической школы, признанным лидером которой является А.В. Бондарко.

Серия еще не завершена (настоящая монография – предпоследняя) и делать окончательные обобщения о ней еще рано, но уже сейчас ясно: перед нами труд, не имеющий аналогов в отечественной лингвистике ни по широте и многоплановости привлекаемого материала, ни по той исключительной последовательности, с которой проводятся в жизнь основные методологические установки данной теории.

Один из главных методологических принципов, о котором, прежде чем перейти к обзору содержания книги, нам хотелось бы сказать отдельно и от отношения к которому в первую очередь зависит полученное читателем впечатление, – отказ от идеи независимости грамматики и лексики. Многие говорят, что грамматическое, то есть регулярное, обязательное, семантически обобщенное, частотное, предсказуемое, характеризующее открытые классы единиц должно изучаться иначе и описываться иными правилами и иными содержательными обобщениями, чем лексическое, свойства которого прямо противоположны – лексические явления происходят в закрытых классах единиц,

лексические значения конкретны и специфичны, в лексике регулярна нерегулярность и обязательна необязательность. Все как будто свидетельствует о том, что метод, которым мы пользуемся, когда хотим узнать нечто содержательное о грамматике, должен быть иным, чем тот, с помощью которого познается лексика.

Теория функциональной грамматики с этим не спорит. Но именно такое положение вещей и является для нее отправным пунктом теоретизирования: коль скоро лексика и грамматика настолько отличаются друг от друга, познающий может легко упустить из виду связующее звено – то фундаментальное свойство, что обе они обеспечивают язык возможностью отправлять свои основные – коммуникативную и когнитивную – функции. Все знают, что сходные значения могут в языке выражаться разноструктурными средствами. Но, пожалуй, только теория функциональной грамматики беспокоится о том, чтобы "характеристики значений, базирующихся на одной и той же семантической категории", не оказались "рассеянными по разным частям грамматики" [ТФГ 1987: 3]. Выход, который предлагает ТФГ, достаточно радикален: провозглашается "отсутствие ограничений в отношении характера и типа охватываемых (...) формальных средств, т.е. формальная неограниченность" (разрядка наша. – С.Т.) [ТФГ 1987:38]. Принцип формальной неограниченности, обеспечивающий теории формальную полноту, предопределен подходом к предмету исследования: функциональная грамматика нацелена "на изучение и описание функций единиц строя языка и закономерностей функционирования этих единиц во взаимодействии с равноуровневыми элементами окружающей среды;

грамматика данного типа рассматривает в единой системе средства, относящиеся к разным языковым уровням, но объединенным на основе общности их семантических функций" [ТФГ 1987: 6] (разрядка наша. – С.Т.).

Процитированное здесь описание целей и задач ТФГ дает повод сформулировать следующий вопрос: соотносятся ли каки-нибудь подход к описанию языка, развиваемый в русле функциональной грамматики, с тем направлением лингвистического теоретизирования, которое на Западе получило известность как функционализм? Является ли апелляция к понятию функции, присутствующая в названии обоих направлений, случайным совпадением, или за этим скрывается их идейная и методологическая близость? Возможно, сама постановка этой проблемы вызовет у кого-то недоумение, и с исторической точки зрения это вполне оправданно: эти теоретические направления развивались полностью независимо друг от друга. Но в высказывания их лидеров иногда обнаруживаются поразительные совпадения. "Функциональный подход, – говорит А.В. Бондарко, – интегрирует разноуровневые языковые средства – морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексические – на базе общности их функций" [ТФГ 1987: 3]. "Язык – это социально-культурная деятельность", – как будто соглашается с ним Т. Гивон [Givón 1995:9], излагая то, что он называет "нежно взлелеянными предпосылками (cherished premises) функционализма", – "а языковая структура обслуживает его когнитивную или коммуникативную функцию" (разрядка наша. – С.Т.).

Однако дальше пути функциональной грамматики и функционализма резко расходятся. Функциональная грамматика исповедует "комплексный и интегрирующий подход, при котором за основу берутся семантические категории грамматики и семантические функции, объединяющие разноуровневые языковые средства. Лингвистический анализ направлен на изучение взаимодействия элементов разных уровней на функциональной основе" [ТФГ 1987: 7]. Предметом анализа становятся объединения разноуровневых языковых средств, имеющие функциональную основу, – функционально-семантические поля. Функционализм движения в другом направлении: его интересует в первую очередь изоморфизм структуры и функции, и к рассмотрению привлекаются

только те семантические категории, которые кодируются в грамматике, но не в лексике. Соответственно, для функционализма немыслима сама постановка вопроса о том, чтобы охватить все "элементы разных уровней", ответственных за выражение некоторого значения.

Еще одно существенное отличие функционализма и функциональной грамматики – типологическая ориентация первого и атипологичность последней. Большинство функционалистов уверено, что наиболее существенную информацию о естественном языке невозможно получить, пока предметом рассмотрения является единственный язык. Действительно, если нас в первую очередь интересует изоморфизм структуры и функции, формы и значения, то, чтобы ответить на вопрос, как функция/значение мотивирует структуру/форму, мы должны сперва узнать, ограничены ли и если ограничены, то каким образом, пределы, в которых структура/форма может варьировать. Чтобы что-нибудь об этом узнать, внутриязыкового исследования недостаточно, необходимо межязыковое сопоставление: исследователь ищет, что бывает в естественном языке, и – намного важнее – чего в нем не бывает. Последователи функциональной грамматики значительно более независимы от межязыковых данных. Предмет их исследования – функционально-семантические поля – мыслится как система различных языковых средств конкретного языка, который обслуживают ту или иную семантическую категорию. Соответственно, "лишь на базе одного языка может быть последовательно проведено рассмотрение совокупности основных ФСП как определенной системы" [ТФГ 1987: 3–4]. Если представить себе расширенное исследование, проводимого в русле ТФГ, за пределы естественного языка – а именно это и происходило почти в каждой из опубликованных в последние годы монографий – то, дойдя на этом пути до логического конца, мы будем иметь "универсальное ФСП", которое получено объединением всех языковых средств всех языков, которые ответственны за выражение того или иного значения. Для функционалистов же, напротив, наиболее ценно то, что обнаруживается на пересечении и грамматических систем конкретных языков.

Эти предварительные замечания, возможно, помогут читателю, которому не случалось раньше близко познакомиться с достижениями одной из ведущих в российской лингвистике научных школ, и

теперь мы переходим к беглому обсуждению содержания монографии.

Во вступительных замечаниях А.В. Бондарко определяет функционально-семантическое поле качественности как базирующееся на семантической категории качественности и объединяющее (как и другие ФСП, выделяемые авторами ТФГ) равноуровневые средства языка, взаимодействующие на основе общности квалитативных функций. Качественность характеризуется как ФСП полицентрического типа: у него имеется два центра – атрибутивный и предикативный. Этим качественность отличается, к примеру от акцентуальности, темпоральности, модальности и других ФСП, имеющих только один центр – предикативный. Аtribuтивный центр качественности образуют конструкции с определениями, выраженными полными прилагательными или причастиями (*большая лодка, безущий мальчик*), предикативный центр – конструкции с именным сказуемым типа *он умен, он умный, он отличник*. Аtribuтивная качественность менее дискретна, чем предикативная: в предикативной конструкции признак приписывается носителю, а в атрибутивной признак и его носитель объединены в составе некоторого комплекса и даже могут полностью сливаться (*красавица, умница, озорник*). Автор подчеркивает, что не следует смешивать выделяемые им два типа качественности (атрибутивный и предикативный) с лежащим на поверхности различием между двумя типами синтаксических конструкций, т.е. между синтаксическими функциями атрибута и предиката. В высказывании *Умный человек так не скажет*, например, атрибутивная качественность (*умный человек*) сочетается со "скрытой предикацией" выражаемого признака ("Если человек умен, то...").

Отдельно обсуждается включение компаративности в сферу качественности. Компаративность рассматривается как качественность с категориальным признаком степени качества и, тем самым, как своего рода синтез категорий качественности и количественности. Однако результат этого взаимодействия двух категорий следует, по мнению автора, считать качеством (*более сильный, самый сильный*), а не количеством.

Поскольку качественность предлагается рассматривать как одну из семантических характеристик высказывания, необходимо иметь инструмент для описания качественности не только на уровне высказывания. Репрезентация категорий качественности в высказываниях – к в а л и т а -

тивная ситуация, в которой инвариантным является приписывание некоторому носителю качественный характеристики, а средства формального выражения качественности варьируют.

В соответствии с проведенным во «Вступительных замечаниях» разделением на основную качественность (без признака степени качества) и компаративность (качественность с признаком степени качества) описание ФСП качественности разбито на две части – «Содержание и типы качественности» и «Компаративность».

В первом разделе – «Качественность и субстанциальная семантика» (В.М. Павлов) – обсуждается употребление понятий качество, свойство, признак в философской и лингвистической литературе, и анализируются прилагательные с точки зрения того, как они выражают качества-свойства. Грамматический класс прилагательных рассматривается как полевая структура, центр которой составляют единицы, обозначающие качества-свойства, а на периферии расположены единицы, передающие качества-свойства, а на периферии расположены единицы, передающие предметные связи и не выражающие качественности. Среди качественных прилагательных далее выделяются собственно качественные (объективно-качественные, чисто атрибутивные) и качественно-оценочные (в которых присутствует субъективно-оценочный момент).

Предикативная качественность (М.Д. Воейкова и Ю.А. Пупынин), которую авторы прежде всего связывают с понятием свойства, подразделяется на адъективно-предикативную качественность (которая далее распадается на два класса – выраженную с помощью кратких vs. полных прилагательных), субстантивно-предикативную качественность, глагольную качественность. Каждый из этих частных случаев качественности допускает и более дробную классификацию (например, адъективно-предикативная качественность может выражаться с помощью кратких vs. полных прилагательных), и это, пишут авторы, связано с тем, что «семантика свойства обнаруживает сложное переплетение интегрирующего и дифференцирующего аспектов, в результате чего создаются объективные условия для ее языковой субкатегоризации» (с. 53).

Употребление прилагательного в предикативной позиции более подробно охарактеризовано в разделе, написанном М. Гиротвербер. Такое прилагательное имеет одну из трех форм – краткую форму, форму именительного или творительного падежа, причем

в некоторых контекстах допустимы два или три варианта. Выбор формы прилагательного определяется совокупностью разнородных факторов: лексических, морфологических, синтаксических, стилистических, прагматических. Утверждается, что только синхронный анализ этой области языка не позволяет объяснить выбор той или иной формы и лишь констатирует множественность и противоречивость употреблений, поэтому предлагается использовать би-синхронный метод, разработанный П. Гардом. Этот метод предусматривает сведение языковых фактов к двум различным моделям, каждая из которых содержит некоторое множество правил. Эти два множества правил частично пересекаются, т.е. имеют общую часть и отличия.

Общая часть двух моделей включает правила, предписывающие или запрещающие употребление КФ в предикативной позиции, и называется «микрограмматикой краткой формы». Микрограмматика состоит из морфологии, лексики и синтаксиса. К морфологическим правилам относится список прилагательных, не имеющих краткой формы (в силу своего значения, происхождения или по морфонологическим причинам). Лексические правила описывают различия в семантике краткой и полной форм (*живой* – *жив*, *правый* – *прав*) и различия, обусловленные разной частотностью лексем (среди прилагательных, имеющих краткую форму, преобладают частотные единицы). Разница в семантике полной и краткой форм трактуется как семантическая специализация краткой формы в предикативной функции, т.е. как сужение значения у краткой формы по сравнению с полной. Наиболее важная часть микрограмматики – синтаксис. Здесь релевантными являются следующие факторы: наличие дополнения у прилагательного (в этом случае должна быть употреблена краткая форма), временная характеристика высказывания (краткая форма употребляется в генерических высказываниях), форма и тип подлежащего, контекст.

М. Гиро-Вебер описывает две модели поведения прилагательных в предикативной позиции. Модель А, наряду с микрограмматикой, содержит правило, согласно которому во всех случаях, когда краткая форма не является обязательной, употребляется полная форма. Выбор между именительным и творительным падежом полной формы зависит от типа и формы связки. Автор выделяет три группы связок (глагол *быть*, типические связки типа *стать*, *казаться*, *считаться* и окказиональные

связки типа *прийти*, *вернуться*, *стоять*) и описывает правила выбора падежа в высказываниях, содержащих связку того или иного типа. Модель В более сложна, поскольку допускает употребление кратких форм и в тех случаях, где это не предусмотрено микрограмматикой, а именно, при связке *быть* и при типических связках.

Бисинхронный метод описания прилагательных в предикативной позиции показывает, что, во-первых, модель В менее употребительна, встречается преимущественно в литературной прозе и характерна для более пожилых носителей языка, т.е. представляет собой более старую систему, тогда как модель А – более современную; во-вторых, диахронически краткая форма сначала исчезла из высказываний с окказиональными связками, а сейчас исчезает и из высказываний с типическими связками; в-третьих, практически единственный случай конкуренции полной и краткой формы – контексты настоящего времени с нулевой связкой. В этих контекстах следует различать предложения типа *Он болен*, имеющие временную парадигму (*Он был*, *будет болен*) и допускающие полную форму прилагательного (*Он больной*), и предложения типа *Жизнь прекрасна*, *Человек смертен*, в которых полная форма прилагательного невозможна. Это позволяет предположить, что краткая форма не будет полностью вытеснена из языка, поскольку она обеспечивает важное семантическое противопоставление «вневременных» именных предложений и предложений с нулевой связкой, имплицитно выражающих время, наклонение и вид.

Качественная характеристика в конструкциях с глагольными предикатами, описанная Т.Г. Акимовой и Н.А. Козинцевой, «встроена» в лексику в значительно большей степени, чем в грамматику. Последовательно обсудив то, как объект – конкретный или обобщенный – характеризуется с помощью глагольных предикатов в различных формах (глаголы НСВ настоящего и прошедшего времени в постоянно-непрерывном, узуально-характеризующем, потенциальном, общефактическом значениях; глаголы СВ настоящего-будущего времени в наглядно-примерном значении и т.д.) и предложив подробнейшую классификацию различных типов качественной характеристики, авторы приходят к выводу, что грамматика в этом случае задействована лишь в той степени, в которой «в его (значения качественной характеристики – С.Т.) выражении в определенных контекстах участвуют грамматические формы

глагола – видовые, залоговые» (с. 93). Особенно интересно в этой связи обсуждение сходств и различий между разными употреблениями НСВ и их соотношения с СВ в настоящее-будущем времени: значительная часть этих употреблений имеет модальный компонент (*Она ездит верхом* = 'может, умеет ездить'), отсутствующий в других употреблениях. Наличие такого рода модальности является характерной чертой так называемых хабитуальных и генерических высказываний, которые в большинстве своем одновременно являются высказываниями качественной характеристики, и подробное рассмотрение этой проблемы в дальнейшем представляется весьма многообещающим.

С наблюдениями Т.Г. Акимовой и Н.А. Козинцевой в значительной степени переключается раздел, посвященный взаимодействию семантики качественности с временной локализованностью ситуации, который написан И.Н. Смирновым и в котором автор решает следующую задачу: выяснить, до какой степени признак «временная локализованность/нелокализованность ситуации» влияет на наличие/отсутствие в категориальной ситуации значения качественности. Чем выше степень отвлеченности описываемой ситуации от реального времени, чем более вневременной является ситуация, тем выше вероятность появления значения качественной характеристики. У ситуаций, которые в принципе не могут быть локализованными во времени (*Рыба дышит жабрами*), эта вероятность наивысшая, а значение качественности является облигаторным.

Значительный как по объему, так и по глубине обобщений раздел, посвященный компаративу, содержит статьи трех авторов. В.П. Берков последовательно описывает, как понятие равенства и неравенства выражаются прилагательными (в русском языке, как и во многих других, степени сравнения прилагательных образуют ядро системы грамматических средств, выражающих тождество и превосходство), наречиями, глаголами и существительными. Читатель найдет в данном описании подробный каталог средств выражения компаративности – вплоть до дативных конструкций с существительными типа *всем книгам книга*. Убедительное, изобилующее многочисленными точными наблюдениями над нетривиальными явлениями в русском компаративе исследование Ю.П. Князева сосредоточено вокруг проблемы стандарта сравнения компаративной конструкции. Особое внимание автор уделяет импли-

цитному сравнению, выражаемому по преимуществу формами положительных прилагательных, обозначающих градуируемые признаки; проблема идентификации стандарта в этом случае выдвигается на передний план. Превосходная степень прилагательных и связанная с ней семантическая проблема (в меньшей степени) синтаксическая проблематика охарактеризованы Д.М. Калашниковым.

Данный раздел вряд ли мог бы вызвать какие-либо возражения даже у самого придирчивого критика, если бы не обстоятельство, о котором мы упомянули в начале рецензии: атипичность рассмотрения в данном случае, как кажется, вредит авторам существенно больше, чем помогает. Если, скажем, описание русских прилагательных – это только описание русских прилагательных, и никакие типологические данные для этого не нужны, то описание русского компаратива не является описанием компаратива в естественном языке, и потому утверждение типа «Основной способ выражения компаративности в языке – степени сравнения прилагательных» (с. 113) представляется не вполне корректным. Языков, в которых у прилагательных имеется грамматическая категория степени сравнения, сравнительно немного, и, кроме того, имеются языки, в которых прилагательные отсутствуют как синтаксический класс (о типологическом исследовании компаратива см. [Stassen 1985]).

Вторая – меньшая по объему, но не по содержательной насыщенности – часть монографии посвящена выражению количественности, которая понимается «с одной стороны, как семантическая категория, представляющая собой языковую интерпретацию мыслительной категории количества, а с другой – как базирующееся на данной семантической категории ФСП» (с. 161). Количественность, как и качественность образует ФСП полицентрического типа, опирающееся на грамматическую категорию числа, на числительные, на адъективные и адвербиальные показатели количественных отношений и т.д.

Открывает раздел, посвященный количественности, сжатый, но обстоятельный анализ различных аспектов семантики количественности (А.Е. Супрун). Автор раскрывает связь этой категории с другими языковыми категориями – кратности, длительности, компаративности; выделяется различные разновидности количества, выявляется его связь с понятием пространства, характеризуется понятие меры и т.д.

Д.И. Эдельман рассматривает категорию

единичного/общего, которая дает о себе знать "при пересечении {...} с другими грамматическими категориями и функционально-семантическими полями» (с. 170). Обсуждаемые в этой связи явления в иранских (в частности, памирских) языках, существенно отличаются от тех, которые исследователь привык видеть в языках индоевропейских. Семантическая множественность в этих языках (как, впрочем, и в тюркских, и, например, в изолированном баскском) грамматически маркируется в значительно более узком классе семантико-синтаксических контекстов, чем, скажем, в русском языке. Материал, представленный в этом разделе и его интерпретация, предлагаемая автором, будут, вне всякого сомнения, интересны не только последователям теории функциональной грамматики и иранистам, но и широкому кругу типологов, интересующихся именными грамматическими категориями.

Небольшой, но содержательный раздел посвящен способам выражения количества в корякском языке. Корякский язык во всех отношениях отстоит от русского достаточно далеко, и приводимый А.И. Жуковой материал служит прекрасным фоном для осмысления того, что в предшествующих разделах говорится о количественности в русском языке.

Количественность в сфере предикатов («глагольную множественность»), описание которой завершает монографию, к числу неисследованных тем явно не отнесешь. Всем хорошо известны достижения в этой области, инициированные работами А.А. Холодовича, а в последние годы связанные прежде всего с именами В.С. Храковского и И.Б. Долининой (см. в первую очередь [ТИК 1989]). Тем не менее, в настоящей монографии обсуждение понятийной категории количества применительно к ситуациям и основным особенностям «ситуационной» количественности (специфичности ее референциальной области, «размытости» средств ее выражения и т.д.) позволило сопоставить ее с количественностью в сфере имени, обозначить имеющиеся между именем и глаголом расхождения и задуматься о возможных сходствах. И здесь подход, цель которого – построение мно-

гоуровневых и межуровневых обобщений помогает свести воедино глагольную и именную множественность как проявления обобщенной и нейтральной по отношению к субстанции понятийной категории. Такой взгляд на эту проблему во многом перекликается с работами тех исследователей, которые стремятся уловить логико-семантические аналогии между структурой объектов реального мира («именная количественность») и структурой ситуаций («глагольная количественность»). Подобные аналогии можно, например, усмотреть между глаголами-мультипликативами и именами, обозначающими неисчисляемые недискретные совокупности однородных объектов, между глаголами-семельфактивами и именами-сингулятивами и т.д. В этой связи см. среди прочих [Krifka 1991, Filip 1992].

Читатель, который следовал за авторами монографии от начала и до конца, закрывая книгу, знает ответ на вопрос «Где можно посмотреть что-нибудь о качественности и количественности?», и это означает, что цель авторов и редакторов достигнута. Будем же с нетерпением ждать появления новой книги со знакомой обложкой – «Теория функциональной грамматики» – и новых впечатлений от прочитанного.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ТФГ 1987 – Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- ТИК 1989 – Типология итеративных конструкций / Под ред. В.С. Храковского. Л., 1989.
- Givón T.* 1995 – *Functionalism and Grammar*. Amsterdam, 1995.
- Stassen L.* 1985 – *Comparison and universal grammar*. Oxford, 1985.
- Krifka M.* 1991 – *Thematic relations as links between nominal reference and temporal constitution // I. Sag and A. Szabolcsi (eds.). Lexical matters*. Chicago, 1991.
- Filip H.* 1992 – *Aspect and the interpretation of nominal arguments // Chicago linguistic society*. V. 28.

*С.Г. Татевосов*

Книга двух известных русских лингвистов – Татьяны Вячеславовны Булыгиной и Алексея Дмитриевича Шмелева – посвящена исследованию категорий русской грамматики, семантики, прагматики и лексики с точки зрения их участия в языковой концептуализации мира (т.е. в его членении и осмыслении средствами языка). Можно выделить три основных сюжета, организующих повествование. Первый – это концептуализация действительности, составляющая онтологическую основу русской грамматики: вопрос о том, каковы те представления о внеязыковой действительности, которые входят в языковое значение, и в какой мере эти представления определяются свойствами действительности, а в какой – свойствами русского языка. Второй сюжет составляет реконструкция лингвоспецифического аспекта русской языковой картины мира средствами концептуального анализа, т.е. на основании анализа концептов, заключенных в значении определенных русских слов. Наконец, третий – это круг вопросов, связанных с употреблением (и, в особенности, злоупотреблением) языка для достижения тех или иных целей в ходе языковой коммуникации: эксплуатация постулатов речевого общения, приемы языковой демагогии, использование разных языковых средств и форм не по их прямому назначению. Здесь особенно чувствуется пристрастие авторов ко всякого рода каламбурам, аномалиям и парадоксам – ср. следующие названия глав: «Ментальные предикаты в аспекте аспектологии», «Вопрос о косвенных вопросах: является ли установленным фактом их связь с фактивностью», «Хоть знаю, да не верю», «Возражение под видом согласия», «Парадокс самофальсификации», «Парадоксы идентификации», «Парадоксы темпоральной ориентации», «Аномалии в речевой деятельности». Вообще надо сказать, что языковое манипулирование предстает в книге не только как объект, но и как метод исследования (причем блестяще примененный). Хотя названные выше проблемы принято относить к разным разделам науки о языке, все они безусловно тесно между собой связаны. Так, например, ясно ощущаемая носителем русского языка аномальность фраз типа *Выиграй поездку на Сафари!* обусловлена несовместимостью лексического значения глагола *выиграть* (включающего идею случайности) с формой

императива в рамках побудительного речевого акта, т.е. нарушением одновременно грамматической семантики и конвенций употребления (не говоря уже о несоответствии русской традиционной картине мира).

Однако, пожалуй, главное, что объединяет все семь частей книги, насчитывающей более пятисот страниц, – это умение авторов тайное сделать явным, это острота взглядов, тонкость и остроумие решений, блестящая эрудиция и безупречный вкус. Одним словом, мир языка в концептуализации Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева предстает необычайно увлекательным, а чтение книги таит в себе истинное наслаждение – как интеллектуальное, так и эстетическое.

Первая, самая большая часть книги (включающая семь глав) посвящена исследованию «онтологии явлений», т.е. языковой концептуализации тех фрагментов действительности и их свойств, которые обозначаются в языке глаголами и другими предикатными выражениями, и ее воплощению в скрытых (семантических) и явных (грамматических) категориях русского языка. К числу первых относится, например, категория контролируемости, которая наиболее ярко обнаруживается в конструкции с отрицательным императивом, так как здесь она определяет выбор глагольного вида. Так, мы говорим (употребляя совершенный вид) *Не простудись! Не поскользнься!*, чтобы предостеречь человека от чего-то, что с ним может случиться, но давая указания относительно того, как надо поступать, мы делаем это в несовершенном виде: *Не плюй в колодец, Не говори ему об этом*. Появление в этой конструкции совершенного вида автоматически переводит обсуждаемое действие в разряд неконтролируемых, а речевой акт – в категорию «предупреждений»: *Смотри не проговорись!*

Глагольный вид занимает также центральное положение среди грамматических категорий русского языка, опирающихся на онтологию явлений. Вообще надо сказать, что обнаружение связи русского вида с языковой категоризацией явлений, намеченное в работе Ю.С. Маслова 1948 г. и окончательно утвердившееся в 80-е годы в частности благодаря исследованиям Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева, ознаменовало собой новый этап в русской аспектологии. В

двух словах, аспектологическая концепция, развиваемая авторами, сводится к следующему. Все явления, имеющие место в мире, делятся на статические (состояния) и динамические, которые подразделяются, далее, на процессы и события. Устройство русской аспектуальной системы таково, что глаголы сов. вида всегда обозначают события (*решил задачу, опоздал на лекцию; понял, как надо поступить*), а глаголы несов. вида могут обозначать все три типа явлений: состояния (*болеет*), процессы (*беседует с приятелем*), а также события – например, если они повторяются (*он быстро и легко решил все задачи, которые ему предлагали; он всегда опаздывает*) или если рассказ о прошлом ведется в настоящем времени (*он легко решает первую задачу и переходит ко второй; тут я внезапно понимаю, как надо поступить*). Всякий глагол несов. вида, который может обозначать событие, образует видовую пару – с глаголом сов. вида, обозначающим то же самое событие (например, *решать – решить, опаздывать – опоздать*); глаголы несов. вида, не имеющие событийного значения (например, *болеть, беседовать*) являются непарными. Видовая парность глагола в русском языке в значительной степени обусловлена характером концептуализации обозначаемого положения вещей. Так, состояние, описываемое русским глаголом *понимать*, предстает как наступившее в результате события *понять* (перехода из состояния непонимания в состояние понимания), а для *знать* концептуализация оказывается иной: состояние *знать* не предполагает предшествующего ему события *узнать*. Поэтому *знать* и *узнать* в русском языке не образуют видовой пары: нельзя, повествуя о прошлых событиях, сказать «и тут *знаем* мы всю правду про него». Таким же образом устанавливается, что *ловить* и *поймать* образуют видовую пару, а близкие к ним по значению *искать* и *найти* – нет. Действительно, *много раз ловил* может означать, что каждый раз поймал, а *много раз искал* никак не может означать, что каждый раз находил.

Концептуализация, производимая языком, лишь отчасти совпадает с тем, что имеет место «в действительности». В жизни ситуации, описываемые глаголами типа *знать, любить* или *иметь*, не являются неизменными; тем более не являются таковыми ситуации типа *быть красивым* или *быть молодым*. Между тем в языке и

те, и другие представлены как по своей природе изменению не подверженные и не ограниченные каким-либо периодом времени – в отличие от ситуаций типа *говорить* или *мечтать*. Поэтому можно *проговорить* и *промечтать* всю ночь, но фраза *Она пролюбила его всю жизнь* звучит по-русски сомнительно, а *Она пробыла красивой до самой старости* вообще нельзя сказать (хотя и то и другое легко можно себе представить).

Выявление концептуальных конфигураций, составляющих русскую языковую картину мира, на основании свидетельств русского лексикона проводится в седьмой и отчасти четвертой частях книги. Кроме того, отдельные образцы концептуального анализа можно обнаружить и в других местах (например, в главе 3 из части II «Концепт долга в поле должноствоания», в разделе «Попрек и русская культура поведения» из главы 3 части V).

Понятие языковой картины мира имеет давнюю историю. Оно восходит к В. фон Гумбольдту (*sprachliches Weltbild*), обсуждалось на протяжении всего XIX века, в XX веке связано с именами Л. Вайсгербера и Б. Уорфа, однако очередной всплеск интереса к этой проблеме произошел совсем недавно – в начале 90-х годов, и количество публикаций на эту тему все возрастает. Причем в самое последнее время произошел явный сдвиг интересов исследователей от проблем, связанных с отличием «наивной» картины мира, рисуемой языком, от «научной» [Апресян 1995; Урысон 1995; Яковлева 1994 и др.], к проблеме различия между картинами, отраженными в разных языках [Wierzbicka 1992; 1997; Арутюнова 1996; Зализняк, Левонтина 1996 и др.]. В главах, посвященных языковой картине мира (принадлежащих, по большей части А.Д. Шмелеву, который является также автором ряда других статей на эту тему – в частности [Шмелев 1998; Левонтина, Шмелев 1996]), содержится анализ значительного количества русских слов, заключающих в себе лингвоспецифические концепты, а также выявлены некоторые общие особенности русского языкового сознания и продемонстрирована их связь с некоторыми расхожими представлениями о «русской душе», а также с некоторыми заключениями философов и этнопсихологов.

К числу выявленных общих закономерностей относится вывод о том, что для русской языковой картины мира характерно противопоставление «возвышенного» и «приземленного», а также «внутреннего» и

«внешнего» одновременно с отчетливым предпочтением первого. Этот «асимметричный дуализм» коренится в особенностях русского православия, определивших черты русской культуры в целом – ср. [Лотман, Успенский 1994]. В русском языке многие понятия существуют как бы в двух ипостасях, соответствующих этим полюсам: *истина и правда, добро и благо, долг и обязанность*. При этом часто в западноевропейских языках для такой пары слов имеется лишь один эквивалент.

По своему составу анализируемая лексика весьма разнообразна. Поскольку языковая картина мира вообще в значительной степени антропоцентрична, все эти слова так или иначе связаны с человеком. Сюда входят такие фундаментальные категории, как *свобода и воля, долг и обязанность, правда и истина, судьба, мир, душа, дух, а также тело, плоть, кровь, сердце, голова, кости* и т.п. (интересно, что *тело* оказывается столь же характерным признаком человека, как *душа*), такие «специфически русские» слова как *тоска* и *удаль*. Рассматриваются также *плевок* как символические действия и *наплевать* как жизненная позиция. Существенная информация о языковой картине мира извлекается из «мелких» слов – таких как *авось, небось, а вдруг, заодно* и др.

Отдельный круг лексики составляют слова со значением времени и временной ориентации; в их употреблении также обнаруживаются парадоксальные моменты. Так, например, слово *вперед* может означать как «раньше», так и «позже» – как, например, в предложении *Выборы решено было перенести на две недели вперед*. (Возможность такой двойкой интерпретации обусловлена сосуществованием двух моделей времени – «архаичной» и «современной».) С другой стороны, почти синонимичные на первый взгляд выражения *бывшая жена* и *прежняя жена* оказываются отчетливо противопоставлены, например, в диалоге: *Я видел твою бывшую жену. – Какую «бывшую»? У меня прежняя жена*.

Некоторые из анализируемых в книге слов имеют за собой давнюю лингвистическую и философскую традицию, обнаружение других относится к числу заслуг авторов. Вообще данный раздел книги Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева, наряду с недавно вышедшей книгой Ю.С. Степанова [Степанов 1997] является важным шагом на пути создания своего рода «энциклопедии

русской души» – словаря ключевых для русского языкового сознания концептов.

И, наконец, последний сюжет – прагматика и теория (а также практика) коммуникации – локализован, в основном, в третьей, пятой и шестой частях книги. Рассматривается вопрос о границах и содержании прагматики, излагаются общие и некоторые частные вопросы теории речевых актов, обсуждаются некоторые косвенные речевые акты (например, побуждение в форме вопроса), коммуникативные постулаты и случаи их нарушения. Подробно анализируется значение и функционирование в речевом акте некоторых глаголов речи, внутреннего состояния и именования – *обвинять, осуждать, упрекать, хвалить, ругать, знать, верить, называть* и другие.

В частности, оказывается, что высказывания, известные под названием «парадокса лжеца» (*Все утверждения ложны*), т.е. высказывания, содержащие самофальсификацию, используются в повседневной речи гораздо чаще, чем это может показаться – например, в знаменитой тютчевской строчке *Мысль изреченная есть ложь*, в известной французской поговорке *Jamais ne dis «jamais»* или в менее известном французском анекдоте о бельгийском пособии по культуре речи, где говорится *Ne disez pas «disez», disez «dites»*, а также во фразах типа *Не слушайся ничьих советов*, в так называемой «фигуре умолчания», для которой в русском языке имеется даже специальный оборот (*не говоря о...*) и т.д. Список увлекательных тем, обсуждаемых в книге, можно было бы продолжать еще долго. Однако перейдем к недостаткам, как того требуют законы жанра. По-видимому, к ним следует отнести принцип составления Указателя лексем: хотя сам факт наличия Указателя (включающего более тысячи единиц), а также качество его исполнения безусловно принадлежат к числу украшений книги, но для читателя, пожалуй, было бы удобней пользоваться отсылками не к разделам, а к страницам книги (как это обычно и делается в такого рода указателях). У внимательного читателя могут возникнуть также некоторые претензии к композиции книги, которые, впрочем, можно считать неосновательными, если принять во внимание, что книга состоит в значительной степени из опубликованных в разное время законченных эссе.

- Апресян Ю.Д.* 1995 – Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Арутюнова Н.Д.* 1996 – Стиль Достоевского в рамках русской картины мира // Поэтика и стилистика. Язык и культура. Памяти Т.Г. Винокур. М., 1996.
- Зализняк Анна А., Левонтина И.Б.* 1996 – Отражение национального характера в лексике русского языка (Размышления по поводу книги: A. Wierzbicka Semantics, culture, and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. N.Y.; Oxford, 1992 // R Ling. 1996. V. XX. № 2–3.
- Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* 1996 – Русское «заодно» как выражение жизненной позиции // РР. 1996. № 2.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* 1994 – Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Б.А. Успенский. Избранные труды. Т. I. М., 1994.
- Степанов Ю.С.* 1997 – Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Урысон Е.В.* 1995 – Фундаментальные способности человека и наивная «анатомия» // ВЯ. 1995. № 3.
- Шмелев А.Д.* 1998 – Широта русской души // РР. 1998. № 1.
- Яковлева Е.С.* 1994 – Фрагменты русской языковой картины мира. Модели пространства, времени и восприятия. М., 1994.
- Wierzbicka A.* 1992 – Semantics, culture, and cognition. Universal human concepts in culture – specific configurations. N.Y.; Oxford, 1992.
- Wierzbicka A.* 1997 – Understanding cultures through their key words. N.Y.; Oxford, 1997.

Анна А. Зализняк

**Йозеф Крекич. Педагогическая грамматика русского глагола: Семантика и прагматика.** Szeged, 1997. 215 с.

Такой ракурс лингвистических штудий, как "русский язык глазами зарубежных исследователей", представляется нам весьма актуальным, и, по всей видимости, он останется таковым и в отдаленном будущем и встретит поддержку и понимание как у языковедов широкого профиля, так и у русистов, и, очевидно, у тех, чья профессиональная деятельность связана с преподаванием русского языка – в качестве родного или иностранного.

Новая книга Й. Крекича – значительное и отрадное явление в современной венгерской русистике. Пафос и оригинальность авторского подхода "озвучены" уже в самом заглавии книги: это педагогическая грамматика – молодой пока что жанр научного творчества. Своеобразие его, на наш взгляд, состоит в том, что академическая наука не адаптируется для учебно-методического "сценария", но, сохраняя в неприкосновенности концептуальное ядро исследования и важную для пользователя информацию об основной проблематике в соответствующей научной области, предоставляет ему вместе с тем и широкие возможности ее практического применения.

Эта книга не теоретическое исследование и тем более не учебник в их обычном

понимании. Ее также вряд ли можно отнести к разряду учебных пособий – при том, что практическая нацеленность ее ощущается буквально на каждой странице. Лаконичность, точность, деловитость изложения, терпеливое и старательное разъяснение выдвигаемых положений с привлечением обильного иллюстративного материала обеспечивают относительную простоту и доступность содержания рецензируемой книги, формируют ее, так сказать, "педагогическое начало".

Книгу Й. Крекича можно скорее определить как своего рода справочные материалы по семантике и прагматике русского глагола, предназначенные в первую очередь для иностранцев, изучающих русский язык (венгров). Но, разумеется, она не будет лишней и для наших студентов, ибо в этих материалах отражены наиболее популярные точки зрения ученых и содержатся, как правило, глубокие и интересные авторские комментарии, эксплицирующие его позицию в соответствующих теоретических вопросах. Сверхзадача монографии Й. Крекича не исчерпывается ее справочно-информативным характером. Как указывает во Введении сам автор, она "написана именно для тех, кто интересуется вопросами семанти-

ческой и прагматической структуры русского глагола, но в первую очередь она будет полезна для студентов высших учебных заведений, так как дает возможность не только расширить теоретические знания студентов о русском глаголе, но и приучить их самостоятельно мыслить" (с. 6).

Основное изложение начинается с общей характеристики автором русского глагольного вида – глава "Видо-временная система русского глагола". Главное внимание при этом уделяется значению перфективности. Затем Й. Крекич переходит к рассмотрению отдельных аспектуальных значений глаголов СВ – глава вторая "Способы глагольного действия". Продолжая тему аспектуальности, отдельное внимание автор уделяет сопоставлению ФСК аспектуальности в русском и венгерском языках – глава "Аспектуальность в русском и венгерском языках". Конспективность и неожиданно малый объем этого в общем-то важного для студента-венгра, изучающего русский язык (да и для русского, изучающего венгерский), материала (глава занимает 2,5 страницы) обусловлены тем, что автор книги из-за недостатка места не задумывал свой труд в последовательно сопоставительном ключе, что, кстати, оговаривается им во Введении (с. 5). Параллели с венгерским языком поэтому имеют в рецензируемой книге локальный характер и последовательно проводятся лишь при описании автором значений форм прошедшего времени глаголов НСВ и СВ – глава "Употребление форм прошедшего времени в венгерском и русском языках", где "почти все трудные случаи функционирования видов русского глагола сконцентрированы в одном месте" (с. 5).

В данной главе анализ значений форм прош. вр. СВ и НСВ русских глаголов, спроецированных на значения совершенной и несовершенной аспектуальности у венгерских глаголов (поскольку в венгерском языке нет видовой системы, изоморфной имеющейся в русском и в других славянских языках), представляет собой дальнейшую (вслед за Л. Дэже и И. Пете) успешную разработку сопоставления аспектуальных систем русского и венгерского глагола. Автор показывает здесь большую роль контекста в выражении данных значений в венгерском языке (тема-рематическая организация фразы, место фразового ударения, наличие/отсутствие конкретизаторов с темпоральным значением, роль артиклей и др.). Немало внимания в этой связи уделено позиции венгерских глагольных приставок –

находятся ли они на своем обычном месте, перед и рядом с глаголом, или же отделены и стоят после него. В целом в данной главе содержится, как нам представляется, весьма полезный "эксплицитно"-практический материал как для венгров, изучающих русский язык, так и для русских, овладевающих венгерским языком.

Далее Й. Крекич переходит к весьма содержательному и обширному анализу значений и употребления глагольных форм настоящего и будущего времени, инфинитива, сослагательного и повелительного наклонений – соотв. главы "Настоящее время", "Будущее время", "Инфинитив", "Сослагательное наклонение", "Императив".

Основное изложение завершается кратким Заключением, где подчеркивается, что в книге предпринят "функционально-системный подход" (с. 185). Последнее оговаривается автором и раньше, во Введении: "наша функционально ориентированная грамматика сконцентрирована в первую очередь на содержании: способствует говорящему в том, чтобы он в самых разнообразных формах мог сформулировать высказываемое, используя притом самые различные средства грамматической и лексической синонимии" (с. 5).

Помещение в фокус исследования содержательно-функциональной стороны языковых явлений – различных русских глагольных форм – является безусловно положительной чертой труда Й. Крекича. Вместе с тем в процедуре их научного описания автором можно отметить такой методический курьез, как произвольная (?) подмена основного принципа подачи материала при функционально-семантическом подходе – "от смысла к форме" – противоположным – "от формы к смыслу", что явствует уже из названий глав, посвященных анализу значения и употребления отдельных глагольных форм ("Настоящее время", "Будущее время", "Инфинитив" и др.). Однако это методическое упущение, вероятно, не слишком бросится в глаза пользователю-студенту (а возможно, и преподавателю), на которого в первую очередь рассчитана книга. Зато скрупулезный и четкий лингвистический анализ, отражающий глубокое понимание, "чувствование" автором содержания этих форм, который опирается на многочисленные примеры, иногда с подключением широкого контекста, тщательная аргументация, строгая иерархическая последовательность классификационных рубрик не могут не вызвать у читателя уважения к автору и убежденности в отличной его компетентности в

соответствующих научных вопросах, зрелости и выстроенности его научной концепции.

Говоря о характере подачи фактического материала в целом, можно отметить, что анализ его строится в проекции на аспектуальную систему русского глагола, и в частности на его видовую систему. Семантико-прагматическое содержание модальных и временных форм русских глаголов автор, как правило, связывает с их совершенным или несовершенным видом. Категория вида и видовые значения русских глаголов – это та красная нить, которая проходит через весь материал книги, несмотря на то, что соответствующие теоретические проблемы в ней глубоко не рассматриваются по вполне понятной причине – глобальность их не согласуется ни с объемом, ни с поставленными в ней задачами.

Так, в первой главе "Видо-временная система русского глагола" И. Крекич останавливается, например, лишь на основных лингвистических трактовках понятий "совершенный вид" и "перфективность" – таковых, по его мнению, четыре: достижение правой границы действия (Р. Якобсон, С. Карцевский, В.В. Виноградов и др.); целостность (Э. Кошмидер); суммарность, сожнутость (Э. Черный, Ю.С. Маслов); точность (А.М. Пешковский) (с. 8–10). Эти вопросы небезразличны и автору данных строк, и потому позволим себе остановиться на них чуть подробнее. Сам И. Крекич конституирующим признаком перфективности считает у русского глагола целостность ("интегральную целостность"), которая в значении глаголов СВ осуществляется тремя способами: либо 1) наступлением качественного (результативного) предела, либо 2) наступлением количественного предела, либо 3) наступлением временного предела" (с. 15). Указанные разновидности предельного значения связываются автором с тремя компонентами денотативной ситуации, обозначаемой глаголом, – соответственно аспектуальным актантом, действием и временем, из которых вторые два – несубстанциональные, а первый – субстанциональный. Т.е. достижение процессом качественного предела должно проявиться в чувственно воспринимаемом результате. Таким результатом является начало нового состояния, по А. Вежбицкой, на которую ссылается автор (с. 13). (У нас аналогичная точка зрения высказывается, например, Ю.С. Масловым [Маслов 1987: 195].) Но новое состояние должно иметь и своего "носителя", и та-

ковыми, по мнению И. Крекича, выступает аспектуальный актант – субстанциональный элемент аспектуальной ситуации (с. 13). Включая в семантику результативности субстанциональный компонент, И. Крекич опирается на авторитет таких лингвистов, как С. Карцевский, Л. Хадрович, Ф. Кифер и др. Традиционно разграничивая перфективность и результативность, автор приходит к правильному, по нашему мнению, выводу о том, что "результативность – это не грамматическая, а лексико-грамматическая категория, и поэтому ее нельзя отождествлять с общим грамматическим значением СВ" (с. 14–15), поскольку все результативные глаголы перфективны, но не все глаголы с перфективным значением завершенности действия (процесса) являются результативными.

В рамках перфективного значения И. Крекич рассматривает три разновидности способов глагольного действия (глава вторая), а именно, со значением временной предельности, количественной предельности и результативной предельности. Правда, эти три значения предельности, собственно, не относятся И. Крекичем к способам действия, выражающим лишь "частные лексико-семантические значения" (с. 24), а занимают промежуточное положение между последними и категорией Предельность-2, в трактовке которой автор ссылается на А.В. Бондарко (там же). И. Крекич постулирует для Предельности-2 не грамматическое, а "общее лексическое значение" – "достижение предела действия" (там же). Соотношение Предельности-2, способов действия и трех указанных значений предельности И. Крекич соизмеряет с гегелевской триадой "общее – особенное – частное". Предельность-2 возглавляет триаду; особенное, или "средний член", – это три значения предельности в рамках глаголов СВ; частное же, как было сказано, – это способы действия. Такое понимание статуса способов действия в системе русского глагола высказывалось И. Крекичем и раньше, например, в [Крекич 1989: 12], и оно отличается от истолкования их в современной русской функциональной грамматике (см., в частности [Шелякин 1987: 66]). Не вдаваясь в критический разбор концептуально-терминологического аппарата представителей русской (ленинградской) школы функциональной грамматики и известного венгерского русиста, чьи научные взгляды, безусловно, заслуживают серьезного внимания исследователей русского глагола, отметим лишь, что введение "метода логической триады" для объяснения языковых

явлений в данном случае могло бы быть более мотивированным и хотя бы в основных чертах эксплицировать преимущественно именно такого подхода.

Концептуализация материала в главах книги, посвященных семантике и прагматике отдельных форм русских глаголов, в целом не вызывает серьезных замечаний. Не совсем убедительным, однако, кажется дихотомическое разведение автором, при описании ситуации (значения) необходимости, значений циркумстанциальной (циркумстанциональной?) и диспозициональной необходимости – как представляется, без опоры на сколько-нибудь строгие формальные критерии (глава "Инфинитив"). Так, для выражения той и другой разновидности значения необходимости подчас рекомендуются одни и те же конструкции, например *надо + Inf: Мужа надо выбирать осмотрительно* (циркумстанциальная необходимость) – *Нужно будет его содержать* (диспозициональная необходимость) (с. 112, 115). Вообще в ряде случаев далеко не просто бывает решить, когда (и почему) в модусе необходимости превалирует внутренний – субъективный – фактор, показатель диспозициональной необходимости (с. 114), а когда – внешний, показатель циркумстанциальной необходимости (с. 110). Между тем и другим значением, надо полагать, существует зона переходности с целой гаммой оттенков, в которой они оба взаимодействуют – как, скажем, в таком дискурсе: *Я должен быть в гуще драки, должен проталкивать, советовать, помогать, я не мыслю своей жизни без этой дьявольской кутерьмы*, – который Й. Крекич приводит в качестве примера диспозициональной необходимости (с. 115). На наш взгляд, модальный оператор *должен* здесь может быть как знаком ситуации вынужденности – разновидности ситуации циркумстанциальной необходимости (с. 113), так и показателем категории оппозитивности, с которой пересекается диспозициональная необходимость (с. 115). Очевидно, в подобных случаях помог бы более широкий контекст, чтобы принять решение в пользу того или другого из указанных значений.

В прамбульной части главы "Императив", касаясь теории речевых актов, Й. Крекич справедливо критикует неразличение иллокуции и перлокуции, которое иной раз встречается у отдельных ученых (с. 137). Сообразуясь с жанром книги и не ставя своей задачей давать обширное теоретическое обоснование разграничения илло-

куции и перлокуции, Й. Крекич вместе с тем дает понять, что та и другая соотносятся как возможность и данность (результат): «слово "воздействие", как и русский глагол "воздействовать", имеет два видовых значения: одно имперфективное и одно перфективное. Первое относится к способу и степени, второе – к следствию, последствию воздействия» (там же). В другой своей работе, на которую ученый ссылается в рецензируемой нами книге, он разграничивает иллокуцию и перлокуцию как, соответственно, слабый и сильный "члены прагматической оппозиции" [Крекич 1993: 24]. Тогда соотношение иллокуции и перлокуции можно себе представить, например, как "направленность на прагматический эффект – достижение прагматического эффекта"; в этом случае становится понятным терминологическое содержание формулировок "иллокутивное воздействие на адресата" или "внутреннее иллокутивное воздействие на адресата", которыми Й. Крекич широко пользуется (с. 109, 132, 139 и др.), при том, что воздействие на адресата "привычнее" связать с перлокуцией (см., например [Арутюнова 1990: 390]).

Высказываемая затем автором идея о разграничении внутренней и внешней иллокутивной силы "с точки зрения силы намерения" (с. 138) сама по себе заслуживает серьезного отношения. Лингвист правильно подмечает, что при внешней иллокутивной силе "воздействие говорящего проявляется в разной степени энергичности, власти" (там же), т.е. оно обусловлено его социальным статусом, может быть, эмоционально-психологическими свойствами его личности и под.: при внутренней иллокутивной силе "воздействие на говорящего проявляется в различной степени возложения ответственности (внутренней обязанности) на адресата" (там же).

С другой стороны, это разграничение двух видов иллокуции остается у автора книги в значительной мере теоретическим положением и не задействовано в качестве регулярного практического средства с функцией терминологического номинирования при описании речевых актов просьбы, предложения, совета и т.д., в которых используются формы императива.

Переходя к заключительной части рецензии, считаем своим долгом отметить, что монография венгерского ученого написана хорошим русским литературным языком в соответствии с требованиями научного стиля. В этой связи можно высказать лишь отдельные небольшие замечания, например, относительно уместности некоторых ино-

странных терминов и выражений, не совсем привычных для широкого русского лингвистического обихода. Так, автор использует по отношению к участникам речевого акта термин *интерактанты* (с. 149 и др.), хотя *собеседники* были бы понятнее; или *инвольтировать* вместо *вовлекать* (слово встречается много раз); или *эротематический* (с. 125) вместо, например, *риторический* (эротема – риторический вопрос [Ахманова 1969: 528]); или *конгруэнтное поведение* – термин заимствован из психологии, – вместо *нормальное поведение*, а в том контексте, в котором это сочетание встречается, даже *участливое, отзывчивое, сочувственное*.

Единичные стилистические погрешности обуславливаются структурным и смысловым несовершенством речевых конструкций, например: *говорящий (...)* идентифицируется с его [адресатом] интересами (с. 149). Возвратная форма глагола здесь вряд ли уместна, потому что в таком случае возникает контаминация пассивного и собственно-возвратного значений; правильное было бы: *...идентифицирует себя с...* В нескольких местах встречается выражение *питать эмпатию* в значении 'испытывать участие, расположение к адресату речи, входить в его интересы' (с. 109, 148, 149 и др.), созданное автором, очевидно, по аналогии с устойчивым и созвучным сочетанием *питать симпатию*. Однако эмпатия не относится к миру человеческих чувств и эмоций, как симпатия. Эмпатия, согласно, например, Т.М. Николаевой, это "идентификация говорящего с участником или объектом сообщаемого события, изложение чего-либо с некоторой точки зрения" [Николаева 1990: 592], т.е. это способ организации, оформления сообщения, а не проявления своего эмоционального состояния.

Мелким, но досадным недочетом является и неоднократное немотивированное

цитирование автором одного и того же пассажа из работы А. Хеллер, в котором идет речь о том, что такое воля (с. 74, 84, 119, 148, 147). Ответственность за этот недостаток, попавший в книгу, скорее всего, по недосмотру, нам думается, все же не лежит целиком на авторе, но ее должен разделить с ним и рецензент, знакомившийся с книгой в рукописи.

В целом же данная книга Й. Крекича представляет собой бесспорный и значительный вклад ее автора в развитие русистики и принесет несомненную пользу как в плане дальнейшей разработки ее теоретических проблем специалистами, так и в плане практического изучения русского языка в обычном учебном режиме.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д. 1990 – Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Ахманова О.С. 1969 – Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
- Крекич Й. 1989 – Семантика и прагматика временно-предельных глаголов: Изменение значений. Будапешт, 1989.
- Крекич Й. 1993 – Побудительные перформативные высказывания. Szeged, 1993.
- Маслов Ю.С. 1987 – Перфективность // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Николаева Т.М. 1990 – Эмпатия // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Шелякин М.А. 1987 – Способы действия в поле лимитативности // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

А.А. Виноградов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 7-го по 9-е сентября 1999 г. в Брно проходил международный этимологический симпозиум «Славянская этимология в индоевропейском контексте», посвященный юбилею известного чешского этимолога Эвы Гавловой. Инициатива проведения симпозиума принадлежит Этимологическому отделу Института чешского языка АН ЧР, в котором протекала научная деятельность юбиляра. Мероприятие проходило под покровительством директора Института чешского языка Й. Крауса и бургомистра г. Брно П. Духоня, финансовая поддержка оказана Комитетом по грантам Чешской Республики. В работе Симпозиума приняло участие около 50 ученых из 11 стран (России, Белоруссии, Болгарии, Польши, Словении, Югославии, Чехии, Словакии, Австрии, Германии, Финляндии), в их числе представители всех славянских этимологических коллективов (впрочем, заметно было отсутствие представителей Украины после недавней кончины А.С. Мельничука).

На открытии симпозиума участники приветствовали юбиляра и в своих выступлениях высоко оценили научную деятельность Э. Гавловой в области славянской этимологии. В открывшем симпозиум докладе Ф. Славского (Польша), зачитанного в его отсутствие, были проанализированы научные достижения Э. Гавловой в связи с проблематикой современной этимологии («Еще об этимологии. По случаю юбилея Э. Гавловой»).

Собственно теоретическим (философским) проблемам был посвящен доклад Й. Крауса (Чехия) «Этимологические критерии чистоты языка в истории филологического мышления», в котором обосновывалась возможность принципиального сближения античной точки зрения на этимологию как основу языковой нормы и риторической аргументации и современной

теории поэтического языка, одним из ключевых понятий которой является возрождение и обновление внутренней формы слова.

В целом же, как всегда в этимологии, теоретические проблемы рассматривались в связи с конкретной этимологизацией, при этом, с учетом необходимости комплексного подхода, в центре внимания всегда были узловые проблемы разных языковых уровней в плане их значимости для этимологии.

В круг фонетических проблем вошли вопросы генезиса слав. *ch*, от понимания истоков которого во многом зависит направление поисков индоевропейских соответствий. В докладе Г. Шустер-Шевца (Германия) «Новые данные относительно генезиса слав. *ch*» в порядке гипотезы высказано предположение о возможном развитии слав. *ch* из и.-е. *k'* (ср. ст.-слав. *хладъ* и *саана* < и.-е. *\*k'ol-dʰn-*, лит. *šáltas* 'холодный', слав. *\*ch(u)mur-f's(u)mur-* < и.-е. *\*k'em-*, русск. *хмурый* и др.), вызвавшее оживленную дискуссию. В результате анализа поведения групп согласных в двух языках, проведенного на материале славяно-греческих соответствий, поставлены под сомнения некоторые из общепринятых сопоставлений (ср. слав. *\*lice* ~ греч. *ἀλιτικός* 'сходный, подобный' и др.) и приведены дополнительные фонетические аргументы в пользу одной из бытующих этимологических версий, ср. слав. *\*lono* ~ греч. *λοῖβος* 'изогнутый, кривой' и др. (В. Сова-Польша; «Группы согласных в греко-славянских сравнениях»). Сложное переплетение фонетических и словообразовательных аспектов анализа на примере чешско-словацкой лексической группы, объединяемой фонетическим комплексом *-trč*, показал в своем докладе Й. Рейзек (Чехия) «Чешские слова на *-trč* (*kostrč*, *kotrč*, *chatrč*)».

В ряде докладов рассматривались собственно грамматические вопросы: генезис

различий парадигматических окончаний в славянских и балтийских языках в связи с ролью ларингальных (В. Смочинский и Й. Польша; «Балто-славянская морфология в свете ларингальной теории»); употребление форм дв. и мн. числа в соотносительных объектно-субъектных конструкциях (Р. Вечерка – Чехия; «Дистрибутивное и обобщенное понятие числа в старославянском языке»); расхождения в синтаксисе русского и чешского языков как следствие разной степени влияния латинского языка (С. Жаж – Чехия; «Латинское влияние в чешском и русском синтаксисе»). Собственно словообразовательной проблематике распределения *samo-* и *siebie-* в славянских языках посвящен доклад Х. Гладковой (Чехия).

Актуальная для этимологии проблема нерегулярных преобразований получила освещение в докладах В.В. Мартынова (Белоруссия) «Ложная декомпозиция в славянском словообразовании» (слав. *bruditi* 'пачкать, марать' < *ob-ruditi*, \**strēla* < \**ostrъ*, ср. зап.-герм. *straēla* и др.), Ж.Ж. Варабот (Россия) «Индоевропейские и праславянские архаизмы в славянской этимологической реинтерпретации» (ср. слав. \**gostъ* < \**gut-t-*, русск. *бред* 'ива' < \**brīdъ* 'острие'), а также в докладе Б. Сквалки (Чехия; «Трудности при этимологизации арготических и сленговых слов»), который аргументировал причинную зависимость преобразования заимствований и новообразований от сложного взаимодействия языковых, социальных и культурных факторов.

Симпозиум еще раз продемонстрировал растущее внимание современной этимологии к вопросам семантики. В докладе М. Якубович (Польша; «Место индоевропейской этимологии в словаре семантических параллелей») подчеркивалась необходимость строгого отбора для подобного словаря только таких параллелей, которые являются результатом максимально надежных этимологических решений. В дискуссии отмечена необходимость привлечения диалектных материалов, создания банка данных с учетом диалектов и литературного языка. Интересный анализ исторического взаимодействия языковых, культурных и социальных факторов в формировании семантических моделей 'творить, создавать подобное чему-л.' > 'создавать живое и неживое' > 'изображать нечто, подобное чему-л.' > 'существо, принимаемое за дух' > 'мираж, нечто воображаемое' предложен в докладе

И. Немца (Чехия) «К семантической модели имитации, создания и фикции».

Значительная часть докладов была методически ориентирована на этимологизацию лексики по семантическим моделям или лексическим группам: понятие *красивый* в славянских языках (Е. Русек – Польша; «Выражения для понятия *красивый* на индоевропейском фоне»); понятие границы (Л.В. Куркина – Россия; «Понятие границы в системе пространственных представлений древних славян»); названия ювелирного ремесла в славянских языках (И. Янышкова – Чехия; «Отражение жизни и представлений славян в названиях ювелирного ремесла»); названия ясени (В. Колар – Финляндия; «Лат. *fraxinus* 'ясень' и некоторые славянские названия растений, производные от отглагольных прилагательных (причастий) на *-t-*, *-n-*, *-l-*»); названия птиц поползня (Хр. Дейкова – Болгария; «О славянских названиях птиц *Sitta europaea*»); названия хлебных изделий с начинкой (П. Валчкова – Чехия; «Мотивация некоторых названий хлебных изделий в славянских языках»); жаргонные названия напитков (*бормотуха*, *бузыга*, *бадыга* и т.п.) в русском языке (К. Лешбер – Германия). Результаты предложенных исследований углубляют представления не только о составе праславянского словаря в плане относительной хронологии, но и позволяют детализировать целый ряд аспектов быта, хозяйственной деятельности, представлений о животном и растительном мире и мифологии древних славян. Семантический аспект послужил ключом к реконструкции единой словообразовательной базы (и.-е. \**dhē-*) для группы лексем с конечным *-d-* типа \**redъ*, \**čerda*, \**ladъ* и др. (Я. Влаич-Попович – Югославия; «Некоторые славянские этимологические реконструкции по семантическим основаниям»). Роль социальных и культурных факторов в формировании семантики одной лексемы *tnich* прослежена в докладе Ж.Шарлатковой (Чехия) «Заметки к семантическому развитию субстантива *tnich*». Семантика стала основной для реконструкции генезиса группы чешских омонимичных глаголов с корнем *hur-* в докладе П. Нейеды (Чехия) «Реконструкция семантического развития и этимология».

В современной этимологии возрастает интерес к ареальным методам доказательства. Опыт совершенствования семантической аргументации в этимологии при

помощи методов ареальной лингвистики (центр семантических инноваций и периферия, понятия системной инновации) предложен в докладе Г.А. Цыхуна (Белоруссия) «Ареальные аспекты семантической реконструкции», положения которого стали предметом разносторонней оживленной дискуссии. Выявлению конкретных ареальных связей моравского и белорусского диалектов посвятил свой доклад И.И. Лучыц-Федорец (Белоруссия; «К вопросу о моравско-белорусских лексических параллелях»). В ходе дискуссии была отмечена необходимость выделения в общем фонде схождения эксклюзивных соответствий.

Разнообразные возможности использования этимологического критерия при решении лексикографических задач в историческом словаре (выбор заглавного слова, распределение значений с учетом исходного и т.п.) и, в свою очередь, значение данных исторического словаря для этимологии исследовала М. Гомолкова (Чехия; «Старочешский словарь на службе этимологии»).

В соответствии с научными интересами юбиляра симпозиум был ориентирован на проблему славянской этимологии в индоевропейском контексте. Статистический анализ соотношения разных морфологических типов славянских лексем индоевропейского происхождения дан в докладе А. Эрхарта (Чехия) «Попытка статистической оценки индоевропейского характера общеславянского словарного состава». Г. Риков (Болгария; «Некоторые славянские слова в их специфическом отношении к соответствиям в других индоевропейских диалектах») предложил целый ряд новых славяно-германских сближений (болг. *стрѣкъ* ~ норв. диал. *strange*, слав. *strqkь* ~ др.-исл. *strengr*, др.-англ. *streng*). Опыт истолкования на индоевропейском уровне группы этимологически спорных чешских лексем (ср. *movitý* 'сильный, могучий' < и.-е. *\*mieuh<sub>1</sub>-*, *povlnový* 'спокойный, мирный' < *uelH-*, *žetiti* ~ лит. *skaityti* < *\*skoit-* и др.) с опорой на данные старочешского словаря изложен в докладе Й. Рейхарта (Австрия; «Некоторые старочешские этимологии»). Новые индоевропейские соответствия для ряда славянских лексем (ср. чеш. *kloub* 'сустав, шарнир', словц. *klb* < *\*k<sub>1</sub>lbь* ~ хет. *kalulupa* 'палец', *kóvdułos* 'кулак', слав. *\*lisь* < *\*leip-* ~ ирл. *laom* 'blaze', *\*loza* ~ алб. *lajthi*, слав. *\*mqdrь* 'голубой' ~ хет. *antara-* др.) предложены в докладе В. Блажека (Чехия) «Новые решения в славянской этимологии». Об ин-

доевропейском фонде в составе славянских названий частей тела напомнила К. Херей-Шмианская (Польша; «Индоевропейское наследие в славянской анатомической терминологии»). Дискуссионный опыт реконструкции балто-славянских лексических соответствий применительно к эпохе до распада праславянского языка предложен в докладе Г. Хольцера (Австрия) «Балто-славянская лексика в звучании до 600 г. н.э.».

Оживленное обсуждение, нередко сопровождавшееся выдвиганием новых этимологических версий, вызвали доклады, посвященные истолкованию отдельных славянских лексем: кашуб. *potema* 'пир, забава', истолкованное как прич. прош. вр. с суф. *-ima*, т.е. *\*poit-ima* 'пьянка, попойка' в рамках гнезда и.-е. *\*pō(i)-/\*p<sub>1</sub>-* 'пить' (Х. Поповска-Таборская — Польша; «Загадочное кашуб. *potema* 'пир, забава'») и оказавшееся, по версии В. Смочинского, заимствованием н.-нем. *pöte maken*; ст.-слав. *бракъ*, объясняемое в широком культурно-историческом и лингвистическом контексте как заимствование протобулгарского *bor* 'вино' + суф. *k* > *horka* 'питье вина' > *braka* > *\*brakъ* (Л. Мошинский — Польша; «Действительно ли ст.-слав. *бракъ* является наследием праславянского языка?»), что вызвало критику со стороны некоторых ученых (в противовес приводились такие факты, как отношение слав. *\*znakъ* и лит. *žinoti* 'знать', др.-русс. *бракъ* и мн. ч. *бракове*, требует проверки проточувашская форма); самоназвание *чехов*, взводимое к *čeledin*, ср. ст.-чеш. *čeledina*, родственное русск. *челядь* (Й. Кноблох — Германия; «Что собственно значит название народа *чехи*?»); ст.-чеш. *řepičě* 'название сосуда', убедительно толкуемое как производное от *\*rep-* ~ нем. диал. *Rimpe* (Х. Карликова — Чехия; «Этимологические заметки о ст.-чеш. *řepičě*»); праслав. *\*grdь*, трактуемое как одно из древних выражений понятийной сферы войны в гнезде и.-е. *\*g<sub>1</sub>her-* 'горячий', ср. лит. *gurdus* 'медлительный', лтш. *guðs* 'усталый, вялый' и вызвавшее критику в историко-семантическом плане (Л. Кралик — Словакия; «Слав. *\*grdь* и его балтийские параллели»); нем. *Graf* в контексте культурно-исторических связей в германском ареале (Б. Выкипел — Чехия; «Этимология как вспомогательная наука истории: нем. *Graf*»); болг. *гамбтя*, относимое к исконно славянской лексике (Т. Годоров — Болгария; «Славянское происхождение некоторых болгарских слов»); этимологии группы силезских диалектизмов (В. Шаур — Чехия; «Силезские

этимологии»), многие из которых признаны в дискуссии спорными (ср. *vygypovat'*, *slezák*); болг. *смик*, включенное в ряд традиционных славянских соответствий (Л. Д и м и т - р о в а - Т о д о р о в а – Болгария; «Этимологический анализ некоторых болгарских слов славянского происхождения»); русск. *вандыш* 'снеток, корюшка', охарактеризованное как заимствование из германских языков (Т е н х а г е н – Германия).

Симпозиум подтвердил важность результатов этимологических исследований для решения кардинальных проблем истории славянского этноса, прародины славян, их культуры. Уточнения древней обрядности, объединяющей славянские и балтийские языки и сходство в выборе языковых средств, даны в докладе Р. Э к к е р т а (Германия) «Др.-русс. *не хочу розути робичича* в русских и латышских народных песнях». Проблема прародины славян освещается в вынесенном на пленарное заседание докладе О.Н. Т р у б а ч е в а (Москва; «Из лексических комментариев к поискам прародины славян»). Наличие в албанском словаре большого пласта славянизмов неюжнославянского происхождения, многочисленные схождения с севернославянскими языками, по мысли автора, свидетельствуют о более сложной диалектной дифференциации, чем принято думать (ср. работы А.В. Десницкой). Выводы, вытекающие из словаря В.Э. Орла (V. Orel. *Albanian etymological dictionary*. Leiden, Boston, Köln, 1998), подкрепляют дунайскую теорию прародины славян, предполагающей выход всех славян,

в том числе предков восточных славян, со Среднего Дуная. В докладе А. Л о м ы (Югославия) «Скифские заимствования в славянских языках. Постановка проблемы», посвященном славяно-скифским языковым контактам, выделяется значительный массив славянских лексем, трактуемых автором как заимствования из скифского языка, фонетические закономерности которого восстанавливаются на основании предполагаемых заимствований; критические замечания вызвал сам метод реконструкции скифского языка на основании славянского материала, автохтонный генезис которого не вызывает сомнений.

Симпозиум показал успехи чешской этимологической школы, в частности, что традиции В. Махека, Ф. Копечного живут и развиваются в трудах Э. Гавловой и ее учеников. Весьма представительный симпозиум, в работе которого приняли участие ведущие этимологи разных стран, стал свидетельством того, что этимологическая наука активно развивается, обогащается новыми идеями, совершенствуется ее методика; он также продемонстрировал возрастающую значимость этимологии для лингвистических и культурно-исторических исследований славян. Участники отметили хорошую организацию симпозиума, объединившего ученых разных стран и предоставившего редкую по нашим временам возможность встречи, обмена взглядами и научной информацией.

Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркина (Москва)

## CONTENTS

V.L. Y a n i n, A.A. Z a l i z n j a k (Moscow). Birch codici from the Novgorod excavations of 1999; A. A l q u i s t (Helsinki). Merians or not Merians; T.V. T o p o r o v a (Moscow). Types of cognition in Old Germanic mythopoetical pattern of the world; M. Yu. M i x e e v (Moscow). On the metaphorical constructions with genitive case in Russian; V.V. G u r e v i č (Moscow). Modality and semantics of verbal aspect; V.G. G a k (Moscow). Was A.S. Pushkin's language influenced by French?; E.M. V e r e š č a g i n, V.G. K o s t o m a r o v (Moscow). A speech-behavioristic study of A.S. Pushkin's parable on the prodigal daughter; A.V. Z i m m e r l i n g (Moscow). The American linguistics of to-day as seen by Russian linguists; **Reviews:** V.B. K r y s ' k o (Moscow). *H. Birnbaum, J. Schaecken*. Das altkirchenslavische Wort: Bildung – Bedeutung – Herleitung. Altkirchenslavische Studien; S.G. T a t e v o s o v (Moscow). Theory of functional grammar; A n n a A. Z a l i z n j a k (Moscow). *T.V. Bulygina, A.D. Šmelev*. Language conceptualization of the world (based on the materials of Russian grammar); A.A. V i n o g r a d o v (Mukachevo). Jožef Krekich. Pedagogical grammar of the Russian verb. Semantics and pragmatics. **Chronicle features.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

---

Сдано в набор 29.12.99 Подписано к печати 14.02.2000 Формат бумаги 70 × 100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Офсетная печать. Усл.-печ.л. 13,0 Усл.-кр.-отт. 19,0 тыс. Уч.-изд.л.15,5 Бум.л. 5,0  
Тираж 1441 экз. Зак. 3387

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

---

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90  
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП «Типографии "Наука"», 121099 Москва, Шубинский пер., 6